





Российский колокол

2023

Журнал № 7–8

Московская городская организация
Союза писателей России

18+

Российский колокол № 7–8 (44) 2023

Литературно-художественный журнал

Российский колокол № 7–8 (44) 2023 г
Слово редактора
Современная поэзия
  Татьяна Велес (Куликова)
    Берёзовая роща
    Я русская!
  Ксения Вороткова
    «Тёмный пурпур небесного свода…»
    «Глубокая небесная лазурь…»
    Берёза
  Сергей Камаев
    Избранные главы из поэмы «Козельск»
      Часть 7
      Часть 8
      Часть 9
  Олег Шухарт
    На задворках души…
    Осень
    Пепел
    Живой

Бродскому
Современная проза
Юлия Верба
Адреналин
Ирина Горбань
Вовкина любовь
Владимир Журавлёв
У графских развалин. Рассказ
Анна Лео
«Безутешные» родственники
Классики
Александр Пономарёв
Наш принцип
Скала
Александр Ралот
Прародитель. (навеяно средневековыми событиями)
Мадрид. 1492 год. Таверна на окраине города
Час спустя
1511 год. Америка. Район близ Санто-Доминго
1519 год
Семнадцать лет спустя
Наши дни
Александр Рязанцев

Душной ночью в Душанбе
Надежда Середина
Двадцать лет спустя. Роман в трёх частях
15. В салоне обсуждение
16. Слова, слова, слова
17. Нехотяй
18. Мистер
19. Волнения
20. Блокада Дома депутатов
21. Мария возвращается
22. Небожители подвала
23. В общежитии Литинститута
24. Октябрь 93-го
25. На пасеке
Сёсик Быф
Шальная пуля
Литературоведение
Владимир Голубев
Главы из книги «Загадки литературной сказки»
Часть III. Двадцатый век
Глава 1. Сказочник, отдавший сердце Северу
Глава 2. Сказки деревенского художника
Наши авторы

Российский колокол № 7–8 (44) 2023 г

Слово редактора



Анна Боровикова *и. о. шеф-редактора, прозаик и поэт, член Интернационального Союза писателей*

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Завершается очередной литературный год с журналом «Российский колокол».

Но итоги подводить рано, потому что их нет

и быть не может. Как говорил Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин: «Литература изъята из законов тления. Она одна не признаёт смерти». В справедливости этого высказывания можно убедиться, в том числе познакомившись с произведениями данного сборника.

В разделе «Современная поэзия» собраны разноплановые стихотворения, отражающие внутренний мир каждого из авторов. Патриотические и вместе с тем душевные стихи Татьяны Велес каждой строчкой говорят о настоящей большой любви к Родине.

Произведения Ксении Воротковой настраивают на иной лад, лирический. Отношения, чувства, красота природы — всё это как прогулка по закоулкам памяти.

Писатель Сергей Камаев представил избранные главы из поэмы «Козельск» о героическом прошлом городка в Калужской области, его противостоянии хану Батыю.

Олег Шухарт предлагает порассуждать о серьёзном с философской точки зрения.

В «Современную прозу» вошли труды различных ярких и талантливых авторов.

Трагедия отдельно взятого человека — в обрывочных воспоминаниях о детстве, военных

действиях в Чечне и параллелях с реальной жизнью. Куда шёл? Чего достиг? В повести Юлии Вербы (Артюхович) «Адреналин».

Также чеченские события и мужество военных показаны в творчестве Александра Пономарёва — в рассказах «Скала» и «Наш принцип».

О превратностях судьбы жителей на контрасте с восприятием окружающего мира больного человека с большим сердцем повествует Ирина Горбань из Макеевки в рассказе «Вовкина любовь».

Владимир Журавлёв в произведении «На графских развалинах» возвращает к историческому прошлому. Рассказ умирающей старушки оживляет события перед Октябрьской революцией, в последней строчке намекая, что речь в повествовании шла о родовом гнезде известного писателя.

Наглядно о равнодушии, казалось бы, родных людей в рассказе «“Безутешные” родственники» и поворотах жизненного пути в литературной среде в произведении «Классики» автора из Беларуси Анны Лео.

Краснодарский автор Александр Ралот в произведении «Прародитель» рассказывает интересную историю об испанском еврее, заброшенном

на другой континент, о том, как он жил среди индейцев майя и какой нации стал родоначальником.

«Душной ночью в Душанбе» Александра Рязанцева — история-фантазия, в которой объединены персонажи настоящего и прошлого. Какое же время истинное? Читателям предоставлена возможность разобраться самостоятельно.

Сёсик Быф в новелле «Шальная пуля» возвращает к событиям Великой Отечественной войны, показывая их глазами немцев. И, как в любом произведении этого жанра, развязка совершенно неожиданна.

Очередные главы из новой книги Владимира Голубева об истории развития литературной сказки в творчестве русских писателей XX века в разделе «Литературоведение».

Дорогие читатели, приятного погружения в мир слов, образов, смыслов!

Современная поэзия



Татьяна Велес (Куликова)
Берёзовая роща

Зима. Сорок пятый. Морозы. Путь долгий.
Солдатик с войны добирался домой.
Был ранен не раз и теперь одноногий
В деревню спешил он к жене молодой.

А вьюга лютует и водит по кругу,
И волчий доносится жалобный вой.
А он представляет, как встретит супругу
И скажет: «Ну, здравствуй. Живой я, живой».

Вот лес, вот речушка, вот холмик знакомый,
И только деревни не видно, в снегу
Стоят лишь остатки от милого дома.
Не стала семья покоряться врагу.

Сожгли деревушку, сараи и хаты,
Детей, стариков не щадила война.

Терзала солдатика горечь утраты,
И в клочья в груди разорвалась душа.

Он в снег на колени упал, проклиная
Войну, и фашистов, и свет голубой,
Не плакал – рыдал, всех своих вспоминая,
Судьбу свою клял, что остался живой.

А вьюга лютует и водит по кругу,
И волчий доносится жалобный вой.
И, голос срывая, он кличет супругу:
– Ответь мне, любимая. Здесь я, живой…

Уж время прошло, и метели, и грозы,
Старик одноногий свой дом поднимал.
На месте деревни стояли берёзы,
И он их любовью своей окружал.

Он дал имена им всех живших когда-то:
Соседей, друзей деревеньки своей,
И с каждой болтал, иногда до заката,
Всё чаще о прошлом, до тех страшных дней.

Я русская!

Я русская! И этим я горда!
Живу на славной Родине, в России!
Всё здесь моё: и реки, и луга,
И степи под огромным небом синим.
Мой дом, семья и вся моя родня,
Мои друзья – кавказцы и калмыки,

Луганск, Донбасс – и это всё моя,
Моя Россия с Богом и Владыкой.
В моей крови и Пушкин, и Дантес,
В моей душе калмыцкие напевы.
Есть честь во мне, и стержень во мне есть,
Дух русский, что вскипает в страшном гневе.

Никто! Запомните! Никто не отберёт
Мой разум, честь и вековую силу!
Никто! Запомните! И знайте наперёд:
Я жизнь отдам за матушку Россию!

Ксения Вороткова
«Тёмный пурпур небесного свода…»

Тёмный пурпур небесного свода
Был усеян гирляндами звёзд.
Отдыхала у моря погода,
Поднимала за здравие тост.

А луна, заливая долину
Серебристым сияньем своим,
Дополняла благую картину,
Что в сознанье годами храним.

Мы лежали на мягкой перине
В тусклом свете церковной свечи.
Мягко тени прошлись на сатине
Да плясали пред нами в ночи.

Колесо закрутилось Сансары
В голове, предвещая финал.
Мне припомнились прошлые пары,
Что когда-то я сам создавал.

Отношенья, что бурно менялись

От любви до проклятья порой,
Словно ядом обид заполнялись,
Отнимали душевный покой.

Не срослось, не случилось. Недаром.
Встреча наша была впереди.
И поддался теперь дивным чарам,
Как ты спишь у меня на груди.

Ветер робко по морю стелился,
Ожидая рассвета лучи.
Я с луною на время простился.
Догорел фитилёк у свечи.

«Глубокая небесная лазурь…»

Глубокая небесная лазурь
Подчёркнута седыми облаками.
О, как хорош засушливый июль.
На пляже загораю под лучами.

А лес из мачт, у пирса притаясь,
Мне шлёт привет своими парусами.
Клекочут чайки, над людьми смеясь,

Изящными летая кружевами.

И море возмущает ветерок,
Стеснительно парящий над горами.
Там вместе с эхом он не одинок.
Они так дружат долгими веками.

Моих ступней касается волна,
Неся прохладу, свежесть и заботу.
Я наслаждаюсь этим днём сполна.
Душа как будто обрела свободу.

В единое с природою слилась,
Чтоб ощутить всю прелесть мироздань-ья.
На милость чувствам ярким отдалась,
Впитала красоты очарованье!

Мгновенья эти вспомню я зимой,
Чтоб их тепло меня согрело в стужу.
Припомню пляж и ласковый прибой,
Собравшийся в причудливую рюшу.

Берёза

В чистом поле выросла берёза,
Словно бы маяк у моря ржи.
Наблюдаю я за ней с утёса.
Как ты оказалась тут, скажи?

Ветер её веточки колышет,
Всё пытаясь до земли согнуть.
Не сломать того, кто жизнью дышит.
Не боится деревце ничуть.

Вся стоит на золотой перине,
Белая с зелёною листвой.
Устремившись, словно бы к вершине,
Гордо к солнцу кроною густой.

И порой я словно та берёзка
В золоте некошеных полей.
Жизнь живу открыто, хоть неброско,
И иду с надеждой по земле.

Сергей Камаев
Избранные главы из поэмы «Козельск»
Часть 7

Вот утро майское настало… – Моё уж воинство устало ждать, как появится монгол. – Пора б разбить их да за стол победный с братьями садиться.

– Смотри-ка, воевода, птицы из леса ближнего летят, – сказал Всеслав. – Врагов отряд к вратам Козельска подступает.

– Трубить тревогу! Наступает великий, красочный итог! – О воины! Настал наш срок! – Не посрамим теперь Отчизны!!! – И отдадим без страха жизни, чтобы враг спасался со всех ног и был разбит на поле брани!!!

Монголы стройными рядами неслись на город… Кони ржут, наездники их погоняют… И, на ходу несясь, стреляют в козельский православный люд…

Арбы за ними и повозки, чтобы засыпать ров, взять мост им, добраться до козельских стен… – Ребята!!! – Стрелы!!! – Бей их!!! – Всем!!! – Стрелять в монголов без приказа!!!

И сотни стрел тотчас же, сразу, вонзились в ближние тела… Разили. Тьма врагов нашла свою суровою погибель у стен Козельска. Мощный ливень от города вмиг отступил, чтобы набраться новых сил и вновь ударить по «урусам».

Часть 8

Прошла неделя… Но на русов пока никто не нападал… – От скуки я, Всеслав, устал, – ворчал сердито воевода. – К тому ж ещё тут непогода, дождь поливает день и ночь. – Ушли б они отсюда прочь, и нам тут было бы спокойней…

– И кончилась бы сразу бойня! – И началась – другая жизнь! – Дела мирские и заботы… – Коль так случилось бы, так что ты всенепременно б делать стал? – Женился б я! – Ведь слово дал

своей невесте Милославе.

– Вот только сбудутся едва ли твои заветные мечты… – Вон глянь, колышутся кусты, монголы к нам чего-то тащат. – Буди ребят, глаза таращить с тобой мы будем опосля… Всеслав предчувствовал не зря, набег сегодня, Воеводу на стены в эту непогоду нарочно он сейчас позвал.

– Монголы заслонили вал почти что полностью – арбами, телегами, хламьём, кустами и всем ненужным барахлом. – Так что сегодня напролом они на нас, наверно, двинут. – Пусть двигают. На их я спины хочу сегодня посмотреть. – И то, о чём монголы петь на тарабарском нынче будут.

– Мы зададим им жару!!! – Люди устали их сейчас терпеть.

Часть 9

Ожила степь… Покрылась лёгкой пеленою бойцов-монголов… Они строем

опять на штурм вели коней… Да ладно было б что людей… Они пустились на равнину… В кустах – осадные машины!

И камни – глыбы! Их вершины со всех сторон заострены! – Да, если б не было войны, то я б подумал, это пашню пахать готовят этой башней, похожей на кусок луны, – промолвил Воевода тихо.

– Гляди, ребята, будет лихо с врагом сегодня воевать. Но наша доблестная рать не уступает этой силе… Монголы башню зарядили… Ударили! Слегка побили у стен растущие кусты.

И снова выстрел… Прямо в стену! Пробита брешь, как будто вену слегка надрезал острый меч… Монголы снова рвутся в сечь. И вновь орудье пробивает огромным камнем, вышибают стены острённые зубцы…

Монголы лихо под уздцы ведут коней своих в могилу… Туда кидаются бойцы и рубят смело вражью силу. Да так умело! Так красиво! Что те назад несутся вскачь…

Да, полоса пока удач колышется над нашим стягом! Кричит Всеслав: – Держаться надо пока что из последних сил! – Наш князь соседей уж просил помочь всем нам, мы ждём подмоги. – Монголы пусть уносят ноги в свою родную сторону…

Олег Шухарт
На задворках души…

Очнись от векового сна,
смахни с плеч пыль небесной манны
и тягостных рекламных пауз
кромешного самообмана.
Непостижимо трезвый разум
тобой гордится – человек дождя.

Осень

На задворках души
беспросветная осень —
позабыв падежи,
я блуждаю меж сосен.

Вместе с палой листвой
в круговерти природы
не ищу путь иной —
жду у моря погоды.

Календарных листов

раздражающий хохот
заглушает стихов
лихорадочный шёпот.

Мерно падают сны
в тесный саван бумаги,
и уже не видны
образа в полумраке.

Пепел

Я – лист. Меня терзает ветер.
Но я с живым огнём в глазах,
страх позабыв, смотрю на север
и жду, когда сверкнёт гроза.

Не верю сказкам лжепророков,
поющих суете хвалу.
За смелость обречён я роком
ходить по битому стеклу.

Я – лист. Однажды стану пеплом.
Но знаю, что дождусь любви —
найду я счастье жарким летом

и скроюсь осенью вдали.

Лишь дети счастливы и верят,
что жизнь красива и добра,
а тёплый пепел – землю греет,
сверкая синью серебра.

Живой

На горизонте забрезжил рассвет,
выдавив стон из обугленных стен —
значит, живой и ещё не отпет…
Числюсь погибшим под номером семь.

Выбиты окна, и нет потолка,
небо седьмое не видно в просвет,
смыла всё за ночь седьмая вода
на киселе – напророчив семь бед.

Но в день седьмой врач, пролив семь потов,
вымостил радостью торный путь в храм,
там, где сошлось семь нелёгких дорог,
своре химер заплатив по счетам.

Над Мариуполем солнце, и свет —
солнечным зайчиком скачет вдоль стен.
Вижу его, а товарищ мой – нет…
В списке погибших он – номером семь.

Бродскому

Петропавловским шпилем царапая небо,
замирает межрёберных комнат столица.
Ей мерещится Бродский меж явью и бредом,
что на Невском искал незнакомые лица.

Он вернуться мечтал на Васильевский остров
с петроградской простуды изданьем в кармане,
с нескрываемой грустью ночных разговоров
о балтийских болотах и Питере в мае.

Звуки гласных гасил, превращая их в строки,
сбив колени о ямбы, хореи и слоги,
сдав за так дифирамбы, грехи и пороки,
стылым пеплом посыпав к забвенью дороги.

Неприметным прохожим бреду вслед за Бродским.
«Север крошит…» – твержу как молитву пред Богом.
На Сенатской реклама со слоганом броским,
и знобит от вопроса: «Откуда ты родом?».

* * *

Я вошёл в твои двери на цыпочках
и украл из альбома мечты —
те, что были на тоненьких ниточках,
как две связанных вместе судьбы.

Наши сны – фотоснимки из прошлого,
отголоски небесной любви.

Близко к сердцу мы приняли многое,
но, как прежде, где я, там и ты.

Современная проза



Юлия Верба
Адреналин

— Гляди: там, на склоне, пятно? На что похоже?

— Рыба!

— Ответ неправильный! Яблоко!

Пёстрая стайка подростков в джинсах и разноцветных майках галдела на веранде бара, рискованно перевешиваясь худыми туловищами через хлипкие перила. Они взмахивали руками в диковинных перстнях и ярких фенечках и показывали друг другу что-то на вершине горы.

— Груша!

— Ананас!

Николай Петрович не удержался и тоже взглянул вверх. На крутом склоне в скудной зелёной поросли темнело крупное пятно в форме зада. «Слепые они, что ли?» — удивился Николай Петрович, а ребята продолжали перебрасываться всё новыми и новыми версиями, вовсе неправдоподобными.

— Мяч!

— Лысина!

— Ж..., — неуверенно протянул ломкий баритон, и Николай Петрович обрадовался: «Наш человек!» Но одинокий голос правды тут же утонул в возмущённых криках.

— Какая тебе ж...? Звезда!

— Нет, сердце!

— Танька с Мишкой целуются!

Последнее предположение вызвало новый взрыв хохота и изменило общий ход мыслей.

— Вот такой поцелуй над бездной — и вниз!

— Витёк, а вниз-то на хрена?

— Да ты чё?! Такой адреналин!

— А если на куски? Скалы вон какие острые!

— А если нормально пройдёт, прикинь? Всю жизнь вспоминать будешь, как вниз летел. Узнаешь настоящий адреналин — чувство полёта! — Ну, круто, наверное...

— Не, я лучше как-нибудь без адреналина перетопчусь...

Николай Петрович задумался. Действительно, вроде уже и жизнь прожил, а с адреналином как-то не заладилось. Вот хотя бы здесь, за границей. Наташка с подругой щебечут: «Ах, Родос! Ой, море! Ну, отель- пятёрка!» — и всё с восклицательными знаками. А у него каждая фраза точкой, будто гвоздём, приколочена: «Родос.

Море. Отель-пятёрка».

И ведь всегда так было. Никакого чувства полёта и поцелуев над бездной.

Нет, поцелуи были, конечно. Ещё когда он в нефтяном институте учился. А куда ещё поступать, если во всём городе только два нормальных вуза: универ и нефтяной? Универ — женский, нефтяной — мужской: «бабе — цветы, дитям — мороженое». Вот и пошёл в нефтяной — правильный мужской вуз. А Наташка в универе училась. Дружили, встречались, женились, сына родили. Больше тридцати лет уже вместе, в доме тепло, мирно, уютно. Не ссорились почти, не ругались.

А вот чувства полёта не было.

— И вообще, фигня это всё: адреналин, ля-ля, тополя…

— Не скажи, Вова, не скажи. Настоящий адреналин это типа наркоты. Такой кайф, что люди ради него на всё готовы.

— А чё, ещё и ненастоящий есть?

— Ненастоящий — когда куришь, пьёшь, колешься, чтоб догнаться. А кайф кончится — и ты обратно в дерьме. А настоящий — живёшь и как бы всё время летаешь. И кайф этот в себе носишь.

— А откуда кайф-то?

— От верблюда! Сказал же, в себе каждый сам находит!

— Да ну, гонишь! Чё кто находит?

— Ну, силу там, смелость, чувство полёта…

— Ага, по ходу, смело на гору попрёшь, с силой перо вставишь — и полетишь!

Николай Петрович поёрзал на скользком кожаном стуле и с удивлением понял, что ему действительно интересен этот мальчишеский спор. И в свои сорок лет, и сейчас, накануне шестидесяти, он внутренне ощущал себя даже не Николаем (тем более не Николаем Петровичем), а Коляном. Понимал, что пора взрослеть и мудреть, старался скрывать свою «вечную молодость» от окружающих. Потом смирился и перестал стесняться. Поэтому сейчас прислушивался к «пацанскому» разговору с неподдельным интересом. А Витька (похоже, неформальный лидер) важно повторял оппоненту:

— Ясен хрен, чувство полёта не у каждого. Я тут вспомнил из одной старой книжки: «Рождённый ползать летать не может». Это про таких, как ты.

«Это про таких, как я», — догадался Николай Петрович. Ни силы, ни смелости, ни чувства полёта… И в карьере невысоко взлетел, и в профессии не слишком преуспел, хотя и проработал

в НИИ после вуза целых двадцать лет. Взять Котю Глембоцкого (на одном курсе учились): маленький, хлипкий, за очками не видно, зато в сорок три года уже доктором наук был, отделом заведовал. А Колян, «комсомолец, спортсмен и просто красавец», до сих пор ещё без учёной степени, старший научный сотрудник. С другой стороны, Котя сразу после вуза в аспирантуру, защитился, «Изобретателя СССР» получил, а Колян — всё больше в баскетбол да по пиву. Так что грех обижаться: кому — чё, кому — ничё, кому — хрен через плечо. Тем более что потом война началась (или, как это принято сейчас называть, «спецоперация по наведению порядка в Чеченской республике»). Как ни назови, такое было время, когда у всех жизнь пошла через это самое… через плечо.

Вся штука в том, что непонятно было: кто, с кем, куда и зачем. И от всего этого непонятного некуда было спрятаться. Всё равно достанет: не сегодня так завтра. Кого — больше, кого — меньше, кого — раньше, кого — позже.

И «таких», и «не таких»…

— Такой — не такой… А «не такой» это как? Зашибись крутой да летучий?

— В экстриме узнать можно.

— Чё?

— Ну вот в кино. Идёт экстрим: война, враги, сваливать пора, а он вдруг раз — и всех замочил! Или, прикинь, одного в плен взяли. Вроде капец! Он такой валяется: у-у… му-у… всё хреново. А другой — если «не такой»: не скулит, под автоматом лыбится, а сам планы строит, и потом ка-ак…

Да уж… Точно Витька сказал: в экстриме узнать можно.

Не улыбался Колян под автоматом. И планы не строил, как всех замочить, когда летним вечером ему в центре города мешок на голову натянули, скрутили и в машину засунули. Колян даже не понял, в чём дело. Вертелся, пытался высвободиться, но его так крепко прижали к горячему потному сиденью, что и пошевелиться было невозможно.

В незнакомом городе или селе Коляна пинками выбросили из машины, грубо протащили по ступенькам и втолкнули в какое-то здание. Когда стянули с головы мешок, он оказался лицом к лицу с темноволосым мужчиной в поношенной полевой форме. Красивое лицо мужчины портило большое багровое пятно под левым глазом, и Колян некстати вспомнил мамину поговорку: «Бог шельму метит». «Меченый» сидел на краю

стола, покачивал ногой и спокойно рассматривал взъерошенного, мятого пленника. После лениво, будто нехотя, ударил Коляна по лицу и с отвращением процедил сквозь сжатые зубы:

— На ФСБ работаешь, с…?

Колян с трудом прошелестел разбитыми губами:

— Я в нефтяном институте работаю, в научно-исследовательском…

«Меченый» чему-то засмеялся и резко ударил Коляна в живот. Тут в комнату вошли ещё трое «полевиков», стали здороваться и обниматься с «меченым». Колян за это время успел продышаться, но новый удар в грудь отбросил его к стене.

Мужчины подошли поближе. Один больно схватил Коляна за подбородок. Несколько мгновений все внимательно изучали его окровавленное лицо. Потом отошли и о чём-то заговорили между собой, явно потеряв интерес к пленному. Колян почти не понимал по-чеченски, только несколько ходовых слов знал. Но тут почему-то догадался, что его просто с кем-то перепутали. Догадка радости не принесла. Ясно было: всё равно не отпустят.

Так и случилось. Коляна вытолкали во двор

и прижали лицом к стене какой-то ветхой постройки. Обернувшись, он увидел направленные на него автоматные стволы. Колян где-то слышал, что в такие минуты — «на краю» — перед глазами человека проносится вся его жизнь. А сам ничего не вспоминал, будто не было никакой другой жизни, кроме этих нескольких мгновений. Только вяло удивился, что «меченый» не вышел в него стрелять: командир, наверное.

Хотел закричать, но только сипло промычал: «Эй, вы чего?» Двое «полевиков» молча посмотрели без всякого выражения и деловито щёлкнули затворами. Колян прижался к стене. Пальцы заскользили по неровной деревянной поверхности, зачем-то нащупывая мелкие щёлочки в разъехавшихся досках — как будто туда можно было спрятаться от выстрелов!

А потом оглушили автоматные очереди, которыми «полевики», как художники кистью, обводили его контур на старой деревянной стене. Тренировались. Колян осторожно пошевелил плечами и вдруг понял, что не убьют (если, конечно, рука не дрогнет). Во всяком случае, пока ещё не убьют.

И правда — не убили. Прогнали по двору, с трудом сдвинули в сторону крышку люка (ка-

нализация, что ли, удивился Колян) и сильным толчком сбросили вниз.

В узкой и глубокой яме стоял тяжёлый, смрадный запах. В углу скорчился бородатый мужик в рваной солдатской форме. Он поднял голову и что-то сказал, но слов Колян разобрать не смог, а переспрашивать не стал. Мужик назвался Федей (или Петей) из Волгограда. Или из Волгодонска. Или из Вологды. Понять было непросто, потому что мужик заикался. И зубов у него не было. Совсем.

В общем, с собеседником Коляну не повезло.

В яме было темно и сыро, а скоро стало мокро, и Колян догадался, что пошёл дождь. Неожиданно загрохотала крышка люка, и сверху спустился обрывок толстой серой верёвки. Пленники с трудом выбрались на скользкую поверхность двора. По команде «ложись» Федя-Петя плюхнулся лицом в грязь, а Колян осторожно опустился на согнутые руки и отжался. Один из конвоиров возмущённо закричал: «Ты спортсмен, да?» — и сильно пнул Коляна по рукам большим грязным сапогом. Несколько минут пленники лежали под дождём и слушали монолог одного из конвоиров, который матом предрёк печальную судьбу армии противника, обрисовал дальнейшие мрачные

перспективы для Феди- Пети, а конкретно про Коляна почему-то промолчал. После этого матерщинник пинком направил Коляна обратно к яме, а молчаливый конвоир утащил Федю-Петю в глубину двора. Больше Колян его не видел.

Понятно, что ничего хорошего в этой ситуации ожидать не приходилось. И валялся Колян один в яме — именно так, как сегодня Витёк говорил: «у-у… му-у… всё хреново». Долго валялся, пока обстрел не начался.

Сначала просто короткой очередью: тадах! А потом так бить стало, что даже в яме уши закладывало. Колян потряс головой, посмотрел вверх: струя чёрного едкого дыма ползла к нему через большую светлую щель между стеной и крышкой люка. Странно! Щели этой раньше не было, а теперь она постепенно расширялась, будто кто-то невидимый пытался забраться в яму со двора. Колян решительно вдохнул тяжёлый дымный букет и, скользя по неровной стене своей тюрьмы, стал потихоньку подтягиваться. Срывался вниз, снова упрямо лез. Шестнадцать раз срывался, потом перестал считать. До сих пор Колян не может понять, как ему удалось тогда выбраться наружу…

Спор в баре продолжался.

— А ты типа «не такой»?

— Да, «не такой».

— Ну да… Ты красава! Защитник-кормилец, что ли?

«Кормилец наш Коленька», — называла Колянa интеллигентная Котина бабушка, Агата Вацлавовна, когда он привозил деньги из «командировки».

Она угощала его вкусными пирогами с начинкой из бурачных листьев. А ещё — чаем из трав, выпив который, Колян всякий раз начинал неприлично зевать от сытости и покоя. Потом, едва добравшись до дома, сразу же заваливался спать.

Действительно, он тогда для многих был если не защитником, то уж точно кормильцем.

Началось это в глухую осеннюю пору, в странное предвоенное безвременье, когда непонятно было: то ли ещё мир, то ли уже война.

Зарплату платить перестали, но на работу люди всё-таки ещё наведывались. Однажды Колянa вызвал начальник Сергей Иванович по важному делу. Оказалось, нашёлся богатый заказчик, готовый заплатить большие деньги за составление некоего проекта. Такой проект их тройка (Сергей Иванович, Котя и Колян) могла подготовить быстро. Но тут было одно «но». Даже, как выяс-

нилось, целых два «но».

Первое: деньги на проект выдавались не как трём фактическим исполнителям, а как большому творческому коллективу, который срочно требовалось создать (хотя бы на бумаге), со всеми данными и подписями участников. С этим «тройка» достойно справилась: в творческий коллектив вошли члены их семей, родственники, соседи и редкие оставшиеся в городе знакомые. Для каждого из членов разношёрстного творческого коллектива «тройка» придумала особое занятие. Например, соседка, бабушка Тася, со средним школьным образованием, в счастливом браке с зубным техником Моисеем Ароновичем не проработала ни дня, но теперь, оставшись одна, очень нуждалась в деньгах. Ничем в работе над проектом она помочь не могла, но в списке исполнителей значилась «координатором мониторинга разработки нефтяных месторождений с применением углеводородного газа под высоким давлением».

Со вторым «но» дело обстояло хуже: представлять результаты совместного творчества нужно было в другом, далёком городе. Там же следовало получать наличные деньги за работу и везти их обратно. Понятно, что ни семиде-

сятитрёхлетний хромой Сергей Иванович, ни шестидесятикилограммовый Котя со зрением «минус шесть» на эту роль не годились. Выбор был невелик. Так Колян стал «кормильцем».

В «командировках» его отважно сопровождала Наташка, уже имевшая некоторый опыт перевозки ценных вещей. Уже целых полгода она (доцент вуза) дома шила по заданному крою шубы из меха нутрии.

Каждое готовое изделие Наташка собственноручно сдавала работодателям в грязноватом пластиковом пакете, в котором нежный мех соседствовал с вылинявшими полотенцами, свёртком с пирожками, бутылкой кефира и (высший пилотаж!) прозрачным пакетом со старыми колготками и ношеным женским бельём.

Беспроигрышный способ транспортировки ценного груза, не раз спасавший женщину от грабителей и патрульных (по сути, мало отличавшихся друг от друга), был использован в «командировках». Перед отъездом «кормильцы» надевали ветхую и непрезентабельную одежду, укладывали папки с бумагами в надорванные целлофановые пакеты с выцветшими рисунками и надписями.

На обратном пути пачки честно заработанных

денег паковали в несколько слоёв целлофана, заворачивали в грубую обёрточную бумагу, местами заботливо промасленную и испачканную. Потом ценный груз размещали в освободившиеся пакеты и даже клали в открытую сетчатую авоську рядом с продуктовыми свёртками и непременной бутылкой кефира.

«Кормильцы» возвращались домой утренним поездом, и тут для них начиналось самое суровое испытание. В городе действовал комендантский час, и тревожное раннее время до шести утра пассажирам приходилось проводить в замкнутом пространстве ещё неразрушенного зала ожидания под бдительным присмотром патруля.

Патрульные с равнодушными, непроницаемыми лицами медленно перемещались по залу, заглядывали в сумки, иногда вываливали их содержимое на затоптанный пол. Внимательно изучали проездные билеты и паспорта. Некоторых пассажиров грубо обыскивали, порой били автоматными прикладами и уводили с собой в неизвестном направлении. Некоторых уводили сразу, без обыска. В это время дудаевские «гвардейцы» рьяно искали среди местных жителей потенциальных «шпионов»: несколько знакомых Коляна уже пострадали за мнимую связь с ФСБ.

Трудно сказать, по какому принципу вычислялись жертвы. Забирали интеллигентных юношей с кожаными папками, базарных торговок с пузатыми клетчатыми сумками, замызганных бомжей без всякого имущества. Разумеется, багаж «кормильцев» мог бы очень заинтересовать и порадовать стражей порядка. Но они, к счастью, почему-то подозрений не вызывали. Главное было не встретиться взглядом с патрульными, вовремя отвести глаза. Колян с Наташкой старательно «не смотрели» на патруль и, как заклинание, шёпотом повторяли: «Только не меня!» И действительно, им везло, какая-то неведомая сила (может быть, Бог) старательно оберегала их в «командировках».

Зато как приятно было потом разносить по домам и вручать (пусть и небольшие) «зарплаты», которые «тройка» честно делила со своими «сослуживцами»! В самом деле, здорово быть кормильцем…

Тем временем Витёк нехотя признался:

— Ну, насчёт защитника-кормильца я пока не очень… Но летать смогу.

— Может, и с горы вниз полетишь?

— Может, и полечу. А ты всю жизнь ползать будешь!

— Это ты щас у меня поползёшь!

Дискуссия обострилась, но в драку не перешла. Друзья растащили спорщиков в разные стороны. Те нехотя заняли места по разные концы стола, но Витька всё-таки успел ещё раз предсказать другу его печальную участь:

— Вот так всю жизнь проживёшь-проползаешь!

Ответа Николай Петрович уже не услышал: подоспел юркий чернявый официант с горячей пиццей. Ребята занялись едой и затихли. Никто не вышел из-за стола. Желающих испытать чувство полёта не находилось. Похоже, про пятно на горе забыли.

Зато Николай Петрович не забыл. Он воровато оглянулся, отставил недопитый бокал и медленно сполз с высокого барного стула. Посмотрел на часы: вроде время есть, в запасе часа полтора-два. Жена с подругой по магазинам побежали: подарки купить перед отъездом. «Так что можно», — задумчиво протянул Николай Петрович. И твёрдо повторил: «Можно!» А что именно можно — в этом он даже самому себе ещё боялся признаться. Задумал такую несусветную глупость, что и вслух произнести стыдно.

Внутренний голос укорял: «Взрослый мужик,

шестьдесят скоро, а прёшься невесть куда и зачем! А на хрена?»

Чтобы заглушить нудный голос разума, Николай Петрович стал тихонько скандировать в такт шагам: «А-на, а-на, а-на хре-на?» Он резво поднимался в гору, печатая шаг, и думал, что, наверное, как-то неправильно жил. Несмело. Неярко. Без чувства полёта. Может, время такое было? Или это он бесчувственный?

Асфальт закончился. Дело пошло медленнее, Николай Петрович спотыкался на скользких неровных плитах и пытался вспомнить что-нибудь про адреналин из прошлой жизни.

Учёба и работа у Коляна никогда сильных эмоций не вызывали. Может, события какие-нибудь особенные были?

Детство. Родители купили Коляну велосипед, на зависть соседским пацанам. Ну, ездил с ветерком, друзьям покататься давал. Гимнастикой занимался, в теннис играл — как и другие. Когда выигрывал, не очень радовался. Когда проигрывал, тоже не слишком страдал… Нет, не то, не то!

Свадьба. Взволнованная румяная Наташка, немножко чужая в длинном парадном платье. Колян не задумывался, любит он её или нет. На вопрос «что такое любовь?» ответа не знал, да

и стеснялся этого напыщенного «бабского» слова. Им с Наташкой всегда было хорошо вместе. Без полёта. Адреналина не было. А что было? Радость, спокойствие и какого-то глубокое родство. Как будто пришёл домой, где всё знакомое и родное. Где чисто, светло, тихо и тебя ждут.

Рождение сына. Колян приехал в роддом за Наташкой и Серёжей. Руки оттягивало букетами, конфетами, подарками, целой горой вещей. Никакого восторга — только беспокойство как бы чего не забыть. На сына смотрел с удивлением: личико некрасивое, красное. Держать Серёжу было непривычно и страшно. А вялую Наташку, измученную бессонными ночами, Колян откровенно жалел.

Да… Опять — мимо адреналина.

Так и текла жизнь ровно, спокойно, без взлётов и падений, без потрясений. Вот в книгах порой пишут: «жизнь неслась как бурная полноводная река». А у Коляна жизнь сочилась медленно, тонкой струечкой. Иногда разольёшь чай по столу, лужица набежит и остановится. Тряпкой вытер — и нет ничего. Так и у Коляна было. Тихо, размеренно. Потом, правда, война, как тряпкой, всю тишину и покой стёрла…

Война… А что война? В войну тоже никаких

метаний, никакой лирики. Странно было только, что жизнь как-то не по правилам шла. Точнее, вовсе без правил. Но и в этой неправильной жизни тоже можно было устроиться.

Главное — понять, что именно может с тобой случиться. Война показала, что случиться может всё. Значит, и готовиться нужно ко всему.

Всё у Коляна было чётко продумано, отработано. Когда боевики по домам пойдут, бежать нужно. Если убежать не успели, есть простые правила безопасности. Придут с улицы — Наташка с сыном через двор уходят, Колян отстреливается. Придут со двора — наоборот. Слава богу, только раз понадобилось.

Если бомбёжка — надо в подвал спуститься или в доме около несущей стенки на пол лечь. Или в ванной спрятаться. Если на улице — сесть около бордюра, где бетона побольше. Да в любой канаве, траншее залечь можно! Руками голову закрыть, рот открыть. Всё просто, понятно и скучновато. Без полётов. Почти. Один раз только взрывной волной от соседнего дома отбросило. Контузило слегка, потом прошло. Повезло: все живыми остались, после первой войны из города уехали.

Опять не то!

Так, а после войны что-нибудь необычное слу-

чалось? Когда уехали? Нет, пожалуй… Сначала трудновато было на новом месте. Потом всё устроилось: работа, жильё. На жизнь хватает. И на отдых за границей — тоже.

А чувства полёта как не было, так и нет…

В общем, ничего «адреналинового» Николаю Петровичу не вспоминалось. Поэтому он окончательно убедился, что прожил жизнь серую, никому не интересную.

Может быть, теперь всё изменится, после «полёта»? Мир будет другим? Или сам Николай Петрович станет «не таким»? Будет видеть и чувствовать по-другому в новой жизни, полной ярких личностей, умеющих летать, а не ползать?

Вдруг нога подвернулась, и Николай Петрович неловко свалился на острые камни. Попытался встать — не получилось, и он, усмехнувшись над собой: ну, как раз в тему! — опустился на четвереньки и медленно пополз вверх по крутому склону горы.

Как тогда, в войну. Когда только из ямы выкарабкался…

Чудом выбравшись из ямы, Колян пополз по двору мимо ветхого сарайчика, около которого его недавно «расстреливали». Посидел, отдышался, но встать не смог. Пополз дальше: мимо

небольших строений, разбитой машины, трупов мужчин в полевой форме. Были ли среди них «меченый» и конвоиры, Колян не посмотрел. Даже не вспомнил. Потом попадались ещё мёртвые. А вот живых вокруг не оказалось. Он этому не испугался и не обрадовался. Автоматные очереди раздавались уже не рядом, а где-то вдалеке. Колян неторопливо прокладывал маршрут вдоль узкой улицы с разрушенными догорающими домами. Улица эта, будто неровное поле, вспаханное огромным плугом, была вся изрыта, зияла глубокими ямами и колеями. Вот по такой колее Колян и двигался. Несколько метров полз — потом отдыхал.

Так и добрался до обрубка старого дерева. Крона у него была срезана снарядом. Остался только толстый расколотый пень, в который и вцепился Колян обеими руками. Встать не получалось, поэтому он лёжа обнял пень и замер в этой неудобной позе.

Вдруг что-то твёрдое упёрлось в спину.

— Встать!

Колян, вздрогнув от неожиданности, шатаясь, встал и удивился: получилось!

— Откуда?

— Из Грозного.

— Здесь чего делаешь?

— Домой иду.

— Куда домой?

— В Грозный.

— Ах, в Грозный?! А ну пошёл!

Бледный сутулый лейтенант погнал Коляна к большому серому казённому зданию, больно толкая в спину автоматом.

На пороге немолодой военный вяло препирался с полным мужчиной в помятом костюме, который требовал немедленного освобождения задержанной Иры Скрынниковой.

— Она моя дочь. И не виновата ни в чём. Я доцент нефтяного института.

— Без документов она…

— Но я же говорю: она моя дочь! Я доцент…

Тут Колян споткнулся на ступеньке и чуть не свалился военному под ноги.

— Да погоди ты, доцент! Это ещё кто такой? Откуда?

— Из города вроде.

— И зачем ты его сюда припёр?

— Домой, говорит, иду. Без документов, заросший, покоцанный.

— Тут все такие. Шляешься где-то, а тебя уже Глухов два раза спрашивал.

— А этого куда?

— Да хоть в кладовке запри.

Злобно матерясь, лейтенант загнал Коляна в тесную кладовку и запер.

В кладовке было темно, пусто и пахло пылью. Колян прислушивался к топоту, крикам и шуму в коридоре и шарил рукой по полу. Нащупал обломанный жёсткий веник, накрыл его завалявшимся в углу обрывком старой газеты, подложил под голову, лёг и незаметно уснул.

Снилась ему бомбёжка. Вокруг ухало, грохотало, гремело, а Колян, как это часто бывает во сне, хотел убежать, но не мог двинуться с места. Проснулся он от сильного удара в бок. Лейтенант застыл в дверном проёме и тыкал в Коляна автоматом.

— Ну ты охренел, в натуре! Ночлежку нашёл!

Он грубо схватил Коляна за шиворот и вытолкал в коридор. Закатный солнечный луч больно ударил по глазам и багровым сполохом осветил лейтенанта: дорожки слёз на грязном лице и мелкие пятна крови на гимнастёрке.

— Пошёл! Ну!

— Куда? — глупо спросил Колян, а лейтенант стукнул прикладом об стену и тонким голосом заорал:

— На х… пошёл! Понял? На х…!

Колян скатился по ступенькам и двинулся в том направлении, куда его неумолимо пихали. Вокруг, как в недавнем сне, всё гремело и взрывалось. Люди бежали по улице и кричали, и Колян кричал и бежал вместе с ними. Потом до темноты прятался под мостом в компании контуженного дезертира. С ним и разделил случайные трофеи: кусочек заветренного сыра, крошки от печенья и чью-то недопитую бутылку воды.

Ночью Колян долго брёл по тёмной дороге вдоль полей и лесопосадок. Только под утро пришёл в какое-то село. Или в деревню. Или в город.

На рассвете он, хромая, плёлся по незнакомой улице мимо ещё дымящихся развалин. Было тихо и пусто. Лишь где-то впереди слышался невнятный шум. Колян двинулся на шум и вскоре оказался у разрушенного снарядом дома. Уцелела лишь закопчённая часть стены — щербатый неравнобедренный треугольник. Под стеной шуршала и копошилась маленькая старушка в ветхом, дырявом платье, а порывы ветра шевелили её седые волосы и вздымали пепел над обломками кирпичей. В углу бывшей комнаты были аккуратно расстелены пододеяльник и наволочка, почти целые, чуть тронутые огнём,

странно белые на фоне чёрного, выжженного пространства.

В них лежало… что-то бесформенное, сложенное странными тёмными кучками. Колян подошёл поближе и понял, что перед ним не старушка, а седая и очень уставшая молодая женщина. Она откинула со лба опалённую прядь волос и строго сказала: «Мишу — в пододеяльник, а Санечку — в наволочку». Потом отвернулась и поползла вдоль стены, перетирая в руках комья серой земли и золу.

Колян утвердительно кивнул, опустился на колени и пополз в противоположную сторону. Он медленно разгребал кирпичные обломки, просеивал землю между пальцами — так когда-то дома гречку перебирал перед тем, как Наташке варить кашу для сына. Нашёл маленькую обгоревшую кроссовку, полную какого-то чёрного порошка, и осторожно положил в наволочку, стараясь не смотреть на её содержимое. Но всё равно посмотрел. И, как ни странно, стало легче, потому что рваные куски и кусочки обугленной плоти были мало похожи на части человеческого тела.

Так Колян с женщиной всё утро ползали и собирали в чистую белую материю то, что раньше было Мишей и Санечкой.

Потом долго бродили среди развалин в поисках лопаты. Не нашли, стали копать яму подручными средствами: Колян — кусками арматуры, через которые земля сразу же высыпалась обратно, а женщина — гнутым металлическим рожком от обуви. Копали долго. Колян еле двигался, уже не чувствуя ног и спины. Он с трудом представлял, как будет выбираться из ямы, хотя могила получалась совсем неглубокой. А женщина, наоборот, будто обрела второе дыхание: набирала полные пригоршни земли из ямы и разбрасывала их в разные стороны. Несколько раз, легко разогнувшись, она поднималась на ноги и спешила к месту, где остались муж и сын, — как будто опасалась, что они могли исчезнуть. Потом с сосредоточенным и спокойным лицом вновь принималась за работу.

Наконец яма была готова. Конечно, не типовая могила на два метра, но и сами похороны тоже обычными не были. Колян и женщина ползком перетащили из-за стены полупустые пододеяльник и наволочку, бережно опустили их в яму и без слов забросали комьями серой земляной массы. Колян стал отползать подальше, чтобы женщина могла побыть с могилой наедине, но она позвала его обратно. Оказалось, нужно было

чем-то закрыть яму, чтобы не разрыли собаки. Колян пополз на соседний участок, где из расколотой оконной рамы выпирала железной сеткой чья-то старая кровать. Раздирая руки в кровь, он притащил на могилу кроватную сетку и лёг рядом в тёплую пыль.

Наверное, прошло несколько часов: было уже совсем темно, когда женщина его разбудила. С трудом проглотив горько-солёные консервы, Колян запил завтрак (или обед, или ужин) ещё тёплой водой, а остатками кое-как обтёр лицо и тело.

Утром он проснулся от того, что шею защекотали чужие волосы. Женщина лежала рядом, прижавшись горячим плечом, жалобно постанывала и всхлипывала во сне. Колян осторожно отстранился, чтобы не потревожить её, но женщина вздрогнула, резко села и стала оглядываться по сторонам. Её растерянный взгляд остановился на могиле, и Колян испугался, что сейчас она забьётся в истерике. Но женщина строго взглянула на него сухими глазами, тяжело поднялась и стала искать что-то под стеной — оказалось, собирала остатки еды. Потом привычно, будто давно жили вместе, они молча позавтракали консервами с сухарными крошками, и Колян

сказал: «Ну, мне пора». Женщина кивнула и отвернулась к стене. Она сидела, прислонившись спиной к обгоревшим кирпичам, с безвольно повисшими руками — как сломанная кукла. «Может, со мной пойдёшь?» — спросил он запоздало, но женщина молча покачала головой. Колян понял, что она никуда не уйдёт, останется в мёртвом городе, на пустой улице, с погибшими близкими. Он махнул рукой на прощание женщине, имени которой так и не узнал, и направился к своему далёкому дому.

Шёл три дня. Что-то ел, где-то спал. Днём прятался среди развалин, крался по улицам короткими перебежками. Ночью брёл по пустым разбитым тротуарам сколько хватало сил. Потом, после короткого отдыха, вновь поднимался на дрожащие, слабые ноги. То плакал, то в такт шагам пел, когда его никто не слышал. Так Колян и вернулся домой…

Вот и сейчас ноги мелко дрожали, поясница ныла, но Николай Петрович упрямо двигался к заветной цели. Он дополз до вершины горы и разогнулся, крепко держась за согнутый металлический штырь, увенчанный заржавевшей табличкой. На ней на русском и английском языках туристов грозно предупреждали о страшных последствиях прыжков с горы. «Английская»

сторона оставалась чистой, а на «русской» кто-то эмоционально выразил несогласие. Надпись была украшена таким профессиональным рисунком, что Николай Петрович даже невольно возгордился талантливыми соотечественниками.

Подойдя к краю обрыва, он осторожно посмотрел вниз. Высоко. Нет, очень высоко. Отошёл. Вернулся к краю. Ещё раз посмотрел вниз. Камни скользкие. Скалы острые. И вообще…

С этой ёмкой и глубокой мыслью Николай Петрович зажмурился и неловко прыгнул.

Полёт прошёл нормально. Только очень быстро. Николай Петрович за короткий промежуток пребывания в воздухе ничего не почувствовал. Даже испугаться не успел. Больно врезался в воду и очень удивился этой боли. Вода, всегда такая мягкая и податливая, встретила его резким ударом.

Отдышавшись, Николай Петрович с трудом доплыл до берега. Долго сидел на песке, одной рукой держался за голову (её будто клещами сдавили), другой осторожно растирал онемевшую ногу. Внутренний голос ехидно спрашивал: «Ну, и где тот адреналин?» И ответа на этот вопрос не находилось.

Потом Николай Петрович поднял голову и убедился, что мир остался прежним. На склоне горы в тонкой зелёной рамке травы отчётливо вырисовывался зад.

Да и сам Николай Петрович не изменился. Только сильно болел живот и всё, что ниже. Было даже не столько больно, сколько обидно — будто отобрали что-то важное и нужное. В затуманенной голове, перебивая друг друга, теснились невесёлые мысли: «Всё правильно: кому — поцелуй над бездной, кому — задница в кустах. Кому — чё, кому — ничё… Рождённый ползать летать не может? Ну и хрен с ним!»

Николай Петрович решительно встал на ноги, охнул, крякнул, подтянул резинку на трусах и, припадая на ушибленную ногу, медленно поковылял обратно к бару.

Ирина Горбань
Вовкина любовь

1

О том, что Леночку изнасиловали, не говорил только Вовчик. Да ему и простительно. Парень всегда пребывал в радостном настроении. Идёт по улице такой увалень с серьёзным видом, ты от страха перед неизвестностью шарахаешься в сторону, а он подходит и начинает обнимать. Вроде на улице все наслышаны о безвредном характере Вовчика, но кто знает, что ему взбрендит в голову в неподходящий момент. Ходил он всегда в чистых и выглаженных вещах. Умственное развитие пятилетнего ребёнка ясно читалось на его лице. С любопытством поглядывали соседки в его сторону, видя, с каким важным видом тот идёт в магазин с авоськой. Пара пустых молочных бутылок мерно позвякивает, цепляясь за его коленку. В магазине покупателя знали. Брали из рук записку, деньги, отоваривали, гладили по голове и отправляли домой. Он улыбался, говорил, что любит всех, какие они красивые, и уходил. Дом был в тридцати метрах, но для Вовчика это

был серьёзный и важный путь. Считать он умел только до пяти. И на пальцах мог показать свой возраст — пять лет. Филатиха, мать Вовчика, работала почтальоном. Она бы и рада за собой таскать сына, только тот был настоящим увальнем. Не желал ходить по чужим улицам.

Сначала женщина просила соседку присмотреть за пацаном, а когда поняла, что тот совершенно безвредный, начала оставлять одного. Печь не затапливала, зная, что всё равно некому будет подкидывать уголь. Ну и ладно. Главное, он не мешает соседям. Приготовленную на полдня еду Вовчик съедал в один присест и уходил на улицу в поисках добрых улыбок.

Как-то он не появился. Сначала думали, капризничает, ещё придёт. Когда отсутствие заметили и соседи, Валька рассказала, что случился очередной приступ эпилепсии и сына забрали в больницу. Предупредили, что курс лечения будет долгим. Сроков в этот раз никто не называл. Да она бы никому и не сказала. Какая разница, когда сын вернётся домой. Пусто без него, но и без лечения оставлять нельзя.

От безделья соседи снова стали муссировать тему изнасилования.

2

От стресса Леночка отходила долго. В больнице пару недель отлежала, потом несколько дней дома, а там и каникулы. Семилетний ребёнок не понимал, почему чужие дяди в милицейской одежде задают глупые, некрасивые вопросы. Девочка вопросительно заглядывала маме в глаза и плакала, видя, как та не может сдержать слёз. На все вопросы отвечала, что не помнит того, кто сделал больно, что он подошёл со спины, аккуратно взял её за плечи и повернул в сторону посадки. Все дети села ежедневно ходили в школу и обратно мимо густой чащи. Никому из взрослых и в голову не приходило, что это может быть опасно. О Чикатило тогда не знали и не слышали. Провожать детей в школу было не принято. Бабушки кормили внучат завтраком, отпускали за ворота двора и спокойно занимались своими делами. Знать бы, где упадёшь, разве не запаслись бы соломкой?

На следующий день в посадку нагнали технику. Выкорчёвывали всё, что проросло за много лет в междурядьях. Прохожие поглядывали на небывалую возню в посадке и удивлялись, не министр ли едет в их село. Осталось асфальт проложить,

и памятник неизвестному солдату выкрасить, и ждать гостей. К вечеру посадка просматривалась как нарисованная. С какой стороны ни обойди — всё как на ладони. Но кому это надо, если жизнь девчонки разорвали и раскромсали на много лет вперёд?

3

Нинка со свекровью не то что не ладили, обе старательно делали вид, что в их семье тишь да гладь да божья благодать. Полусвекровь — это как полукровка.

Ефросинья взяла в мужья Петра с двумя пацанами — Сашкой и Колькой. Колька был рыжим, словно увядший апельсин. Блёклые брови и ресницы, практически белые — ни кровинки — губы в вечных заедах. Но какие у него были кудри! Всем девчонкам на зависть. Санёк был худым, жилистым, драчливым. Как-то угораздило их пацанами пойти на танковый полигон поглазеть на технику. Что там произошло, он толком не помнит. Да и зачем себя подставлять, если батя шкуру снимет за то, что остался без руки. Только в больнице он узнал, что рука никогда не вырастет, что придётся учиться держать ложку в левой руке. Калека он и есть калека. Культя

постоянно воспалялась. Дворовые мальчишки тут же обозвали его Култын. Кличка так прилипла к мальчишке, что со временем он перестал отзываться на собственное имя. Только паспорт надёжно хранил имя на всякий случай. Женился Култын на Марии в конце пятидесятых. В цепкие руки попал: девка продыху не давала, пытаясь направить мужа на путь истинный. В шахту кем-то пристроила, чтобы знали, что не калека её муж, а самый настоящий хозяин. Дочь ему родила. Не принято было всего одного ребёнка заводить, но что-то пошло не так, и они решили, что и одной девчонки хватит.

Рыжего Кольку присмотрела Нина. Угловатая, с жёлтыми зубами и маленькой грудью селяночка была работящей: и корову подоит, и дом выметет, и на стройке штукатуром оттарахтит смену. Вечная торопыга носилась по улице, всем видом показывая, как занята. Она и разговаривала быстро, глотая звуки. Для непонятливых жестикулируя и размахивая руками во все стороны, быстро рассказывала одной ей важную информацию и бежала дальше. Если поверх платья на ней всегда висел ободранный фартук — для аккуратности, то пятки красноречиво выдавали её вечную спешку. Мыла ли она ноги перед сном,

трудно сказать. Как и трудно сказать, спит ли она вообще.

4

Ефросинья крепко блюла семью. Петро был инвалидом. Оттяпанную ногу заменял деревянный протез, прикрепляемый к культе кожаными ремнями. Трудно ему давалась ходьба. Так и не научился тягать тяжёлую деревяшку. Особенно это было заметно после пары-тройки выпитых чарок самогона. Знатный самогон гнала жена. Не продавала — самим в хозяйстве пригодится. Особенным отличием от других мужиков у Петра была рожа. Именно рожа, а не лицо. Оторванная часть левого крыла носа, верхней части губы уродовали мужика. Ходил он всегда неухоженным, с клюкой, в старом дырявом ватнике, из которого клочьями висела набивка. В застиранной байковой красной клетчатой рубахе. Но половина улицы с ним почтительно здоровалась — солдат на скамейке отдыхает. Петро был букой, ни с кем не заводил разговоры. Да и как говорить, если речь невнятная, а язык то и дело вываливается изо рта. Благодаря ему и к Фросе с почтением обращались, мол, вон какая молодец, не дала воину пропасть. А Фрося возьми да и роди мужику

сына Толика.

Характер у бывшего солдата был не ангельским. Никогда его не видели с авоськой идущим в магазин или с ведром воды, которую добрая половина дворов таскала в руках и на коромыслах с другой улицы. Его жизнь проходила медленно и скучно. Плотно позавтракав под пару чарок самогона, дед выходил на улицу, усаживался на скамейку, закуривал измусоленную папиросу и смотрел в землю. Что он там выискивал? Почему не хотел встретиться взглядом с людьми? Никто из стариков никогда не присаживался к нему поболтать. Так и прожил букой и молчуном дед Петро. Умер так же неожиданно и тихо, как и жил. Справив похороны, угостив соседей борщом, картошкой со шкварками и самогоночкой, Ефросинья вздохнула. Разве могла она кому сказать, что муж был в тягость, что никогда не был помощником, что его инвалидная пенсия была мизерной и вечно не хватало на хорошую добротную одежду для Толика. Старшие давно живут отдельно, а младшего ещё пристроить надо. Он уже созрел для семьи. И тут…

5

— Толик утонул! — кричала какая-то соседка во всю глотку, барабаня в калитку тётки Фроси.

Забыв о больных ногах, женщина бежала туда, где был её сын. Она была уверена, что Толик, её кровинка, жив, что это не он погиб. Он не мог просто так оставить её одну на всём белом свете. Она скребла больными ногами по шлаковой дороге, падала, в кровь разбивая колени, поднималась и снова шаркала старыми оборванными тапками, пока по пути не растеряла их. И вот колодец. Откуда столько людей? Где Толик? Он должен стоять рядом с толпой и встречать мать.

— Сы-ы-ын!.. — завыла женщина.

Молодёжь, как всегда летом, отдыхала на отстойнике. На каждой шахте есть такие водоёмы. Все знают, что это места не для отдыха, но разве летом, в жару кого остановишь? Многие просто лежали на берегу и загорали, самые смелые плавали, хвастая удалью — переплыть шестнадцатиметровой глубины отстойник. Была жара, хотелось пить. Мальчишки всегда бегали на шахту за газировкой с отцовскими фляжками, бутылками, банками. И сейчас у некоторых были с собой фляги, но уже пустые. И тут одна девчонка

попросила пить. Толик решил, что на шахту пока не пойдёт, не накупался, лучше наберёт воды из колодца, который был в нескольких метрах от берега. Правда, он был заброшенным, но на дне виднелась вода. То что надо!

То, что колодец давно заброшен, знали многие. Что на дне всегда была вода, могли знать только пронырливые пацаны. А вот то, что колодец был «загазован», об этом рассказали уже спасатели, прибывшие на место трагедии.

Толик оказался первой жертвой. Когда за ним в колодец опустился друг, его тоже никто не слышал. В колодце стояла глубокая тишина…

В один миг Ефросинья постарела. Горе сломило сильную и крепкую бабью натуру. В своём горе она осталась на белом свете совсем одна. И тут поняла, что только смерть соединит её с сыном, поэтому решила больше не жить. Долго подруги уговаривали соседку попить куриного бульона, долго уговаривали встать и подоить корову. Женщина лежала на кровати, а смерть не приходила. И тогда подруги решили не кормить её и не доить корову. Когда хозяйство устроило «гармидер», как говорили старики этой местности, пришлось подниматься и жить дальше. Жить без Толика. Она украсила в маленькой кухоньке одну стену

рисованными иконами, вторую — фотографиями сына. Благо, в калитку как-то постучался фотограф, который ходил по улице и предлагал свои услуги по увеличению и раскрашиванию маленьких фотографий.

6

Когда невестка прибежала вся в слезах и не могла от рыданий рассказать про беду, у бабы Фроси душа перевернулась. Леночку испортили — как жить?!

И тут до неё постепенно начало доходить: но ведь она жива.

— Нинка, не ной! Руки-ноги целые? Глаза на месте? Она своими ногами ходит? Она живая?

— Жива-а-а-я-я-я… — ревела Нина.

— Вот и закрой рот. Это я с того света не подниму Толика, а у тебя вон какое счастье — Ленка живая.

— А соседи что скажут?

— А тебе лучше, чтобы умерла? — не сдержалась Ефросинья и сжала кулаки.

— Так позор како-о-ой! Уезжать надо подальше. У ребёнка жизнь наперекосяк свернулась, — продолжала реветь невестка.

— Я сама им рты закрою. Ты ещё не знаешь

меня, — повернулась к иконам и фотографиям сына свекровь. — Я за Толика…

— Какого Толика?

— Моего Толика… — осеклась Ефросинья. — За Леночку ещё как рты закрою.

Рты она могла закрыть — опыт был. Она всю жизнь хранила тайну Петра. Все соседи думали, что ранения он получил на войне. Доказательством были деревянный костыль и изуродованное лицо. Она ни разу никому не проболталась, что на лице — следы оспы, которая ещё в детстве съела маленького Петьку и он чудом остался жив. А нога — так кто в детстве не бегал по рельсам и не разбрасывал гвозди под огромные стальные колёса паровоза? Петька любил лихачить. Увидит, бывало, приближающийся поезд и аккуратно положит на рельсы гвоздь, чтобы его сплюснуло. Потом затачивал остриё и хвастал перед друзьями новым перочинным ножом.

После войны мужиков не было, вот Фрося, можно сказать, и подобрала урода-инвалида. Вроде как замужем. А когда родила сына — тут уж ни одна соседка рта не раскроет на чужое счастье. Одного не понимала: какую красоту девичью отдала в лапы этого ленивого урода.

7

Вовчик вышел со двора дома и направился к Леночке. Он не знал, что несколько лет не был дома, что в жизни происходят перемены и люди взрослеют. Что кто-то умирает, кто-то женится, кто-то появился на свет и уже подрос. Он не заметил, что огромная берёза, когда-то заслонявшая весь соседский двор, вдруг куда-то исчезла. Что у него на лбу появились морщины и старые вещи давно лежат в шкафу, а мать купила новую рубаху и штаны. Вовчик не понимал, что происходит, но ноги несли именно туда, где он никогда не был. Он встал напротив окон чужого дома и приготовился ждать. Странный человек не разбирался ни во времени, ни в календарях. Он помнил маленькую девочку и не понимал, откуда такая тревога. Вот если обнимет ребёнка, всем станет тепло и радостно. Ему давно не было радостно. Он постоянно слышал гром.

— Ты чего хотел, Вовчик? — вышла со двора старая женщина.

Он понимал, что это не Лена, что это какая-то бабка вместо тётки Нины, но не знал, как об этом сказать. Он не знал, что и сам со временем превратился в стареющего мужика с большим

животом. Пива, конечно, Вовчик не пил. Живот сам вырос, но и этот факт его не тревожил.

— Где Лена?

— Лены нет. Она живёт в другом городе. Тебе зачем?

— Я её люблю.

— Ты, Вовчик, всех любишь.

Сердце женщины сжалось. В голове промелькнула жестокая мысль — прогнать больного подальше. Давно ходили слухи о больном, который приносит в дом смерть. Он словно чувствовал, что скоро кто-то уйдёт в мир иной. Стоило Вовке кого-то обнять и признаться ему в любви, как через несколько дней тот умирал. Как хорошо, что его не было, когда Леночке было семь лет. Может, поэтому она и осталась жива, что Вовка не успел её обнять.

Долго скрывать позор от Лены не могли. Девочка росла, а вместе с ней снежным комом росли сплетни. Пора было выходить замуж, рожать детей, но как с таким прошлым удачно выйти замуж? Только уезжать подальше. Получив диплом о среднем образовании, Лена навсегда уехала из села.

— Уходи отсюда! — закричала испуганная женщина. — Уходи, она живёт в другом городе. Она

давно уехала. Ты должен знать. Она давно не ребёнок, у неё растёт сын. Мой внук давно вырос и служит в армии… Киевской армии, — тихо закончила женщина.

Больной человек не знал. Он ничего не знал кроме того, что ему очень надо обнять Леночку и сказать, как сильно он её любит. Иначе не успеет.

— Я подожду, — пробурчал под нос Вовчик.

Он подошёл к полуразрушенному забору и присел в траву. Где-то недалеко гремел гром. Он не знал, что это гремят снаряды. Ему никто не рассказывал о войне. Он бы не понял. Он всех любил.

И тут по дороге поехали танки. Баба Нина схватилась за голову и пошлёпала во двор. Вовчик подскочил с места и замахал руками то ли тётке, чтобы остановилась, то ли непонятным машинам, на которых сидели солдаты. Он немедленно захотел их обнять и сказать, что всех любит, и двинулся к танку…

Владимир Журавлёв
У графских развалин
Рассказ

Кому осталось жить одно мгновенье,
Тому уж нечего скрывать.

Филипп Кино, французский поэт XVII в.

1

Корреспондент областной молодёжной газеты Женя Иволгин возвращался из далёкой деревни, куда был командирован по критическому письму. Председатель колхоза встретился и простился с ним крайне недружелюбно, даже не дал транспорт до станции, мотивируя это якобы поломкой машины. А рейсовые автобусы уже не ходили. Жене пришлось возвращаться своим ходом и прятаться под капюшоном дождевика, чтобы не промокнуть под начавшимся дождём.

До станции было около пяти километров. Женя преодолел примерно треть пути, когда за спиной послышался рокот мотора и в лужах блеснули лучи фар. Это была крытая брезентом машина,

водитель которой проявил благородство, затормозил, приоткрыл дверцу кабины и крикнул:

— Тебе куда, пешеход?

— На станцию, — сказал Женя.

— Садись, довезу, — пригласил водитель.

Расположившись на стареньком, покрытом рогожкой сиденье, Женя облегчённо вздохнул:

— Спасибо. Я уже думал, что околею на этой безлюдной дороге.

— Да, места здесь глухие, настоящий медвежий угол, — отозвался водитель. — И чего тебя потянуло в такую темень? Переночевал бы до утра.

— Не получилось. Я тут в командировке, а дело такое, что ни ночлег, ни транспорт не положены.

— Ревизор, что ли?

— Нет, корреспондент.

— Понятно. Видать, какую-то правду решил написать?

— Решил, да вот не знаю, напечатают ли.

— А что, у вас не всякую правду признают?

— Не всякую, — ответил Женя.

— Нелёгкая тогда у тебя работёнка. Зачем же занялся таким делом?

— А чёрт его знает! Может, брошу когда-нибудь. Хотя везде свои сложности.

— Это верно, — согласился водитель.

Его сухощавое лицо и грубоватые жилистые руки время от времени освещались вспышками молний. Словно защищая от них автомобиль, водитель часто переключал скорости, нащупывая лучами фар колею, особенно на взгорках, дабы не заехать в кювет, за которым тянулись неровные силуэты телеграфных столбов, и за ними ещё не освободились от листвы берёзы и осины.

— Ну и шоссе… — пытаясь продолжить разговор, сказал Женя.

— Да. Не ремонтировали с послевоенных времён, — ответил водитель. — Некому. Мужиков в деревнях мало. Кого-то ещё в тридцатых годах на стройки и заводы позабирали, а многие не вернулись с войны. Вот дороги в этих местах и остались без хозяина. Скорее бы добраться до графских развалин. Дальше начинается асфальт до самой станции. — А что это за развалины? — поинтересовался Женя. — Я видел какие-то утром, когда ехал на автобусе мимо деревни, не знаю, как она называется.

— Это Огибалово, — сказал водитель. — Но так оно только по почтовому адресу значится, а в народе называется матерно.

— Почему же матерно? — рассмеялся Женя.

— Его так ещё до революции назвали. Говорят, тамошний граф был большим охотником до женского пола. Ни одну девку замуж не выдавал, пока самолично не проверит её достоинства. Такой, говорят, у него был обычай. Не знаю, правда ли это, или выдумка. Но легенда такая ходит. Поэтому, мол, прозвали деревню бранным словом, а усадьбу спалили во время революции.

— А я было подумал, что это руины после бомбёжки, и даже решил заметку написать о том, почему бы в этом строении с колоннами не провести ремонт и не переделать его в дом культуры.

— Какая там культура? — воскликнул водитель. — Тут не дом культуры, а другой дом надо открывать. Народ местный памятлив, не позволит устраивать концерты на месте бывшего притона…

Водитель не успел договорить, как машину резко занесло, и она пошла юзом в сторону кювета. Плавно нажав на тормоз, чтобы сбавить скольжение, водитель почти склонился над баранкой руля и сумел войти в колею.

— Вот чёрт! — в сердцах произнёс он. — Не хватало ещё заночевать в канаве или за трактором переться на ночь глядя. Слава богу, пронесло! Теперь уже и до графских развалин, кажись,

недалеко, доберёмся. — Вглядываясь на поблёскивающие впереди лужи, водитель помолчал, а затем вернулся к прежней теме: — Кстати, меня тоже удивляет эта история с усадьбой. Если б граф был другим человеком, то, наверное, давно бы уже отремонтировали бывший барский дом. Но уж больно крепка память народная. Столько лет прошло, революции, войны, а о проделках графа здесь до сих пор забыть не могут.

— Вообще-то если посчитать, то после революции времени прошло не так уж много, — заметил Женя. — Всего лишь сорок три года. Должно быть, ещё живы очевидцы, и они могут рассказать, что было на самом деле.

— Стариков не припомню, а вот бабки, действительно, живы, — согласился водитель. — Я вообще-то из другого района, но случается бывать здесь по делам промкооперации, так что кое-что знаю.

Между тем в ветровом окне вспыхнули молнии и на фоне чёрного неба показался далёкий холм с крышами изб и качающимися, как маятники, редкими огоньками уличных фонарей.

— Подъезжаем, — сказал водитель.

Вскоре стали отчётливее видны линии улиц и при спуске к речке остатки бывшей усадьбы.

Не сбавляя скорости, машина пошла по деревне. Несмотря на ещё непоздний час, во многих домах был погашен свет. То ли люди испугались грозы, то ли устали от дневных забот и рано улеглись спать. Вот только собаки не дремали. Услышав шум мотора, они, как верные сторожа, устроили шумную встречу незваному гостю. Некоторые вынырнули из подворотен и выбежали навстречу машине.

— Вот бесы, — усмехнулся водитель, и в этот момент он резко нажал на тормоз.

Но не четвероногие охранники заставили его сделать неожиданную остановку, а появившийся словно из-под земли мужчина с непокрытой головой в расстёгнутой телогрейке. Первая мысль, которая пришла в голову, — пьяный. Но, приглядевшись, водитель и Женя увидели, что человек крепко стоит на ногах и машет рукой с просьбой о помощи.

Остановив машину, водитель приоткрыл дверь и спросил:

— Что случилось?

— Беда! Матери плохо, — сильно волнуясь, срывающимся голосом произнёс мужчина.

— Что с матерью?

— Сердце. Нужно на станцию за неотложкой.

— Почему не вызовешь по телефону?

— Нет связи.

— Ну что ж, садись, — водитель пригласил мужчину в кабину, но тот почему-то остался на прежнем месте.

— Чего ж не садишься?

— А как я мать одну оставлю?

— Попроси соседей.

— Не могу. Поссорились мы вчера.

— Вот незадача, — водитель посмотрел в сторону Жени. — Послушай, может быть, побудешь здесь, пока мы за врачом слетаем? — Хорошо, — согласился Женя.

Он вышел из машины и пошёл следом за мужчиной к распахнутой калитке, за которой из окошек избы-пятистенки слабо струился свет.

2

Сняв в сенях дождевик, Женя прошёл в избу, половину которой занимала большая русская печь. Возле неё над полатями был пристроен голбец, широкая крышка которого служила покоем, и там за занавеской находилась больная старушка.

— Мама, я поеду за доктором, — негромко сказал мужчина. — Вместо меня побудет вот этот молодой человек. Если что, он даст лекарство,

ладно?

— Хорошо, поезжай, — послышался слабый голос старушки.

Оказавшись в незнаком доме, Женя растерянно огляделся по сторонам. В отличие от многих крестьянских жилищ здесь было мало икон. На стенах висели пожелтевшие фотографии и несколько старых литографий, на одной из которых была изображена старинная усадьба с большим домом с колоннами, возможно, та, от которой остались только развалины.

— Что же ты стоишь, сынок? — Женя услышал обращённый к нему женский голос. — Присядь к столу. Покушай, пожалуйста. В кувшине — топлёное молоко. В тарелке под полотенцем — хлеб. Не стесняйся. Стаканы чистые, — старушка говорила по-матерински негромко и заботливо. Чувствовалось, что её мучает боль, и казалось удивительным, как она находит силы проявлять заботу о постороннем, совершенно незнакомом человеке.

— Спасибо, вы только не волнуйтесь, — сказал Женя и, стараясь не нарушить покой больной женщины, подошёл к столу у занавешенного окна, сел за лавку, налил в стакан молока и отпил несколько глотков, утоляя жажду, почувствовав

нахлынувший голод, нашёл хлеб.

— Когда поужинаешь, посуду оставь на столе, — продолжила старушка.

— Спасибо, вы не беспокойтесь, — ответил Женя.

Свет из-под абажура не доходил до занавески, и поэтому трудно было разглядеть находящуюся там хозяйку. Однако сквозь щёлку в занавеске на какое-то мгновенье показалось её очень обыкновенное старческое лицо и блеснули глаза, исполненные грусти и надежды. Не желая тревожить больную женщину, Женя сделал вид, что не заметил её пронзительного взгляда. Допив молоко и съев несколько кусков хлеба, Женя подумал, что надо чем-то заняться. Он расстегнул пуговицы пиджака, вынул из внутреннего кармана блокнот и авторучку и решил подготовить план материала по командировке.

Собственно говоря, фабула была донельзя банальна. Молодую учительницу направили после педучилища в сельскую начальную школу. Обещали предоставить нормальное жильё, обеспечить учебниками, инвентарём. На самом же деле девушку обманули. Поселили в пристройке с протекающей крышей, а школу вообще не подготовили к зиме, даже дров не завезли. Вот молодая

учительница и написала письмо в редакцию, по которому Женя приехал вначале в район, а затем в деревню. Проверка подтвердила изложенные в письме факты. Но выяснилось и другое. Председателю колхоза не понравилось, что молодая учительница ходит в брюках и курит. На этой почве возник конфликт и, как водится, поползли сплетни о том, что, мол, приезжая хочет поскорее выскочить замуж и соблазняет мужиков, для чего устраивает в клубе вечеринки. Между тем, встретившись с учительницей, Женя узнал, что она решила организовать художественную самодеятельность и даже поставить спектакль, но денег на реквизит и декорации ей не дали. Более того, председатель, будучи однажды под хмельком, публично оскорбил учительницу, назвав бранным словом. Возник скандал, слух о котором дошёл до районных властей. Но в районе не хотели выносить сор из избы, поэтому Женю по приезде в райцентр попросили не предавать гласности поступок председателя. Женя же сказал, что вначале должен во всём разобраться, а затем уже решать, о чём писать и о чём не писать. В итоге он возвращался из командировки, как отфутболенный мяч, и теперь, оказавшись в роли ангела-хранителя, мучительно думал о

том, как же надо изложить материал, чтобы его напечатали.

Открыв блокнот на чистой странице, Женя записал первый пришедший на ум заголовок — «Скандал в глубинке», но тут же подумал, что это, наверное, банально, и зачеркнул написанное, решив, что надо более строго определить тему и показать её общественную значимость. Впрочем, слово «глубинка» ему понравилось, и он решил оставить его, но вместо «скандала» написал другое. Получилось «ЧП в глубинке». Затем он подумал о том, что, в сущности, важно не перечисление фактов, а концовка, то есть выводы, которые помогли бы решить исход этой заурядной и типичной истории.

Склонившись над блокнотом, Женя припомнил заключительный разговор с председателем, который заявил ему: «Вот ты вроде бы образованный человек, а жизни ещё не знаешь. Я тебе не для печати скажу: твоя героиня, хоть и юный специалист, но уже не девушка. До приезда к нам она успела сделать аборт». «Откуда это известно?» — настороженно спросил Женя. «Моя сестра — гинеколог в районной поликлинике», — заявил председатель». «Ну, и что это значит?» — спросил Женя. «А это значит, что так называемый

автор письма — девица лёгкого поведения, и неизвестно, чему она научит наших ребятишек», — усмехнулся председатель. Он сделал презрительное выражение лица и заявил: «Знаешь, можно быть образованным, но дураком. А можно два класса окончить и быть умным. В этом отношении даже почитаемый всеми Лев Толстой написал просто глупость в своём “Воскресении”. Он ни черта не разобрался в проблеме падших баб». «Почему же? По-моему, как раз-таки глубоко разобрался в вопросах этики», — возразил Женя. «А я думаю, что он в своей Ясной Поляне ни хрена не разобрался. Вот и ты, хоть и образованный, но встаёшь на сторону гулящих баб. Впрочем, пиши чего хочешь, а меня в первую очередь интересует производство. И чтобы народ из деревни не сбежал». Припомнив это признание, Женя задумался и зачеркнул предыдущий заголовок, но сочинить новый не успел, так как в этот момент вновь послышался голос за занавеской:

— Ты пишешь?

Женя машинально ответил:

— Да. Вам это мешает?

— Нет, я люблю смотреть, когда люди пишут. Кто-то потом читает, но вначале пишут. Помнишь Библию? «Вначале было Слово». А я видела

человека, который очень хорошо понимал, что это значит, и он тоже писал.

— О ком вы? — невольно вырвалось у Жени, и он запоздало понял, что лучше бы не задавал этого вопроса, так как непроизвольно спровоцировал собеседницу на продолжение разговора.

Она же, казалось, только этого и ждала, может быть, потому, что хотела уйти от своей боли, а может, чтобы не чувствовать себя одинокой. Поэтому ответила быстро:

— Теперь он уже покойник. Он умер семь лет назад. Не у нас. За границей. Максим Горький говорил, что это был самый лучший писатель двадцатого века.

Женя был обескуражен услышанным. Между тем женщина ненадолго смолкла. Её молчание оборвало развернувшуюся нить воспоминаний. Женя принял эту паузу как укор в свой адрес, но ошибся, так как вскоре из-за занавески вновь послышался неторопливый, словно лесной ручей, ровный голос:

— Ты не ослышался, когда я сказала, что он тоже писал, — продолжила старушка, и Женя убедился в том, что сейчас ей хочется не тишины, а общения.

Не поднимая головы от блокнота, он стал почти

машинально записывать неожиданный рассказ скрытой за занавеской старушки. Впрочем, это был даже не рассказ, а поток нахлынувших воспоминаний, которые у каждого человека всегда связаны с чем-то незабываемым и очень дорогим.

3

Вот что записал Женя.

— Вижу, ты впервые в наших краях. Значит, не ведаешь про то, кто мы такие. А мы люди подневольные, ведь и сейчас у нас полной свободы нет.

— То есть как нет? — обиженно воскликнул Женя. Он подумал, что старуха начала бредить.

Но она уверенно продолжала повествование:

— Ты не думай, что я схожу с ума. Нет, пока я ещё в себе, хотя и не в полном здравии. Однако ты должен понять меня. Кстати, как тебя зовут?

— Женя.

— Сколько тебе лет, Женя?

— Двадцать четыре.

— Женат?

— Пока холост.

— А я — Марья Ивановна. Мне скоро восемьдесят. Ты даже представить себе не можешь, как

зажилась я на белом свете, сколько всего перевидала, натерпелась. А ведь я всего на тринадцать лет моложе Ленина и почти однолетка с покойным Сталиным. Так что пережила и последних царей, и последних вождей. Мне уже некого и нечего бояться, только старухи с косой. Вот и сегодня она вроде бы как у моих дверей ходит.

Женя встревожился:

— Мария Ивановна, да вы о чём? Сейчас доктора привезут. Медицина у нас многое может, мы ведь спутники запускаем!

— Знаю. Как-никак радиоточка в избе есть. Но ты знаешь, Женя, одно дело говорить про спутники в городе, другое — в деревне. Ты-то сам откуда?

— Из Москвы. В прошлом году окончил факультет журналистики. На работу направлен по распределению в вашу область.

— Выходит, что деревня для тебя, городского человека, как говорится, тёмный лес?

— Получается, что так, — признался Женя.

— В таком случае, Женя, тебе предстоит узнать много неожиданного и неприятного. Например, ты знаешь о том, что у нашей сельской молодёжи даже паспортов нет?

— То есть как нет? — в полном недоумении

отозвался Женя.

— А вот так. Говорят, колхозы сохранять нужно, поэтому, чтобы молодые не разбежались, им паспорта только в день выборов выдают, да и то под расписку.

— Неужели это правда?

— Да, правда. Такую практику ввёл Сталин, а нынешние власти не спешат её отменять. Так что у наших парней выход только один — в армию. А потом не возвращаться. У девок же наших путей нет никуда, кроме как в полеводы, животноводы, доярки. Исключение — дочки наших начальников. Их на учёбу послать могут за счёт колхоза, потом в город в какое-нибудь учреждение определить. А остальные продолжают жить как крепостные.

— Но ведь крепостное право в России отменили сто лет назад?

— Эх, мил человек, это только на бумаге его отменили, а ведь по жизни этого не сделали ни цари, ни большевики. При царях после отмены крепостного права земля оказалась у помещиков. А это были князья, графы, поместные дворяне, у них после крепостной реформы остались права на землю. Наделы можно было получить только за выкуп. А у кого из крепостных были деньги?

Почти ни у кого. Поэтому в прошлом веке после шестьдесят первого года наши деды хоть и получили право на выкуп, но считались временнообязанными, выполняли барщину, разные принудительные работы, платили оброк. Я-то хорошо помню ту несвободу, и сейчас то же самое продолжается.

— Выходит, вы хорошо помните историю графских развалин?

— Конечно, помню. Только тогда это были никакие не развалины, а большой красивый барский дом со многими пристройками (беседками, амбарами, баней, конюшней, псарней), вишнёвым и яблоневым садами. Я там служила.

— Сколько же тогда вам было лет?

— Когда меня отдали в прислуги, мне исполнилось двенадцать. В тот год умер отец, и нас у матери осталось четверо сирот мал мала меньше. Мама тогда сказала: «Не пущу в услужение к графу». Но её уговорили, мол, пока я малолетка, ничего ужасного не случится. Сперва меня определили на кухню выносить помои, мыть посуду, стряпать, а спустя год допустили в покои графа. Его дурная слава до меня уже дошла, я знала, что до девок да молодых баб он большой охотник. Я и сейчас помню его лицо, пухлое, с бакенбардами,

глаза похотливые, блудливые, на вид как будто заспанные. Как увидит бабу погрудастее или девку покрепче, так и делается как медведь на пасеке. Входить в его покои было всегда страшно, даже когда он был совершенно трезв. В любую минуту он мог хлопнуть по заднему месту, ущипнуть, сказать нехорошее слово. Что и говорить, граф был не то что бабник, а настоящий развратник. Мы это знали и часто просили вместо себя идти к нему девок постарше и поопытнее, особенно после обеда, когда ему то почту надо было срочно подать, то принести подушки на диван из другой комнаты, то ещё что-нибудь. Не любила прислуга эти послеобеденные походы, после них нередко случались не только неприятности, но и беды. Я помню Глашу, которая утопилась, Веру, которая повесилась. За эти муки мы по-своему мстили графу. Стоишь, бывало, с подносом у двери в главную залу и думаешь, чего бы такого ему устроить, чтобы на душе стало полегче. Чаще всего плевали со злости в глазунью. И когда он брался за вилку, мы выскакивали за дверь с радостью от совершённого, пусть небольшого, но подвига, и довольные, вот, мол, тебе, чёрт старый, наше возмездие за твои беспутные мерзости.

Совсем иными были у нашего графа дочери и

сыновья. Один из них окончил университет, выучился на врача и жил в Москве. Другой служил морским офицером в Петербурге. Оба были люди семейные, образованные, культурные. Когда они приезжали, граф переставал самодурствовать и в деревне наступала другая жизнь.

Однажды я пошла в соседнюю деревню к тётке, сестре матери, и мы отправились в лес по ягоды. В тот год земляника уродилась. Едва вернулись, как началась гроза. Такую грозу я видела потом только в тридцатом году. Тогда наши мужики восстали против коллективизации, взялись за вилы, ружья, обрезы и решили идти в райцентр свергать советскую власть. Не знаю, кто подбил их на такой шаг, но смех один, что из этого вышло. Не успели мужики выйти из деревни, как из района приехали красноармейцы. Поставили на пригорки пулемёты и давай строчить в воздух. Мужики решили, что это по ним палят, и разбежались куда глаза глядят. Кто-то на крыше притаился, кто-то в стоге сена укрылся, а сосед наш в кадушку залез. Кадушку водой заливать стало, и сосед чуть не утонул. Его оттуда жена веником выгнала.

Но я сейчас не про ту, а про другую грозу вспомнила. Это было в год коронации царя Ни-

колая Второго. Тогда в поместье приехало много гостей. Некоторые отправились на прогулку в тарантасах. А тут случилась гроза. Мы с тётей как раз вернулись из леса. Только вошли в избу, кузовки поставили на стол, как начался сильный гром и ливень. В этот момент у нашей избы остановился экипаж. С облучка выскочил кучер и юрк в избу.

— Примите деток барских, — говорит.

Ну, мы, конечно, помогли. Господа вошли в избу, тётка кланяться принялась, растерялась. А я расторопная была, принесла полотенца, предложила утереться, усадила по лавкам и увидела, что все они, особенно дети, не столько по сторонам глядят, сколько на ягоды.

— Угощайтесь, гости дорогие, — сказала я.

Тётка тоже сообразила, что барчуков надо уважить, полезла в погреб за кринками молока, достала с полок посуду. Дети охотно принялись за ягоды, но к кружкам не притронулись. И тут я поняла, в чём дело. Кружки, которые подала тётка, были в крошках хлеба, не помыты и не протёрты, а барчукам это не по нраву пришлось. На улице они могут грязный камень в рот положить, а тут брезгуют.

— Подождите немного, — сказала я и пошла

споласкивать и насухо протирать кружки.

Одна из молодых барынь потом тоже молока попросила и обратилась ко мне:

— Девочка, мне кажется, что я тебя уже где-то видела?

— Так я у вас в прислугах, — сказала я.

— Сообразительная девочка, — ответила барыня.

На следующий день на кухню зашёл приказчик и сказал, что меня переводят в комнаты к барыням. Наш повар даже нож на пол уронил. — Ты смотри, Маша, какая шустрая, — сказал он. — Не успела на кухне как следует послужить, как тебя приметили. Хорошо служи барыням. Глядишь, в люди выведут, возьмут с собой в Москву или в Петербург.

4

Женя продолжал молча слушать и записывать рассказ своей собеседницы. Он не перебивал её вопросами даже тогда, когда она отвлекалась, как в случае с грозой тридцатого года, предварив его грозой более раннего времени, относящейся к лету тысяча восемьсот девяносто шестого года.

Между тем старая женщина продолжала воспоминания:

— Молодые барыни были ко мне добры. Я выполняла всё, что они говорили, прибирала в комнатах, ухаживала за их детьми, гостям прислуживала. Именно в ту весну-лето в усадьбу собралось почти всё семейство старого графа, а в августе приехал молодой двадцатишестилетний барин. Он направлялся к своим родным в Елец. По случаю его приезда сыновья графа устроили музыкальный вечер: играли на фортепьяно, пели романсы, читали стихи. Мне тогда велено было подавать гостям яблоки. В тот год уродилось много антоновки. Её кисловато-сладкий ароматный запах проникал во все уголки усадьбы, и гостям это доставляло явное удовольствие, как и сами яблоки. Я подавала их гостям в больших фарфоровых вазах. В тот вечер наш гость читал стихи. До сих пор помню такие строки:

Горько мне, когда ты, опуская
Тёмные ресницы, замолчишь:
Любишь ты, сама того не зная,
И любовь застенчиво таишь.
Но всегда, везде и неизменно
Близ тебя светла душа моя…
Милый друг! О, будь благословенна

Красота и молодость твоя!

Я впервые в жизни услышала светлые и нежные слова о женщине и была восхищена ими и нашим гостем, который показался мне настолько непохожим на других, что я с интересом стала наблюдать за ним и прислушиваться, что говорил он и что говорят о нём. От нашей горничной я узнала, что наш гость — писатель, и он пишет стихи и рассказы о природе и о любви. Любопытно, что в его присутствии даже старый граф перестал произносить грубости и непристойности. Впрочем, как-то в беседке между ними вышел спор, и граф по привычке сказал:

— Я сужу о женщине по походке. Какова в шагах, такова и в постели.

Молодой гость прервал его и полушутливо-полусерьёзно заметил:

— Это у вас пережитки крепостного права. Вы смотрите на женщин как на лошадей. А теперь во всём мире начинается новый виток цивилизации, который называется эмансипацией.

— Что вы имеете в виду?

— Право женщины на выбор мужчины, на взаимную любовь, и с этим надо считаться даже в родовых дворянских гнёздах.

— А разве вы против наших родовых гнёзд? —

возразил граф.

— Нет, я не против родовых гнёзд, — был ответ. — Но я против всего того, что может погубить наши родовые гнёзда, а именно их отсталости, непонимания, что такое любовь мужчины и женщины.

После этих слов у графа густо покраснела шея. До этого я никогда не видела, чтобы чьи-нибудь слова так на него подействовали. Но на этот раз он прервал разговор и удалился в кабинет, где просидел до самого ужина наедине с пистолетами, шашками, нагайками.

Вообще наш гость мало общался с графом, а бóльшую часть времени проводил в кругу молодых господ. Они прогуливались по аллеям, спускались к реке, плавали на лодках, катались на лошадях, играли в крокет. Была тогда такая игра: на специальной площадке деревянными молоточками загоняли шары в проволочные ворота. Но наш гость обычно играл недолго и часто уединялся в беседке, что-то писал. Мне запомнились нечаянно услышанные слова барынь:

— Поразительно, как он держится! А ведь его в прошлом году жена бросила. Ушла к его лучшему другу. Такой удар судьбы не каждый выдержит.

— Невероятно! Да он просто восхитителен! —

воскликнула другая барыня.

— Да не просто восхитителен, а настоящий гений, — сказала её старшая сестра.

5

Женя был взволнован услышанным, но решил не задавать вопросов. Между тем его собеседница продолжала:

— Второй раз я увидела нашего гостя спустя много лет. Это было в конце семнадцатого года, в Петербурге, куда я помогла перевезти барыню с внуками. Кстати, ты извини, что я часто забегаю вперёд. Спешу. Не знаю, увижу ли утро. Может быть, это моя последняя ночь. Но ничего не попишешь. У каждого человека бывает своя последняя ночь, и тогда хочется думать о самом главном, о родных, о близких, о других добрых людях… Кстати, я забыла сказать, что именно эта барыня взяла меня к себе, и я стала нянькой вначале её детей, а затем и внуков. В деревню мы возвращались только в дачный сезон, поэтому не застали много случившихся там событий и бед. Например, я не видела похорон моей матери, а затем и похорон старого графа, который умер перед японской войной и не застал революцию пятого года, а поэтому не узнал о том, что в Москве за участие

в декабрьских событиях был арестован его сын, врач, который потом погиб в Гражданскую войну, где был на стороне красных. Но я опять забегаю вперёд. Впрочем, это и неудивительно, ведь одним из самых памятных стал семнадцатый год. Тогда мне уже исполнилось тридцать четыре. Я осталась старой девой, никто не отважился брать замуж, у меня ведь не было ни кола ни двора.

Февральскую революцию я застала в Питере, а вот Октябрьскую увидела в самом её разгаре. Я тогда как раз барыню с дочерьми и внуками сопровождала из деревни. Поезда уже ходили плохо. Добираться пришлось с пересадками. Из Москвы ехали через Ржев. Ночью в вагон ворвались вооружённые солдаты и стали выгонять пассажиров на улицу. Разумеется, все стали возмущаться такому произволу. А наша барыня заявила солдатам: «Что вы себе позволяете?! Я — жена контр-адмирала и пожалуюсь военному министру!» На что один из солдат закричал: «Бей буржуев! А барыню — под колёса!» Не знаю, откуда у меня только сила взялась. Я вцепилась в этого солдата двумя руками и закричала на весь вагон: «Уйдите, окаянные!» В этот момент в вагон вошёл какой-то начальник в кожаной куртке и кожаной фуражке с маузером в руке.

Строго спросил: «Что здесь происходит?» «Да вот, женщину хотят под колёса бросить», — сказала я. Увидев мой простой бабий наряд, этот командир приказал оставить барыню в покое, но сообщил на весь вагон: «Граждане! Только что пришло сообщение. В Питере победила революция! Поэтому прошу всех выйти — мы поедем на помощь восставшим в Москве!»

У Жени внезапно перестала писать ручка, видимо, кончились чернила. Пытаясь привести её в порядок, он несколько раз встряхнул её и нечаянно выронил на пол. Звук упавшего предмета был негромким, но собеседница уловила его и спросила:

— У тебя что-то случилось, Женя?

— Да вот, ручку уронил, — сказал он, успев достать к этому времени карандаш, который по обыкновению всегда имел при себе как запасной вариант. Чтобы не прерывать исповедь собеседницы, Женя спросил: — Мария Ивановна, вы видели революцию в Питере?

— Да. Мы добрались туда с великими мучениями. Ожидали, что город будет разбит боями, а увидели его совершенно невредимым. Как и прежде, бегали извозчики и ходили трамваи. Работали магазины и рынки. Не слышно было

выстрелов. Это, оказывается, в Москве случились тогда побоища и поубивали тысячи людей с той и с другой стороны, а в Питере кровь покуда не лилась. Правда, красного цвета было много. На флагах, которые висели на улицах, и на петлицах марширующих красноармейцев, а также солдат и матросов.

Вспоминая те дни, скажу, что нам несказанно повезло, что мы не задержались в Москве и приехали именно в Питер. Барыня тогда очень беспокоилась за судьбу мужа, который находился в Кронштадте и, как выяснилось потом, вместе со своими кораблями встал на сторону революции. Но среди приходивших к нам в те дни старых знакомых было очень много тех, кто революцию не принял. Среди них был и тот, о котором я начала свой рассказ. Помню, он пришёл к нам по какому-то неотложному делу, кажется, просить адреса уехавших из России ещё в феврале-марте знакомых. Барыня тогда весьма ласково встретила его, велела накрыть в гостиной стол и рассказывала, с какими муками добиралась из усадьбы в столицу. Упомянула и то, как я набросилась на взбунтовавшихся солдат во Ржеве со словами «окаянные». «Окаянные — это точно сказано. Это все наши сегодняшние дни», — заметил наш гость.

С тех пор больше я не видела его никогда. Говорили, что он уехал из Питера вначале в Одессу, а потом за границу.

6

Женя продолжал почти стенографировать рассказ собеседницы и узнал, что в девятнадцатом году она вернулась в родную деревню ввиду того, что в Питере стало жить невмоготу: почти всех уравняли в жилплощади, прислугу отменили.

— Я вернулась, когда спалили усадьбу графа, — говорила Женина собеседница. — Уже тогда остались одни развалины. Стала работать в сельсовете уборщицей, истопницей, сторожем. В двадцать четвёртом, вскоре после смерти Ленина, вышла замуж за инвалида Гражданской войны, но спустя два года он был убит кулаками, оставив меня вдовой с поздно родившимся сыном, которому тогда шёл второй годик. В тридцатых я была председателем местного колхоза. В войну, когда мужиков позабирали на фронт, как и все наши бабы, пахала на себе колхозную землю. В общем поработать пришлось как тягловой кобылице. Удивляюсь, как смогла пережить многих подруг. Но теперь, видимо, приходит и мой черёд. И вот я не знаю: зря или не зря прожита моя жизнь. Мо-

жет, она окаянная какая-то, а может, так и должно было быть. Что ты, Женя, скажешь об этом?

Женя вздрогнул, услышав этот вопрос. Что, собственно говоря, он, годящийся во внуки этой женщине, может сказать ей?

В этот момент послышался шум мотора, и вскоре в дом вошёл сын хозяйки и вместе с ним старичок с саквояжем, оказавшийся доктором районной больницы.

Спустя полчаса уже по дороге к станции доктор сказал Жене:

— Плоха бабушка. Медицина ей уже не помощница. А вот сын её, Иван, — молодец. Заботится о матери, как говорится, до последнего патрона.

— Как, вы сказали, зовут её сына? Иван? — спросил Женя.

— Да. Иван, — повторил доктор. — А почему это вас удивило?

Жене не хотелось пересказывать только что услышанную историю, и поэтому он ответил, как думал:

— Бунина тоже звали Иваном.

Анна Лео
«Безутешные» родственники

Так же всячески должно избегать осуждения других. Не осуждением, а молчанием сохраняется мир душевный.

Наставление святых отцов прп. Серафима Саровского и св. Феофана-затворника

Удивительно, но в специальном помещении при морге, где проходило отпевание и прощание для тех, кого родственники не могли или не хотели забирать домой, собралось мало народу, хотя покойный Николай Иванович Синицын был на редкость общительным человеком. Его сын Игорь Николаевич пришёл проститься с отцом один. Жена отдыхала в далёких краях, и он посчитал, что сообщать ей о печальном событии, а тем более прерывать отпуск, не имело смысла, тем более, что и родственных чувств ни она, ни покойный друг к другу не испытывали.

Николай Иванович болел давно и поэтому к смерти готовился основательно. Врачи предлагали ему сделать операцию, но три причины не

позволили больному согласиться.

Во-первых, он боялся наркоза, во-вторых, операция касалась особо важного органа — сердца, а третьей и самой весомой причиной, которая перевесила две остальные, оказались деньги.

Марья Васильевна, новая жена отца, выслушав в очередной раз доводы сына Николая Ивановича о необходимости операции, вздохнула:

— Игорь, но что поделать, сколько Бог отмерил, столько и проживём. А то может так статься, что мы деньги собирали-собирали, заплатим врачам, а окажется всё впустую. Они же никогда ничего не гарантируют.

Человек, выросший в деревне, мыслит основательно.

Сын, которого Николай Иванович вновь обрёл спустя тридцать лет после развода с его матерью, не считал себя вправе настаивать на чём-либо.

Отец последний год суетился, всё переживал, что ничего не может оставить сыну. Каждый разговор с женой на тему о наследстве заканчивался приступами боли у него и угрозами развода с её стороны. И, обладая характером слабым и беспомощным, он советовал сыну после его смерти обратиться в суд для раздела имущества. Писать завещание он почему-то упорно не хотел — бо-

ялся гнева Марьи Васильевны. А там, в могиле, смеялся он, ему уже ничего не будет страшно.

— Ты же знаешь, у Юли-то сынок больным уродился, да и мать у бедняжки недавно умерла, вот тётя Маша по-женски и печётся о племяннице. Денег на лечение-то много требуется, а ты у меня — орёл. Сам всего добьёшься, — вытирал отец слёзы в разговоре с сыном.

Ближе к старости Николай Иванович стал очень сентиментален — плакал по любому поводу.

Орёл так орёл. Наследство — дело скользкое.

Теперь тело отца везли на старом военном грузовике, а малочисленные родственники: сын, брат отца Леонид Иванович, приехавший из Винницы вместе с супругой Татьяной, Марья Васильевна, Юлия с мужем и ещё несколько человек, которых Игорь Николаевич видел впервые, — разместились в автобусе, который, дребезжа старыми рессорами, добросовестно подпрыгивал на малейшей выбоине и наполнял салон выхлопными газами.

Стоял тёплый солнечный день. Окна автобуса, не закрывавшиеся по техническим причинам, позволяли дышать пылью дороги и свежескошенной по её откосам травой.

Никто не разговаривал, только сзади слышался тихий шёпот Марьи Васильевны и Юлии.

— Военкомат предлагал организовать похороны, ну, чтоб с воинскими почестями, салютом, солдат прислать, но я решила взять деньгами. Николаша всегда против транжирства был.

Потом она стала подсчитывать, сколько теперь получит за мужа пенсии и получит ли, так как он, увы, не дотянул несколько дней до полного её начисления.

Игорь Николаевич перестал прислушиваться к разговору женщин и стал смотреть в окно. Автобус ехал по кольцевой дороге. Уже давно остались позади башенные краны, вечные спутники новостроек, когда автобус свернул на просёлочную дорогу с недавно залитым асфальтом.

— А куда это мы едем? — обратился к Игорю дядя Лёня, худенький мужчина с испуганными карими глазами на осунувшемся от дальней дороги и горя лице.

Тот пожал плечами.

— Не знаю. Марья Васильевна всё организовывала.

Леонид Иванович фыркнул и с неопределённой интонацией протянул:

— Поня-ятно…

Прошло полчаса, когда, натужно фыркнув, автобус остановился. Кладбище, по-видимому, было открыто недавно: могилы, в основном свежие, заваленные венками и цветами, стояли без надгробий, и только вдалеке около забора виднелись кое-где установленные памятники.

Все собрались около гроба, и началось прощание. Марья Васильевна вздрогнула и, запричитав, начала гладить руки супруга.

Внимание Игоря Николаевича привлекла другая похоронная процессия, где вдалеке, кроме двух рабочих, опускавших небольшой гроб в могилу, стоял мужчина среднего возраста, без конца отирающий платком голову.

«Ни цветов, ни музыки, почти как у нас», — промелькнуло в голове Игоря Николаевича.

— Социальные похороны, — шепнул ему на ухо муж Юлии. — Зарыли, и славу богу.

Один из гробовщиков кашлянул, и Марья Васильевна, моментально успокоившись, отошла к племяннице.

По крышке гроба застучали первые комья земли.

— Понятно, — громко сказал Леонид.

— Что тебе, рохля, понятно? — спросила его супруга, женщина грубоватая — сказывался мно-

голетний стаж работника торговли на овощной базе, а её рост (она была выше мужа и крупнее — как говорится, здоровая) давал Татьяне непререкаемое лидерство в семье.

— Понятно, что всё экономите. Похоронили как собаку, без почестей и музыки, так ещё и завезли в тьмутаракань, чтобы на могилку не ездить. Всё вам тяжело, всё болеете, а сами кого угодно переживёте. — Как тебе не стыдно, Леонид? — с упрёком сказала вдова. — Николай сам не хотел пышности.

— Больно ты знаешь, что он хотел! Все вы змеюки, — дядя Лёня заплакал. Он очень любил брата.

— Машенька, не обращай внимания на этого идиота, — Татьяна со злостью дёрнула мужа за рукав пиджака.

В кафе, где были заказаны поминки, ждали ещё несколько человек: две женщины и пятеро мужчин. Это были знакомые и друзья отца, которые приехали из его родной деревни. Они сокрушались, что поздно получили телеграмму. Охламон почтальон доставил её вечером, когда автобусы уже не ходили и попасть на кладбище проститься с Николаем не представлялось никакой возможности.

Увидав их, дядя Лёня расцвёл и примостился

между двумя односельчанками.

Выпили по рюмочке, потом по другой. Марья Васильевна зорко следила, чтобы гости хорошо закусывали, а Татьяна не спускала взора с мужа, который тихонько беседовал с соседкой слева.

Игорь Николаевич, сидя рядом с Марьей Васильевной, услышал шёпот Татьяны, сидевшей от той по другую сторону:

— Ты зачем Надежду пригласила? Это ж первая любовь Лёньки!

— Я никого не приглашала, — также шёпотом ответила Марья Васильевна. — Я просто послала в деревню телеграмму о смерти Николая, и кто захотел, тот приехал.

— Ещё бы, упустила бы она такой случай, — фыркнула жена Леонида Ивановича. — Заявилась.

Когда подняли очередную рюмку, Татьяна, не выдержав, рявкнула:

— Леонид, поставь немедленно рюмку, тебе уже хватит, а тебе, Надежда, стыдно ему всё время подливать.

Ни Леонид Иванович, ни Надежда даже не взглянули в её сторону. Мужчина лихо опрокинул стопочку, и женщина тотчас наполнила её до краёв.

— Надька, ты что за представление здесь устраиваешь? — уже почти кричала свояченица Марьи Васильевны.

А та, не обращая на Татьяну внимания, говорила соседу:

— Зачем ты, Лёнька, из деревни уехал? Чтобы так себе жизнь испортить? Ты же помнишь, как я тебя любила, как мы с тобой гуляли, какой ты красивый был! А сейчас? Истерзала она тебя злобой ненасытной. Поедем, Лёня, домой, до нашей деревни. По грибы будем ходить, по ягоды. Ты же любишь варенье с чаем? А я тебя жалеть буду, — с нежностью говорила Надежда.

За столом стало тихо.

— Надежда, ты в своём уме? Что ты себе позволяешь? — не выдержала Марья Васильевна.

— Нахалка! — отчеканила жена Леонида Ивановича, которая как-то внезапно очутилась около разлучницы и, подняв мужа со стула за ворот пиджака, тянула к своему месту. Тот пьяненько похихикивал.

Надежда махнула рукой и сникла. Её соседка предложила:

— А давайте споём любимую песню Николая?

— Давай, давайте, — подхватила Юля, — дядя Коля так любил, когда у него в гостях пели

и веселились, и сейчас чувствуется, словно он среди нас.

И она звонким голосом завела «Калину красную».

— Всё же какая она умница! — обратилась Марья Васильевна к Игорю.

— Да, — не стал возражать тот. — Но, Марья Васильевна, мне пора.

— Что так рано? Может, что не так? — заволновалась вдова.

— Всё нормально, — успокоил он её. — Просто на работе горит срочный заказ. Вы же знаете, что похороны, как они ни ожидаемы, всегда неожиданны, как ты ни планируй.

— Ну да, ну да, но ты звони, приходи. Я буду рада.

— Обязательно, — он поцеловал ей руку.

Прошло два года, как ушёл из жизни Николай Иванович, но ни его вдова, ни сын так ни разу и не позвонили другу другу…

Классики

Это повествование можно было бы начать со строк «…Корабль под названием “Волжская звезда” разрезал носом тёмные воды самой знаме-

нитой русской реки. Мимо проплывали пологие и обрывистые песчаные берега, маленькие острова, а ночной воздух пьянил запахом ила, воды и мазута…». Всё это так, но о красотах волжских берегов напишем позже, а поначалу покажем несколько действующих лиц, которые по воле тщеславия или воспользовавшись услугами специальных предложений пароходства, оказались на корабле.

1

…– Я тебе дело говорю, — твердил Ильин приятелю Андрею Скороходу, когда друзья встретились в кафе за чашкой капучино. Алёха Ильин хотел заинтересовать Скорохода одной интереснейшей историей.

Максим потянулся и, откинувшись на спинку офисного кресла, крутанулся и отъехал от компьютерного столика.

За окном только-только стала бледнеть чёрная ночь. Звёзд уже не было видно, и лишь тонкий серп луны ещё отчетливо красовался на небе.

В доме тишина, все спят.

Максим Максимов любил вот такие часы — от полуночи до рассвета. Потому что именно ночью к нему приходило вдохновение, а потом

медленно угасало, растворяясь в предрассветной утренней зорьке.

Крошечный двухэтажный домик на небольшом клочке земли был зажат с двух сторон гигантскими особняками. Коробки из красного кирпича поглощали всё пространство и возвышались с двух сторон маленького домика, словно башни, оставшиеся от замка, который внезапно волшебно исчез.

Соседи почти не появлялись, так как статус дачного посёлка ближнего Подмосковья многие из них сменили на статус жителей коттеджного посёлка клубного типа.

Три корабельные сосны, возвышающиеся на одном из соседних участков, частенько по утрам шумели лохматыми лапами, да ленивый лай собак и шум мотора редко проезжающей мимо машины тревожили покой обитателей маленького теремка.

Максимов с самого детства мечтал стать сыщиком, поэтому после окончания школы поступил на юридический факультет и уже на третьем курсе проходил практику в органах МВД. В отделе ему поручили несколько мелких дел, находившихся в производстве, и, прикоснувшись к мерзости и грязи другого бытия, молодой человек

поначалу ощутил отвращение к розыскной деятельности, а потом ему на смену пришло другое чувство, чувство полного превосходства над другим человеком. Какой бы силой духа ни обладал вызываемый в стены карательного учреждения, у человека всегда возникает ощущение неуверенности и тревоги.

Поначалу Максиму приходилось тяжело, потому что он не умел работать в команде. У него всегда имелось личное мнение не только о жизненных ситуациях, но даже и об общепринятых законах и догмах юриспруденции, и молодой Максим Анатольевич убеждений никогда не менял, даже несмотря на очевидные факты и доводы. С такими жизненными установками, когда мнение индивидуума идёт вразрез с установленными законами, невозможно работать в системе правосудия, но молодой сотрудник старался. Да к тому же за короткое время работы в органах после получения диплома Максимов успел столкнуться с не лучшими представителями человечества, и эти представители смогли убедить его в том, что люди в основной массе — дерьмо и уважать их не за что. И поэтому трагедия, которая круто изменила его жизнь, произошла с ним не случайно, а закономерно.

Он избил подозреваемого, избил жестоко и беспощадно.

В деле были все факты: и продажа наркотиков, и сутенёрство, но потом, как иногда случается, подозреваемый оказался свидетелем. Тогда ещё в милиции оставались сотрудники, которые превыше всего чтили уголовный кодекс (избиение подозреваемого было вопиющим безобразием), поэтому, а может, и по причине его трудных взаимоотношений с коллегами, Максимову предложили написать рапорт.

Оставив службу, Максим пошёл работать на фирму, специализирующуюся на оказании юридических услуг. Работа была денежная, ибо, когда все кинулись заниматься коммерцией, фирмы и фирмочки, общества с ограниченной ответственностью и без неё создавались, закрывались, банкротились в неимоверных количествах, и, естественно, «сильные» услуги требовалась ежеминутно: днём и ночью, в зависимости от специфики деятельности того или иного юридического лица.

Он не был женат, поэтому жизнь его проходила в безграничной череде счастливых дней. В те годы денежные знаки появлялись в кошельках как у него, так и у многих его соотечественников

в неимоверных количествах, надо только уметь чуть-чуть шевелить мозгами и общаться с нужными людьми. Однако подлость мирозданья и состоит в том, чтобы не дать человеку жить долго и счастливо!

Как учит экономика, за перепроизводством всегда наступает кризис. Это как в любви. Где пылают большие страсти, там быстрее приходит пресыщение, и, как писали в старину, «…на месте костра осталось одно пепелище».

Огромный город, где в основном и сосредоточились финансовые потоки большой страны, долго не хотел сдаваться перед чудищем перемен.

Первыми стали терять работу многочисленные юридические и охранные предприятия. Счета обнулялись, деньги снимали или переводили в офшорные зоны. Фирмы закрывались, сотрудников сокращали.

Наступил конец и процветанию Максима, хотя они с партнёром ещё пытались продержаться какое-то время, но привычные траты стали несопоставимы с получаемыми доходами, поэтому через полгода компаньоны, разделив поровну наличный капитал, сдали ключи от офиса арендодателю, пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны.

Максим не спешил на поиски нового заработка, так как в сложившейся ситуации это было бессмысленно. С голоду он не умирал и стал анализировать, где можно заработать деньги, большие деньги… и Максимов решил стать писателем.

Максим Анатольевич Максимов с детства увлекался фантастикой и историей, и в какой-то миг его осенило: а не объединить ли этих двух капризных дамочек? И, поразмыслив некоторое время, Максим Максимов приступил к творческому процессу. Он сел писать роман о заговорщиках, которые, зная о покушении на эрцгерцога Фердинанда, предотвратили убийство, и мир пошёл по другому пути. Глобальный замысел? Может, и да, но мелочиться было не в натуре начинающего романиста.

2

Главному редактору издательства «Луч» Римме Яковлевне было далеко за пятьдесят, и это внушало доверие: не новичок в деле, профессионал. Круглые очки на крупном носу смотрелись элегантно и многозначительно, хотя за слегка затемнёнными стёклами собеседник не всегда мог уловить выражение её глаз.

Римма Яковлевна была женщина полноватая, с короткой седой стрижкой и ухоженными маленькими руками. А Максимова полные женщины почему-то располагали к себе. Может, оттого, что те строй- няшки, с которыми он проводил романтические часы, на поверку оказывались особами крикливыми и чересчур энергичными, а это, знаете ли, очень утомляет, особенно, когда хочешь жить без обязательств и без учёта мнения другого человека. Молодой человек считал, что если мужчина дарит партнёрше удовольствие в физической близости, то и в плане материальных благ они равны. Эмансипированные особы должны идти по избранному пути до конца: покупать себе шубы, бусики, колечки, дома и пароходы. Он не умел любить, может, оттого, что был безгранично жаден?

Максим оставил рукопись, условившись созвониться с Риммой Яковлевной через неделю.

— Работы невпроворот, — пожаловалась главный редактор, — несут и несут. Прямо не знаешь, радоваться ли тому, что в стране была обязательная всеобщая грамотность или нет? Да и барды в своё время запудрили мозги девчонкам, попевая лирические песенки у костров. Вот теперь их детёныши кто в прозу ударился, а кто в сти-

хоплётство. Поверьте, Максим, очень трудно в наше время повального увлечения бумагомаранием отыскать настоящее сокровище. И чтобы вы понапрасну не тратили деньги, я, как человек порядочный, постараюсь как можно быстрее определиться и сказать, стоит ли вам писать или надо будет расстаться с этой прихотью навсегда. Но только без обид.

Максим ехал домой во взбудораженном состоянии. Внутри него то всё замирало, то начинало звенеть холодноватыми льдинками.

Время было вечернее, и машины встали в сторону области намертво.

Но сегодня не раздражало даже это.

Он решил пока ничего никому не рассказывать, а вдруг редактор позвонит и скажет, что он бездарь! И что потом? Самого себя на смех поднимать? Нет, этот вариант не для него.

А внутренний голос ворковал: «Всё будет хорошо. Кто ещё мог написать такое? Ведь не каждый будет тратить столько личного времени, чтобы найти в интернете все данные по Балканам. Пишут только о метаниях своей души, а в этой области обладать энциклопедическими знаниями не надо».

Когда Максимов добрался наконец до дома,

родители спали.

«Ну вот, и говорить-то некому», — подумалось ему, и на душе стало пусто и тоскливо.

Есть не хотелось, поэтому он сразу тихонько поднялся на второй этаж и, закрыв дверь в кабинете, включил компьютер.

Но голова звенело пустотой, и Максим, промаявшись недолго, постелил на диване и вскоре уснул.

А утром… позвонила Римма Яковлевна.

— Максим, добрый день! Вы меня удивили! Вашу рукопись я прочла на одном дыхании. Я просто предчувствую колоссальный успех. Не вправе советовать, я только замечу. Вам не стоит печатать маленький тираж. Две-три тысячи, я думаю, разойдутся мгновенно, и не только окупят ваши затраты с лихвой, но и принесут прибыль. Вы не торопитесь — всё обдумайте, взвесьте, а я завтра жду вас к двенадцати часам для заключения договора.

Максимов почувствовал восторг. Неописуемый восторг, радость и счастье одновременно.

3

Николай умер неожиданно, во сне. Было ему тридцать шесть лет, и на здоровье он не жало-

вался. А вот такое горе. Врач, который приехал констатировать смерть, сказал, что, увы, сейчас очень много молодых мужчин умирают от остановки сердца. Без всяких предпосылок и причин.

— Жизнь такая, — вздохнул врач, сам недавний выпускник медицинского вуза. — Стрессы, экология, да и вообще, одна нервозность кругом.

Егор Петрович с тревогой посматривал на жену Надюшу. Ведь Николаша был её единственным сыном от первого брака. И её материнское горе нельзя было облегчить ничем. Надежда как застыла, так ни на что и ни на кого не обращала внимания. Когда привезли гроб, обмыли и положили туда Николая, она все дни просидела возле сына, не сводя с его лица провалившихся сухих глаз. Как будто впитывала родные черты, чтобы запомнить их навсегда.

Не заплакала она и на кладбище, когда застучали молотки о крышку гроба, ни за поминальным столом, ни на третий, ни на сороковой день, ни спустя год.

Егор Петрович был поэтом, и, надо признать, хорошим поэтом. Ему нужны были новые эмоции, вдохновение, общение с людьми и даже, извините, встречи с друзьями-посиделкиными за бутылкой водки и умными разговорами о несо-

вершенстве мира и никудышном руководстве страны.

А что было делать в этой ситуации? Понятно, материнское горе бесконечно, но он же живой человек! Да и к пятидесяти годам он не знал чувства отцовства, потому что никогда не стремился иметь детей. Быт и поэзия — вещи взаимоисключающие! Душа — тонкая материя для производства счастья, даже пусть это счастье заключается в маленьких радостях — рыбалке, выпивке и солнечных ваннах под шум волн или ветра. А тут бесконечная чёрная тоска. И для Егора Петровича, как лучик радости, поздним вечером раздался звонок из Москвы.

— Егорушка, как ты там? Сочувствую и разделяю, хотя словами нельзя ничего выразить, — ласково ворковала на другом конце провода Римма.

Егор Петрович вяло поддакивал, ибо в таких ситуациях каждому нечего сказать — и тому, кто утешает, и тому, кто слушает — ритуал вежливости.

— Егорушка, голубчик, я тебя приглашаю на литературные встречи. Тебе всё бесплатно. У нас есть кому платить за маститых авторов. Начинающие. А мы им должны дать уроки мастерства.

Как-нибудь доберись до Москвы, а от неё и поплывём. Будем разговаривать, мечтать, как в далёкие времена в нашей литературной общаге.

Егор Петрович промучился несколько дней — как сообщить жене, что он устал, устал невыносимо. У него всё время в груди словно находится тяжёлый камень, который своей глыбостью давит не только на душу, но и на мысли. Писал он еле-еле. Да о чём говорить? Он правил старые тексты и отправлял их в журналы. Не мог поэт подвести друзей-редакторов.

Как-то за ужином Надежда сказала:

— Егор, тебе не обязательно быть со мной и скорбеть. Езжай куда-нибудь, отдохни, иначе ты свой дар потеряешь. Не возражай. Я знаю, что ты порядочный человек. Но я хочу побыть одна. Не для того чтобы тосковать, а просто мне тяжело даже разговаривать. А к твоему возвращению, может, меня немного отпустит. Прошу тебя, пойми меня правильно.

Егор Петрович всю ночь просидел у окна, выкуривая одну папироску за другой, а к утру он пришёл к выводу — жена права. Он очень устал. Поэтому ближе к обеду поэт Колосин позвонил Римме Яковлевне и подтвердил своё участие в литературном фестивале.

4

Мила Ивановна Димитрова, майор полиции в отставке, а нынче адвокат одной из многочисленных юридических контор столицы, попала на корабль «Волжская звезда» исключительно благодаря подруге Анне Коробковой — детской писательнице. И ей было всё очень любопытно. Во-первых, она никогда не плавала на круизном корабле, а во-вторых, оказалась в среде литературных гениев! Столько интересного Мила Ивановна узнавала о культурной жизни страны — все представители литературного мира обожали застольные разговоры.

Но оказывается не столь радужным обещало быть данное путешествие.

На второй день, нежась под тёплым солнышком, Мила Ивановна услышала голос своей подруги Анны.

— Что будем делать? — Вопрос относился к критику Стелле Стерновой.

Они расположились дружелюбной троицей на верхней палубе, полулёжа в шезлонгах.

— Не знаю. Читать просто невозможно. Это зря тратить своё жизненное время.

— Вот ты, значит, вечером встанешь и при всех

скажешь, что сюжет не выдерживает никакой критики, что таких историй пруд пруди, а текст — сплошное графоманство? — сказала Анна и повторила свой вопрос. — Так что будем делать?

— Что другие будут говорить, то и мы, — наконец ответила Стелла.

— Правильно решили девочки. Зачем человека обижать? Притом он стол накрывает и даже шампанское купил. — К ним подошёл Егор Петрович, держа в одной руке удочку, а в другой — ведёрко.

Стелла сняла очки и вскинула глаза на мужчину.

— Тебе, Колосин, только бы выпить!

Тот пожал плечами.

— А чем ещё заняться в обществе прекрасных дам? Да и самородок этот как-никак оплатил моё путешествие, так зачем его обижать? Ну хочется человеку бумагу марать — пусть. Никому же не возбраняется.

— Вот вы все такие. Вам лишь бы своё пропихивать. А то, что вся литература, весь интернет загажен непонятной писаниной, вас не колышет? — Стелла, не заводись, — пожал плечами поэт. — Тебе-то чего? Ты же паразит на нашем теле, должна нас лелеять. Не будет нас — откуда ты хлеб возьмёшь?

— Оттуда! Откуда надо возьму. Ты хоть прочитал его повесть? Знаешь, о чём будешь-то говорить?

— Да плевать! Сначала Римму послушаю, потом тебя, опосля и выступлю. Уж соображу что-либо сказать.

— Кто тут моё имя всуе поминает? — к ним, тяжело дыша, подошла Римма Яковлевна.

— Да вот, дискутируем насчёт сегодняшнего вечера, — ответила Анна.

— Риммусик, позволь ручку, — склонился в поклоне Егор Петрович.

— Перестань ёрничать, Егор. И без тебя тошно. И приключилась же такая жарища! А тут ещё надо проводить мероприятия. Надо же отчитаться, как мы тут организовали литературные чтения и открыли новые дарования. Поэтому, друзья мои, прошу вас, будьте посерьёзнее. Да, Аннушка, вам завтра выступать. А ты, Стелла, будешь послезавтра с Рябушкиной. Это наш поэт из Калининграда. Так что почитай её опусы на досуге.

— Так поэт, поэтесса или поэтка? — воскликнул Егор. — Я что-то не пойму.

— А тебе и не надо понимать. Ты же поэт, а дамы сами как-нибудь разберутся. — Устало отмахнулся от него организатор мероприятий.

Мила Ивановна с удовольствием слушала этот разговор.

«Удивительно, — думала она, — какую сферу деятельности человека ни возьми, а страсти и амбиции у всех одинаковые».

Уже в каюте, собираясь на вечернее заседание, Аннушка ворчала:

— Ну почему даже за отдых надо расплачиваться своими принципами и силами!

— Что ты заводишься? — стала урезонивать приятельницу Мила Ивановна. — Скажи пару слов, и всё.

— Не могу. Воспитание не позволяет.

Анна Афанасьевна была в чём-то права. Сама она имела прекрасное филологическое образование и сочиняла прелестные детские истории в стихах. Также писала рецензии на книги отечественных и зарубежных авторов. Поэтому Мила Ивановна где-то понимала утончённую натуру подруги и решила больше её не раззадоривать.

Но к её удивлению вечер прошёл спокойно. Просто Мила Ивановна была новичком в данном сообществе, где критика ещё ничего не значила в оценке произведения. Шедевр могли хвалить вяло, а посредственность превозносить до небес. Всё зависело от того, кто автор и кто спонсор.

Все хвалили Максимова, но в меру, чуть-чуть журили, а потом с воодушевлением читали свои произведения.

Выделялись поэты. Их было не остановить. Ведь прозаику тяжело подобрать материал, который бы публике не скучно было слушать. А поэту что? Сложил руки на груди, пошевелил губами, взывая в памяти благозвучные строки, и вуаля — все слушают.

Особенно отличился Егор Петрович. Сказалось долгое отсутствие внимания к его персоне. В общем, он превратил вечер начинающего романиста в вечер маститого поэта.

Но никто и не заметил в этом ничего необычного. Уж больно щедрым оказался Максим Максимов — шампанское лилось рекой.

После нескольких вечеров Мила Ивановна поняла, что на корабле собрались разные по статусу литераторы. Были и довольно успешные и не очень, а были и такие, которые выпустили по одной книге и то за свой счёт. Также в этой компании находилось несколько издателей литературных журналов, лелеявших надежду заприметить что-нибудь интересное в начинающих или договориться со старыми знакомыми о новых публикациях.

Но в основном все были приятны в общении. Было интересно не только вести с ними беседы, но и слушать их произведения.

Да и погода выдалась на удивление чудесная.

5

Пароход частенько делал остановки, и литературная братия в полном составе отправлялась кто купаться, кто ловить рыбу.

Максим парил! Он завёл столько знакомств, что теперь точно можно было рассчитывать на связи и поддержку. А со своим талантом он скоро станет известен. Гонорары так и посыплются от всех издательств. Всё не зря делается в этом мире. Какая умная Римма Яковлевна! Не зря он столько денег потратил — всё окупится с лихвой!

Почти на сутки «Волжская звезда» бросила якорь в порту Саратова. Женщины и мужчины прошлись по магазинам, только интерес к ассортименту у каждого из них был разным. Единственное, что объединяло их, — покупка арбузов.

В Поволжье эта ягода всегда славилась исключительной сочностью и сахаристостью.

Все дамы решили сесть на однодневную арбузную диету.

— Бабы всегда дурью маются, хоть на отдыхе, хоть на работе! Такая у них противоречивая натура, — заметил поэт-футурист Гриша Гельдман.

Был он маленький, худосочный, но когда начинал читать свои стихи, голос его звучал громогласно, а чёрные маленькие глаза загорались изнутри яростным светом.

Миле Ивановне нравилось, как Гельдман читал свои стихи, чётко и громко, и они были неплохи, но она не очень любила авангард. Женщина предпочитала классику во всём, в том числе и в литературе.

— Всё же я понимаю, нас, женщин, за что мы любим поэтов! — как-то прошептала ей на ухо госпожа Стернова, пока Гриша читал свою поэму. — В обычной жизни пройдёшь мимо него и головы не повернёшь, а здесь поди ты! А возьми Егора Петровича — облезлая дылда с перебитым носом, а как переливчат в стихах о любви. Девки так и тают, а он то женится, то разводится. Но всё время пребывает в состоянии влюблённости. Вдохновляется благодаря женскому полу.

Наконец поздно вечером корабль отошёл от причала. Вся литературная братия высыпала на палубу. Саратов сверкал огнями, затмевая многочисленной неоновой подсветкой сияние звёзд. За

бортом серебрилась вода, и вдалеке от противоположного берега искрилась лунная дорожка.

«Удивительно, — думала Мила Ивановна, — как завораживает красота природы».

Она оглядела присутствующих. Все расположились небольшими компаниями — по три-пять человек. Кто курил, кто пил пиво или вино, но все о чём-то оживлённо беседовали.

«Что-то тихо сидим», — промелькнуло в голове женщины.

Сказывалось отсутствие Егора Петровича. Никто более не провоцировал на политические и поэтические споры.

Засиделись далеко за полночь и расходиться стали ещё и оттого, что с реки потянуло холодной сыростью.

Поэтому приятельницы очень удивились, когда к ним постучались в дверь в начале девятого. Никто не собирался на завтрак, и оттого никто и не пошевелился.

Но стук продолжался, и Анна подошла к двери.

В каюту вошла Римма Яковлевна.

— Девочки, пардон! Разбудила? Простите, простите, но пора вставать. Я вот по какому вопросу. Сегодня в одиннадцать должно состояться утреннее заседание, а я нигде не могу найти Колосина.

Нет его нигде! Ни в его каюте, ни на палубе. Я уже всех обежала. Пропал! Не дай бог, если за борт свалился, старый пьяница.

— Успокойся, — сказала Анна, гуманный детский автор, — для самоубийцы он слишком жизнерадостным ходил, а во избежание несчастного случая у пьяниц свой ангел-хранитель имеется.

— Дайте водички, — попросила Римма Яковлевна.

Выпив залпом воду, она призадумалась.

— Надо кем-то заменить. Может, опять Максимова попросить выступить?

— Нет, только не его, — замахала руками Анна. — Второй раз я не выдержу его заштампованности. Попроси Гришу и Стеллу. Он почитает, а та его покритикует. Они и собеседники интересные.

— Ты права, Аннушка, так и поступим. Вы уж придите, а то последнее время как-то массовость упала.

После ухода неожиданной гости Мила Ивановна стала размышлять. Если ты научился кататься на коньках, то это на всю жизнь, а если у тебя призвание быть следователем, то оно останется с тобой и в отставке.

Сначала она решила просмотреть все записи с видеокамер. Капитан корабля был недоволен происходящим и не скрывал этого. Что ни думай, а это ЧП! Камер было не так много, и материал удалось просмотреть быстро. Как и подсказывала интуиция бывшего следователя, ничего интересного не нашлось. Иногда то тут, то там мелькала физиономия одарённого поэта, но она отражала лишь его весёлое расположение духа.

Тогда Мила Ивановна направилась вместе с Риммой Яковлевной в каюту исчезнувшего гражданина Колосина. Увы, там не нашлось ни одной вещи Егора Петровича.

И появилось даже ощущение, что в каюте никто и не проживал.

— Римма Яковлевна, может, он вам звонил, а вы не услышали?

— Что вы, дорогая! Я уже сто раз проверила все звонки: и входящие, и выходящие, и какие там ещё есть! Ничего нет от этого мерзавца — ни звонков, ни смс!

— Может, где записка лежит? — предположила госпожа Димитрова.

Но поиски ничего не дали. Проза была, по-видимому, нелюбима Егором Петровичем.

После обеда все участники литературных

чтений собрались на верхней палубе и стали припоминать, когда, где и с кем видели в последний раз пропавшего Колосина.

— А вы не заметили, — держа в руках тонкую сигарету, — как Егор в последние дни крутился вокруг одной официантки? — задумчиво протянул Гриша Гельдман. — Не единожды норовил ей ручку облобызать. — Точно! — встрепенулась критик Стернова. — Чёрненькая такая, полноватенькая? Да и её я сегодня тоже не видела.

— Так я пойду и расспрошу обо всём капитана! — вскочила с места Римма Яковлевна.

— Не надо, Римма, — усталым голосом сказала Анна Коробкова, — пускай Мила сходит. У неё есть опыт как лучше и деликатнее расспрашивать и выведывать.

Через час после разговора с барменом из кают-компании недоразумение, происшедшее на корабле, было разрешено.

В то утро, когда «Волжская звезда» подходила к Саратову, официантка Галина Шмелёва неожиданно попросила расчёт по состоянию здоровья и ближе к обеду покинула корабль в сопровождении какого-то долговязого мужчины. И так она торопилась, что даже отказалась от денег за работу.

Выслушав рассказ Милы Ивановны, поэтесса Рябушкина вздохнула:

— Только любовь может быть так бескорыстна.

Гриша Гельдман посмотрел на неё с интересом.

— Старый проказник нашёл новую музу, — засмеялась Римма Яковлевна и тут же погрустнела. — А как же Надежда? Как она теперь одна-то будет?

Через день корабль пришвартовался у причала в Москве.

Участники литературного фестиваля распрощались, расселись по такси и разъехались по своим адресам.

И то ли в суматохе, то ли от безразличия никто не заметил отсутствия прозаика Максима Максимова. У каждого свои причуды! Может, его впечатлил поступок поэта и он, возможно, нашёл свою Музу?

А может, он решился стать вечным странником? Ведь никто ему так и не ответил прямо на вопрос, стоит ему писать или нет. Может, Максим в лице многих и многих литераторов найдёт ответ среди тех, кто всю жизнь странствует по миру в поисках правды и истины и точно знает

ответ, кто такой писатель?

Как знать, как знать…

Александр Пономарёв
Наш принцип

Алексея кто-то осторожно потряс за плечо. Он открыл глаза. На него, улыбаясь, смотрело загорелое бородатое лицо.

— Хас-Магомед, — Лёша тоже улыбнулся в ответ.

— Узнал?

— Ещё бы не узнать тебя, дружище! Ты же меня два часа на плечах нёс.

— Ну ничего. Как спина?

— Побаливает ещё. — Алексей неловко повернулся, в спине что-то хрястнуло и заболело так, что захотелось опять провалиться в глубокий и крепкий сон.

Лёша невольно застонал и огляделся. В больничной палате все койки были заняты, раненых было много, некоторые кровати вынесли в коридор.

— Слушай, — зашептал ему в ухо Хас-Магомед, — около Хасавюрта люди видели крупные банды боевиков. Пока федералы и наше ополчение ушли вглубь Чечни, они планируют здесь

проведение терактов. Не исключено, что захватят больницу. Я тебе тут принёс, если что, будет чем себя защитить. — И он положил Лёше под подушку свёрток.

Алексей сунул туда руку и ощутил в ладони тяжесть и металлический холод оружия. На ощупь пистолет казался не очень большим, но сразу внушал чувство уверенности и защищённости. Воронёный ствол был бережно завёрнут в холст.

— Спасибо, друг!

— Не за что, — дагестанец с улыбкой отвернулся. — Ты один здесь? Остальные ваши с тобой?

— Колюху вертушкой сразу же в Махачкалу отправили. Он самым тяжёлым оказался, а старлей Михеев здесь. В офицерской палате. Помнишь Михеева?

— Помню, — Хас-Магомед поморщился, — помню этого героя.

Как же не помнить взводного Михеева! Когда бойцы выходили из горящего села, он больше всех суетился и с тревогой осматривал раненых, как будто прикидывал, кого можно бросить, а кто пригодится.

Старший лейтенант Михеев запомнился Лёхе ещё в лагерях под Новочеркасском, где их готовили к военной операции. Во время проведения

тактических стрельб, занятий по тактике и воинским уставам Михеев отличался от других офицеров статью, придирчивым и слегка пренебрежительным отношением к подчинённым и излишним, подчёркнуто-внимательным отношением к собственной внешности. Надо сказать, что был он высок, строен, собой хорош, а его лихому казацкому чубу не хватало места под беретом, он всегда высовывался наружу и ниспадал на густые чёрные брови.

— Русские на войне своих не бросают, это наш — русский, так сказать национальный, — принцип. Запомните это навсегда, — внушал Михеев бойцам. Причём говорил он это так часто, что Лёха запомнил.

Здесь, в госпитале, старлей уже нашёл даму сердца. Медсёстры не сводили глаз с лихого офицера, который любил рассказывать, как выводил бойцов из-под обстрела. Но Михеев выбрал себе врача-невропатолога Жанну. Она была яркой крашеной блондинкой, к тому же излишним умом не отличалась. Ну что ж — свинья везде грязь найдёт. — Послушай, Хас-Магомед. Помнишь, когда мы повстречались с вами, уже вырвавшись из окружения, я просил подобрать раненого солдатика? — Лёха пытался заглянуть в глаза

ополченцу, но тот отводил взгляд. — Мы не смогли забрать его, а он плакал и просил не бросать. Вы не подобрали его, Хас-Магомед? Ну что же ты молчишь? А?

— Я помню, Лёша, помню. Когда мы входили в село, на обочине дороги лежало много солдат, но живых среди них не было. У некоторых было перерезано горло, их добивали. Ну, прощай. Да пребудет с тобой Аллах. Удачи тебе, Лёша. — И дагестанец быстро вышел из палаты.

Алексей ещё раз огляделся: на соседней кровати лежал солдат-срочник. Видимо, с серьёзным ранением, так как перебинтован он был с ног до головы и всё время молчал, даже не стонал. Двое ополченцев из Дагестана лежали на койках рядом, переговариваясь на своём языке, иногда косясь влево, где у стены маялся раненый боевик. Он всё время стонал, бредил, с его губ слетали длинные и пространные речи на арабском языке. Может быть, он повторял про себя суры из Корана, которые, как видно, скоро должны были ему очень пригодиться.

— Как дела, Караваев? — на Лёхину кровать присел взводный Михеев. — Держишься? Ну, держись-держись, молодец! Слыхал? Меня к ордену Мужества представили. Так что теперь всю жизнь

ты мне проставляться должен, я тебе её спас.

— Товарищ старший лейтенант, а вы того солдатика помните?

— Какого? — глаза Михеева забегали, он понял, про кого его спрашивают. — Их много в моей жизни было, солдатиков всяких. Всех не упомнишь. А я, брат Караваев, прежде всего свой личный состав должен сохранить. Что я и сделал. Ой, Жанна, идёт. Мне пора. Ну, пока, выздоравливай, солдат. А про этот случай никому ни гугу. А то я злопамятный. — И взводный вышел из палаты.

«Русские на войне своих не бросают. Это наш принцип. Запомните это как молитву!» — Кровь стучала в висках, сердце колотилось под шерстяным одеялом, а слова колоколом бились у Лёхи в голове.

…Отделение выползало из горящего села. Лёхе на спину как будто налили расплавленного свинца. Там всё жгло и болело. Но он полз сам. Рядом тащили Колюху Зверева, тот стонал и, похоже, был без сознания. Впереди мелькала фигура взводного. Он полз, пригнувшись к земле. Иногда оборачивался, кривил от досады лицо и приказывал ползти быстрее.

— Из-за вас погибнем все! — кричал он, срываясь на визг.

Саня и Юрка, тащившие Николая, не обращали на вопли Михеева никакого внимания. Может, им было плевать, а может, они были контужены и не слышали, а может, среди грохота и свиста пуль не не могли разобрать в запарке. Да какая разница?

Саня и Юрка остались там, на окраине села. Их скосила пулемётная очередь. Михеев пропал из виду, а Лёха полз, правой рукой цепляясь за землю, а левой подтаскивая к себе Зверева. Тот был расслаблен, как тряпичная кукла, и не сопротивлялся, но и не помогал.

И вот там-то под горящим БТРом им встретился солдатик. Ноги его были перебиты. Он сначала забился под днище бронемашины, а когда понял, что это свои, начал плакать и просить не бросать его. На несколько секунд Лёха потерял сознание, а когда пришёл в себя, увидел перед собой перекошенное от злобы и страха лицо Михеева.

— Товарищ старший лейтенант, возьмите солдата, а я потащу Колюху.

— Какого Колюху? Какого, я тебя спрашиваю? Бросай его, он всё равно не выживет. А этого, — он показал рукой на срочника, — я вообще трогать не собираюсь. Ты знаешь, что боевики минируют тела убитых и раненых? Я здесь старший и

требую выполнять мои приказы! Понял? Что, под трибунал захотел?

— Послушай, старлей, — Лёха в упор смотрел на взводного, — тащи Колюху, а я поползу за тобой. И не дай бог тебе его бросить. Замочу как гниду, — и Лёха показал ему автомат.

Михеев сплюнул и, сверля его глазами, всё-таки потащил Зверева за ворот.

Лёха попробовал волочить солдата за собой, но обессилел.

— Тебя как зовут? — спросил он пересохшими губами.

— Серёга, — всхлипнул тот.

— Послушай, Серёга, я не смогу тебя взять. Возьми мою фляжку, спрячься под БТР. Как только мы доберёмся до своих, я, обещаю тебе, пошлю их за тобой. Ты понял? Я спрашиваю: ты понял, Серёга?

Серёга послушно закивал головой и затих. Лёха пополз вслед за Михеевым. Каждый сантиметр давался ему с трудом, сил не было. На его спине кто-то в кованых сапогах отплясывал краковяк. Во рту пересохло. Поравнявшись с Михеевым, он решил отдышаться. Взводный пил из фляжки, пригнувшись к земле. Он поднял глаза и прошептал:

— Ну, вот и всё. Кранты.

Лёха повернул голову и увидел группу бородачей, вооружённых автоматами.

— Вы кто? Федералы? — спросил один из них. — Мы ополченцы из Дагестана!..

А потом всё было как в тумане. Лёха помнил только чернобородого Хас-Магомеда, который нёс его на плечах. Сколько? Он не понимал. Очнулся только в госпитале, лёжа на животе. Ощупав себя, обнаружил, что плотно перевязан бинтами и намазан какими-то мазями. Только наутро ему принесли завтрак и мензурку с таблетками. Та же медсестра сказала, что солдата, который был вместе с ним, увезли вертушкой в Махачкалу, а офицер лежит в соседней палате. Он почти не ранен и скоро вернётся в часть. Она почему-то думала, что Лёху порадуют эти новости. Но камень, который лежал у него на сердце, стал тяжелее на несколько килограммов.

Вот и сейчас. Была ночь. Лёха не мог уснуть. Как только он закрывал глаза, ему слышалось, как плачет Серёга и просит не бросать его. Потом он видел, как Серёга, глядя ему в глаза и успокоившись, уползает под БТР, прижимая к груди фляжку.

«А ведь я обманул его. Бросил», — подумал

Лёха.

Его тихо тронули за плечо. Он обернулся. В темноте палаты над ним стояла сестра в белом халате. Лица её не было видно, но Лёха понял, что никогда не видел эту медсестру.

— Вставай, пойдём, — тихо сказала она.

Лёха попробовал встать и не смог. Боль вернулась.

— Я не могу, — промолвил он.

— Хорошо, спи, — сказала сестра, — я ошиблась. — И она, повернувшись к соседней койке, тронула за плечо солдатика, забинтованного с ног до головы.

Лёха провалился в глубокий сон. Проснулся он только через несколько часов, но кругом все ещё спали. Подъёма не было. Но что же разбудило его? Лёха поднял голову. Два санитара, стараясь не шуметь, тихо выносили из палаты его соседа, с головой накрытого белой простынёй.

«Забрала, костлявая, — подумал он, — а ведь Михееву ещё долго служить. Он ведь только начал. Скольких ребят по его вине вот так вот вынесут вперёд ногами. Русские своих не бросают? Так, старлей? — Лёха усмехнулся. — Я спасу вас, ребята. Он больше не кинет никого из вас. Никто не погибнет больше по его вине. Русские своих не

бросают и не будут бросать».

Лёха вытащил из-под подушки пистолет, передёрнул затвор. Встал, морщась от боли. Спрятал ствол под полы халата и заковылял в соседнюю палату, чтобы наш принцип работал дальше. Работал как часы, и никто не смел в этом усомниться.

Скала

На горы опустился молочный туман, солнце уже скрылось за кручами, и прохлада обволакивала верхушки деревьев.

С перевала шла красивая горянка, она несла на плече серебряный кумган с ледяной водой. Девушка улыбалась Шамилю и приветливо махала рукой. Вот сейчас она подойдёт и даст ему напиться ключевой, холодной, как смерть, воды…

— Командир, проснись, командир. — Шамиля настойчиво трясли за плечо.

— Я не сплю. Что случилось? — Полевой командир открыл глаза и посмотрел на воина в зелёной повязке с арабской вязью, который сразу же смутился и потупил взгляд. — Я спрашиваю, что случилось? Или ты проглотил язык, Ваха?

— Командир, час назад наш передовой отряд

нос к носу столкнулся с разведкой русских.

— Потери?

— Нет, наши почти все целы. Русские вышли на поляну неожиданно. Они сразу попали под перекрёстный огонь. Мы перестреляли всех этих шакалов, и даже их командир попал к нам в плен.

— Он что, сдался сам? — Шамиль поднял брови.

— Нет, Шамиль, он ранен. Мы взяли его, когда он был без сознания. Он здесь. Поговоришь с ним или сразу в расход?

— Веди, надо расспросить, где основные силы противника. Вдруг они готовятся взять нас в кольцо. Они стали очень хитрыми в последнее время, эти русские.

Ваха вышел, затем втолкнул в землянку полевого командира молодого бойца в камуфляже болотного цвета типа «шелест» с непокрытой головой.

Шамиль строго оглядел его с ног до головы.

Скольких пленённых врагов он видел за эти четыре года войны… Каждый из них вёл себя по-разному: кто-то падал на колени, кто-то рыдал и молил о пощаде, кто-то начинал сдавать своих, хотя его никто не спрашивал. Встречались

и настоящие воины: они молча стояли, опустив голову, и ждали своего смертного часа. Таких Шамиль уважал и просил своих людей убить их быстро.

Но никто, никто и никогда из них не смотрел в глаза своему победителю.

Этот командир разведвзвода держал себя совсем по-другому. Он стоял, слегка согнув одну ногу в колене. Правое плечо и левая нога были неумело перевязаны бинтами. Шуршун местами вымазан коричневой глиной и кровью, на берцы комьями прилипла земля. Светлые рыжеватые волосы растрёпаны. Видно было, что боль мешает ему сосредоточиться, и всё же — он смотрел в глаза Шамиля. Смотрел зелёными очами и не отводил взгляда.

— Что смотришь? — усмехнулся бандит. — Не видел никогда?

— Нет, — просто ответил юноша, — только на фотографиях.

— Похож?

— Да, похож.

— Твоё звание, подразделение, задачи?

— Лейтенант Иванов. Командир взвода полковой разведки. Больше ничего не скажу.

— Если я захочу — скажешь. Ты же не хочешь,

чтобы тебе перерезали горло, как овце?

— Нет, Шамиль, я ничего не скажу. Во-первых, практически ничего не знаю такого, что тебе может быть полезным. А во-вторых, я давал присягу и, конечно же, понимаю, что в живых ты меня всё равно не оставишь.

— Понятливый. Но только я всё и так знаю. В то время как ты, как крот, ползаешь по лесам и ущельям, твои начальники за деньги разболтали все секреты. Я знаю перегруппировку ваших войск, где и когда намечены войсковые операции, где выставлены кордоны и пройдут воинские колонны. Просто я хочу подарить тебе несколько минут жизни…

— Зачем мне они, эти несколько минут, — перебил его Иванов, — если они сделают меня трусом?

Лейтенант продолжал смело смотреть на Шамиля зелёными глазами. — Я хотел попросить тебя об одной услуге, — продолжал он.

— А почему ты решил, что я окажу тебе — своему врагу — какую-то услугу?

— Потому что она не будет тебе стоить ровным счётом ничего, и ещё в память о наших дедах.

— Дедах?

— Да, Шамиль, наши деды воевали против одно-

го и того же врага. Чеченцы и русские — хорошие воины, может быть, лучшие в мире, и, если война постучится в наши двери, они должны воевать вместе, плечом к плечу против общего врага, как это делали наши деды, побеждая фашизм, наши отцы, выполняя интернациональный долг в Афгане. Они и нам завещали то же самое, но мы не поняли и не услышали, мы наплевали на их наказ.

— Хорошо, о чём ты меня хотел просить? — поморщился Шамиль.

— Мои оба деда воевали в Отечественную, отец был военным лётчиком и погиб в Египте, я — офицер и воин в третьем поколении и прошу тебя, Шамиль, не пожалей для меня пули и не режь горло, как барану.

— Это всё?

— Да, это всё.

— Ты смелый человек. Как тебя зовут?

— Володей.

— Я выполню твою просьбу, Володя. Только у меня к тебе есть предложение: сам знаешь, как нелегко сейчас найти хорошего воина. И эти, — Шамиль махнул рукой в сторону, — стоит только эмиссарам не привезти вовремя денег — они разбегаются по горам как крысы. Пере-

ходи на мою сторону, лейтенант. Поступишь в мой отряд — сделаю тебя полковником. Будешь командовать разведкой и получать приличные деньги, вчетверо больше, чем платило тебе твоё командование.

— Нет, Шамиль, я говорил тебе, что давал присягу…

— Присяга — это слова…

— Не всегда. Кроме того, мне пришлось бы принять ислам.

— И что тебя останавливает? Станешь нашим братом, перестанешь быть неверным!

— Я родился «неверным». Все мои предки были православными. Я не считаю себя умнее или лучше их. И колокольный перезвон, и треск восковых свечей, и запах ладана — всё моё, и без этого нет жизни для меня. Самое страшное — предать память отцов. Да и нужен ли тебе такой брат, который мечется и с лёгкостью меняет религию, друзей и Родину? Предав один раз, он предаст и в другой. Я не хочу умирать трусом и предателем. Как ты думаешь, не это ли самое страшное?

Шамиль посмотрел в глаза лейтенанту и вздрогнул. Он что, читает его мысли, этот русский? Много раз Шамиль думал о том же. Самое страшное, что может быть в жизни, — это умереть

предателем и трусом. Он прав — этот совсем ещё юный лейтенант. И он твёрд, как скала, несмотря на молодость. Да по́лно! Человек ли это? Человек должен бояться смерти, а он улыбается. Может быть, это ангел, которого послал ему во искушение русский бог Иса?

Шамиль долго молчал, он думал: вспоминал безоблачную юность, как учился в педагогическом техникуме в Твери, любил русскую девушку Люду, вспомнил родителей, погибших при бомбёжке в первую кампанию, братьев и сестёр, жену и детей, которых война разбросала по городам и весям.

Русский лейтенант разбередил ему сердце.

Шамиль резко поднялся.

— Пойдём, — только и сказал он.

Володя молча последовал за ним. Они шли по тропе среди раскидистых платанов к скале, которая возвышалась на краю леса и уходила кручей высоко вверх.

— Я сам застрелю тебя, — Шамиль шёл первым, — боюсь, что джигиты не выполнят мою просьбу и перережут тебе горло. Слишком уж они злы на вас.

Они подошли к скале. Володя встал впереди, по пальцам его левой руки стекала кровь и тяжёлы-

ми каплями падала на сырую от росы землю. Он расправил плечи, поднял голову и вновь посмотрел в глаза полевому командиру. И вновь дрожь пробежала по телу Шамиля, и он потупил взгляд.

— Отвернись!

— Я не хочу получить пулю в затылок. Стреляй так, — и Володя, взявшись за медный нательный крестик, поднял зелёные глаза вверх, любуясь небом, покрытым тучами, где высоко и свободно, расправив крылья, парил орёл.

Шамиль долго тряс головой, как будто в мозгу засела заноза, затем спрятал «Стечкин» в кобуру и неуверенной походкой, не оглядываясь, двинулся назад в лагерь. Таким полевого командира Шамиля Дадаева не видел никто. Он шёл так, как будто на плечи ему опустили непомерный груз. Может быть, ту скалу, под которой, широко раскинув руки, лежал и смотрел в небо зеленоглазый ангел по имени Володя.

Александр Ралот
Прародитель
(навеяно средневековыми событиями)

Он показал индейцам, как сражаться, научил их строить крепости и бастионы. Таким образом, ведя себя как индеец, он заработал себе отличную репутацию, и они женили его на очень высокопоставленной даме, от которой у него были дети… Он сделал себе татуировку, отрастил волосы и проколол уши, чтобы носить серьги, как принято у индейцев.

Диего де Ланда «Сообщение о делах в Юкатане»

Интересно, много ли современных тинейджеров, или по-нашему, без модных иностранных заимствований, подростков-парубков[1] читали или хотя бы слушали в аудиоформате роман Генри Райдера Хаггарда «Дочь Монтесумы»?

Много лет тому назад я, выпросив на пару дней у знакомой библиотекарши зачитанную до дыр

---

[1] Примечания: 1

Парубок (*укр.*) — юноша, парень.

и потрёпанную до невозможности книгу, стал свидетелем удивительных приключений героя романа Томаса Вингфилда, который уехал на Пиренейский полуостров, чтобы отомстить убийце своей матери, но оказался на другом конце света, где вместе с ацтеками боролся против захватчиков на руинах Теночтитлана. Поклялся в верности девушке по имени Лили, а стал мужем индейской принцессы Отоми, чья великая любовь спасла его от смерти на жертвенном камне.

Вернув роман в положенный срок, я стал размышлять — выдумал ли всё этот автор или у Вингфилда был прототип? Ответа на тот давний вопрос я не знаю до сих пор. Но об удивительной судьбе одного жившего много веков назад европейца я хочу вам поведать.

* * *

Информации, когда родился будущий еврей-супермен по имени Гонсало и по фамилии Герреро, я на просторах всемирной паутины не отыскал, а вот место рождения нашёл — маленький городок Палос-де-ла-Фронтера, затерявшийся где-то на юге Испании. Вездесущая инквизиция крайне предвзято относилась к евреям, даже и обращённым в христианскую веру. Поэтому у юноши был

лишь один вариант в выборе будущей профессии — служба королю, то есть армия.

* * *

К концу второго десятилетия своей жизни он уже прекрасно владел всеми видами холодного (да и огнестрельного тоже) оружия. Был на хорошем счету у командиров (следовательно, обладал надёжной защитой от вездесущих церковных ищеек) и лихо сражался в последних боях реконкисты.

Мадрид. 1492 год. Таверна на окраине города

— Эй, хозяин, дьявол тебя побери, шевелись живее. — Хорошо одетый кабальеро снял с головы шляпу и ловко закинул её на торчащий из стены крючок. — Всем вина! Я угощаю! Пьём за победу! За полное и окончательное изгнание ненавистных мавров. Нет, для начала выпьем за Фердинанда Второго Арагонского и Изабеллу Первую Кастильскую. За нашу большую, непобедимую и единую Испанию!

Час спустя

— Бродяги! — кабальеро сделал жест, призывающий всех, сидевших за столом, придвинуться поближе. — Да поймите же, выпивохи, ваши услуги нашим правителям больше не требуются! Не с кем тут, на полуострове, воевать! Мы всех победили, теперь по домам. Портняжничать, шорничать, пасти овец и разводить быков. Вы хотите выращивать быков? — Нет! — хором ответили два десятка любителей дармовой выпивки.

— Тогда слушайте, — рыцарь перешёл на шёпот, — когда закрывается одна дверь, обязательно открывается другая! Кто-нибудь из вас слышал об итогах экспедиции Колумба?

Посетители таверны пожимали плечами, разводили руками, качая головами.

— То-то же. Он открыл новый путь в Индию. В тамошних землях полным-полно золота, драгоценных камней, ну и темнокожих красоток, конечно, тоже! Я набираю людей в свой отряд. Есть желающие отправиться к чёрту на рога и увидеть земли Нового Света?

1511 год. Америка. Район близ Санто-Доминго

Герреро уже занимался обычным для конкистадоров делом: на испанских кораблях плавал вдоль побережья Америки и грабил аборигенов, набивая трюмы золотом и серебром.

По вечерам, выпив бутылку, другую, третью, мечтал, что скоро вернётся в Испанию, купит приличный дом, женится и наконец сможет жить богато и счастливо, став уважаемым человеком.

* * *

В тот злополучный вечер Гонсало качало из стороны в сторону сильнее обычного, и причина была не в большом количестве алкоголя, а в сильнейшем шторме.

— Ты как хочешь, а я отправляюсь на палубу. Завалюсь в шлюпку и буду там ждать прихода костлявой с косой! — проорал он в ухо сидящему рядом товарищу. — Сдаётся мне, что наш патер Жеронимо де Агилар нагло врёт, утверждая, будто никаких туземных богов не существует, а есть только наш, всемогущий Иисус. Выходит,

что они существуют и сговорились все разом разбить в щепки наш корабль и отправить нас на корм рыбам.

Минуту спустя рухнувшая корабельная мачта крепко ударила его по голове, однако Герреро, превозмогая дикую боль, всё же сумел добрести до спасительной шлюпки, в которой уже находились полтора десятка человек.

* * *

Потопив корабль завоевателей, индейские боги не успокоились. Целых две недели переполненную лодку носило вдоль побережья Юкатана. Кончился запас пресной воды. Люди умирали один за другим. Наконец течение прибило с трудом держащуюся на плаву шаланду к берегу.

Однако беды измученных и изголодавшихся людей на этом не закончились. Их заметили жители страны Чактемаль, осколка некогда могущественной империи майя.

* * *

Участь пленных испанцев была ужасной. Местный правитель Начан-Кан, дабы задобрить богов, велел половину чужеземцев немедленно прине-

сти в жертву, а остальных посадить в клетки для определения их участи.

* * *

Оставшимся в живых повезло, ибо местные потомки майя, в отличие от соседей-ацтеков, человеческими жертвоприношениями не злоупотребляли и через некоторое время потеряли к пришельцам всякий интерес.

* * *

Испанцы организовали побег, но, не зная местности, далеко уйти не смогли.

Вскоре их поймали, избили и попытались использовать в качестве рабов. Не получилось. От постоянного недоедания и тропических болезней отправились в мир иной почти все.

Выжили лишь двое: монах Жеронимо де Агилар и… еврей Гонсало Герреро.

* * *

— Молись! Беспрестанно молись нашему Иисусу, всемогущему и милосердному. Бог тебя непременно услышит и освободит! — наставлял

Жеронимо Гонсало, стоя в углу комнаты и отбивая поклоны.

— Учи язык майя, вникай и перенимай их культуру. Мы с тобой уже не пленники. Нас не держат в клетке, мы можем свободно ходить по селению. Что тебе стоит сделать на лице татуировку, такую, как у меня? Пробей себе перегородку в носу и воткни туда нарядную деревяшку…

— Господи, вразуми неразумного. Он сошёл с ума. Нацепил серьги, отрастил волосы, разговаривает с неверными на их языке. Совсем мозги потерял. — Монах продолжал отбивать поклоны в пустой угол комнаты.

— Если хочешь, оставайся здесь, а я иду вместе с индейцами на озеро. Сегодня день ритуальных омовений вождя Начан-Кана. Хочешь выжить — стань таким, как они, — произнеся это, Гонсало поднялся с пола и покинул хижину.

* * *

То, что случилось на озере, позволило испанскому еврею не только завоевать почёт и уважение местных жителей, но и стать одним из их вожаков.

Когда обсыпанный с ног до головы золотым песком Начан-Кан окунулся в священное озеро,

на него напал аллигатор. Стоящие на берегу люди оцепенели от ужаса. Не растерялся лишь Герреро. В два прыжка он оказался рядом с вождём и голыми руками забил насмерть большую рептилию.

Его поступок был оценён по достоинству. Вечером того же дня было объявлено, что отныне бледнолицый уже не чужак, а их соплеменник и назначается командиром небольшого отряда.

* * *

И Гонсало старался оправдать оказанное ему доверие. Учил своих подчинённых всему тому, что знал сам. Как мог объяснял индейцам, что такое тактика и стратегия, а вокруг столицы, города Чактемаль, были возведены самые настоящие фортификации.

Вскоре над «белым маршалом» совершили обряд бракосочетания. Один из вождей отдал ему в жёны свою дочь, принцессу Зазил-Ха. И в положенный срок у четы родились трое здоровых наследников-метисов.

* * *

Молитвы монаха Жеронимо де Агилара в конце концов были услышаны. Всевышний смилости-

вился над ним и послал ему избавление.

1519 год

Конкистадор Эрнан Кортес начал стремительный поход на земли индейцев. И за два года стал всевластным правителем огромной территории.

Однажды лазутчики донесли ему, что в одном из селений майя совершенно свободно живут два его соплеменника.

Кортес собрал большой отряд и не мешкая лично отправился в Чактемаль.

Завидев издалека закованных в железо испанцев, Жеронимо тут же бросился обнимать их, плача и благодаря Господа за чудесное освобождение из многолетнего плена.

Но все просьбы монаха посадить его на первый корабль, отплывающий в Испанию, остались без внимания. Знаменитый завоеватель приказал оставить де Агилара при себе в качестве переводчика.

По-иному происходила аудиенция с Гонсало Герреро.

Никакой радости от встречи с земляком тот не испытывал.

— Я живу с индейцами уже много лет. Женат

на местной женщине, которая родила мне троих детей. Индейцы называют меня касиком[2], и я командую отрядом, когда идёт война между племенами. У меня, как здесь полагается, сделаны татуировки на лице и проколоты уши.

Только представь, что будут кричать мне вслед испанцы, появись я в таком виде на улице? Поэтому позволь мне и дальше оставаться здесь и остаток моих дней прожить с этим народом.

* * *

Трижды отправлял Кортес своих посланников в дом Герреро. И каждый раз они возвращались ни с чем. Гонсало повторял им всё то, что говорил Эрнану при их личной встрече. Ссылался на свой нынешний внешний вид, на семью, на клятву верности, данную им местному правителю.

В четвёртый раз он вообще отказался встречаться с испанцами. Вместо него из дома вышла Зазил-Ха.

— Зачем этот раб пришёл сюда разговаривать с моим мужем! Уходи и не приставай к нам больше ни с какими словами!

---

[2] Примечания: 2
Ка́сик — вождь.

Семнадцать лет спустя

Конкистадоры, привыкшие к лёгким победам над местными воинами, в землях Чактемаля неожиданно встретили серьёзное и хорошо организованное сопротивление.

Помощники Кортеса Педро де Альварадо и губернатор Панамы Педрариас требовали от подчинённых захватить предателя Гонсало в плен.

И однажды им удалось напасть на его след. Но Герреро, после падения города возглавивший партизанские отряды майя, живым не сдался.

Его прямо в сердце поразил заряд из аркебузы, изготовленный в далёкой, некогда родной Испании.

Наши дни

Современные мексиканцы поставили Гонсало Герреро многочисленные памятники и считают его национальным героем.

Более того, его детей, рождённых от женщины майя, считают первыми мексиканцами — представителями народа смешанного проис-

хождения, в жилах которого в равной степени течёт индейская и… испанская кровь.

Александр Рязанцев
Душной ночью в Душанбе

Тяжело работать по ночам. Мысли путаются, пальцы трясутся, слова выстраиваются в ряд и плавятся. Хочется выпить чашку красного чая или бокал зелёного вина, но лучше — кубок свежего воздуха.

Я вытираю испачканные чернилами руки, небрежно собираю исписанные листы, надеваю плащ и шляпу, выхожу на улицу.

Душанбе меня встречает свободой душной ночи. Несмотря на позднее время, по улицам проезжают маршрутки. Двери открыты, из проёма то и дело выглядывает юный зазывала, машет руками и что-то кричит. Он может выпасть из машины в любую секунду, но парня это не волнует: надо работать, иначе город тебя поглотит.

Желудок неприятно режет, и я вспоминаю, что целый день ничего не ел. Где-то рядом есть кафе «Туран»; мне про него рассказывал очкастый учёный-востоковед с орлиным носом, сидевший рядом со мной в самолёте.

Я поправляю шляпу, засовываю руки в карма-

ны и отправляюсь на поиски.

Кафе нахожу без труда. Это погребок для местных. Спускаюсь по крепкой дубовой лестнице, раздвигаю ладонями кисейные занавески и прохожу в зал, небольшой и уютный.

— Эй, брат! — улыбается юноша-официант.

Я не люблю, когда посторонние называют меня «братом», но в Таджикистане приходится держать себя в руках — это самое уважительное обращение среди местных, вроде «милостивый государь» из уст полового в рязанском трактире.

— Добрый вечер. Столик на одного, пожалуйста.

Официант торопливо оглядывает душное, полное людей помещение, задумчиво проводит пальцем по куцему усу.

— Пачты всё занато, брат… Ест толька одын места у… — он замялся, подыскивая нужное слово.

— Давайте, — я иду вслед за официантом, на ходу расстёгивая пуговицы плаща.

За небольшим столиком сидел почтенного вида старец с длинной белой бородой и умными глазами. В руках он держал небольшую книгу в кроваво-красной обложке. Губы тихо шевелились, глаза привычно пробегали строку за строкой.

Я поздоровался и сел за стол. Официант протянул меню, исписанное непонятными буквами. Хотя одну я узнал — «ё», давно забытую в России.

— У вас есть на русском?

— Дэ, брат! — Официант торопливо повернулся, прошёл мимо старинной глиняной печи и скрылся за дверью.

Я стал рассматривать незнакомые знаки, стараясь разгадать их секрет. Хватило пары секунд, чтобы понять, насколько это бесполезно. — Возьмите самсу. Здесь её хорошо готовят. — Старик уже отложил книгу в сторону и смотрел на меня с любопытством.

Я почувствовал неловкость и, превозмогая природную робость, спросил:

— А что в ней такого? Я как-то ел самсу на улице, и…

Старик улыбнулся, провёл рукой по бороде.

— В Москве вы ели не самсу, уж поверьте…

Я сдержанно улыбнулся.

— Как вы поняли, что я москвич?

Старик налил себе чаю и положил кусочек сахара.

— Это видно по вашим глазам. И по манере одеваться.

Он говорил почти без акцента, точно подбирая

слова, соответствовавшие обстановке и духу времени. Но чем больше я его слушал, тем крепче убеждался: старик был воспитан в далёкую эпоху, и будь его воля, то говорил бы он изысканно и поэтично. Но изысканность и поэзия, в отличие от денег и нахального престижа, в наши дни мало кому нужны.

— Вы правы, я из Москвы. Приехал сюда на одно мероприятие.

— Куда? — старик слегка нахмурился.

— На медиафорум.

Старик нахмурился ещё сильней.

— Позвольте узнать: что это?

— М-м-м… Встреча журналистов из разных стран. Они читают лекции, задают вопросы, берут интервью, пьют пиво, — я развёл руками. — Всякое такое.

— Понятно… Стало быть, вы журналист? — старик отпил из чашки. Он зажал её между большим и средним пальцами, держась ими за специальные выступы, чтобы не обжечься, и время от времени делал по небольшому глотку.

— Да, работаю в газете. Пишу про литературу и кино. Иногда про политику.

— Замечательно… А про поэзию пишете?

— Конечно…

Теперь я улыбался тепло, а не сдержанно. Очень давно не говорил с понимающим человеком о том, что сам искренне любил.

— Не так давно брал интервью у одн… — начал было я, но осёкся. Вернулся официант со слегка потрёпанным листком меню в руке. Протянул было мне, но я вежливо отказался:

— Одну самсу, пожалуйста.

Официант оживился.

— Самсу? Каторый?

Я рассеянно провёл рукой по волосам. Посмотрел на старца.

Тот легонько махнул рукой, и официант сразу перевёл на него взгляд. Они недолго о чём-то побеседовали; юноша, кивнув, удалился. Записывать ничего не стал.

— Я договорился, — успокоил меня старец. — Вас вкусно накормят.

— Спасибо большое… Как вас зовут?

— Омар, — старик слегка смущённо, но благодарно пожал протянутую руку.

Мы неспешно зажурчали о книгах, любви и вине. Омар попросил бутылку красного, и вскоре мы её распили.

— Вы женаты? — Омар пригубил из стакана.

Сердце неприятно укусила тревога-крыса. По-

лилась кровь, и я залил рану глотком вина.

— Нет.

— Отчего так? Вы очень молоды, самое время найти себе добрую жену.

— На веки вечные?

— Можно и так.

— А можно и на вечер… — я устало улыбнулся. Вино, выпитое на пустой желудок, вызывает болтливость.

Я подлил старику, а затем снова наполнил свой стакан.

— Сложно с жёнами, Омар, сложно. Вроде знаешь женщину, один день или много лет, сблизишься — и окажется, что она совсем не та, какой тебе представлялась. Вы проводите прекрасный вечер, целуетесь в подземных переходах, что-то друг другу обещаете — а потом дверь между вами закрывается, и ты идёшь по осенней листве, ещё на что-то надеясь. Пару дней переживаешь, а затем с привычной грустью понимаешь — ты нужен не потому, что ты есть, а потому, что можешь что-то дать: время, деньги, силы, надежды…

Омар слушал меня, поглаживая бороду. В его умных глазах таилось тепло.

— Задумчивая душа склоняется к одиночеству, — мягко проговорил старик.

Я вздохнул, но для видимости. На душе стало полегче.

— Как вам вино? — Омар сделал глоток.

— М-м-м… Хорошее, спасибо. Это местное?

Старик кивнул.

— Наслаждайтесь. Вы съели слишком много горькой прозы жизни, а потому можете насладиться её поэзией.

Раздался звон, прозвучал застольный тост, и красные капли зашипели на моей старой, гноящейся ране.

— Слишком часто я стал так утешаться…

— Лучше утешиться сейчас, когда есть кувшин с вином, чем потом, когда прямо перед носом захлопнется дверь.

Кругляши на кисейных занавесках мягко ударялись друг о друга. Приходили новые гости. Я пил вино и наблюдал за людьми. Чаще всего они приходили вдвоём, иногда в компании; почти все — бородатые. Мужчины садились за стол, делали заказ у знакомых официанток, доставали сигареты. Погребок медленно наполнялся дымом.

— А что, здесь можно курить? — спросил я Омара.

Он торжественно кивнул головой.

— А почему?

— Таков закон. На улицах нельзя пить и курить, зато в кафе и ресторанах — сколько хочешь.

Я на секунду задумался, затем понимающе покивал.

— Понятно, в чьих интересах такой закон…

Омар слегка улыбнулся.

— Мёд можно добыть даже из горьких трав.

Мы чокнулись и выпили.

Неподалёку раздался юношеский смех. Я слегка развернулся и увидел группу ребят, занявших небольшой проём в глубине погребка. Они радовались запоздалому гостю, который, разувшись, поднялся по трём ступенькам, отдёрнул занавеску и, поджав колени, занял свободное место.

— Ваш самса, брат. — Официант поставил передо мной большой глиняный горшок, из которого пахло мясом и специями.

— Это… что такое?

— Самса, брат.

Я потрогал горшок. Он был горячим. Внутри плескался густой бульон, насыщенный специями, и плавали кусочки мяса. На стенках горшка запеклась хрустящая хлебная корочка.

— Это едят руками?

— Да, брат.

Омар слегка пошевелил пальцами, и официант

поставил на стол ещё одну, заранее принесённую бутылку красного вина.

— Иштихои том!

Я удивлённо взглянул на юношу, потом на Омара.

— Приятного аппетита, — перевёл старик.

Официант удалился. Я оценивающе взглянул на горшок, потом на Омара.

— Угощайтесь.

Омар слегка поклонился, торжественно сказал что-то по-таджикски (я расслышал только «рахмонир рахиим») и отломил кусочек хлеба.

— Нужно окунуть его в бульон, взять столько мяса, сколько нужно, и поднести ко рту.

Я послушно всё сделал. Аккуратно, боясь разбить горшочек, отломил кусок хлеба и макнул его в жидкость. Потом осторожно поднёс ко рту и проглотил. Бульон был горячим, но мягким; ароматная много-вкусица приятно согрела язык, щёки и нёба. Специй была тьма, но они не били меня горячим утюгом, а ласково грели душу.

— Вкусно? Как вам? — Омар прожевал кусок и теперь смотрел на меня.

— Очень необычно… Столько вкусов…

— Так и есть, в нашей кухне целое войско вкусов, тогда как в итальянской или испанской

— только один военачальник.

— Вы знаете европейские блюда? — я отёр губы синей салфеткой.

— Да, доводилось пробовать. У нас тут есть европейские чайханы, очень недешёвые.

Из проёма раздался хлопок вылетающей пробки и радостный смех. «Вино не только друг, вино — мудрец…» — вспомнились когда-то читанные строки.

Я съел ещё кусочек самсы и запил его красным. Голова приятно закружилась.

Когда мы закончили трапезу и расплачивались (после долгих споров я позволил Омару заплатить за вино, но расходы на самсу взял на себя), мой собеседник спокойно предложил:

— Хотите, покажу вам город? Вы такой Душанбе ещё не видели.

Звучало подозрительно, но я согласился. Омар надел старую чёрную куртку, я — шляпу и плащ, мы выбрались из погребка и побрели по тёмным улочкам Душанбе.

Мимо прошёл выпивший мужчина. Увидев мою шляпу, остановился, развёл руками и подозвал к себе трясущимися пальцами.

— Хэ, русски, как Масква?

Я хотел было остановиться, но внезапно по-

мрачневший Омар не дал мне это сделать. Он пошёл быстрее, и я последовал за ним.

— Хэ дэвона чи джавоб намэти?! — раздалось позади. Похоже, мужчина ругался.

Омар остановился. Обернулся, подошёл к гуляке, схватил его за поднятую было руку и что-то яростно заговорил громким шёпотом.

Гуляка остыл. Вырвал руку из ловких пальцев Омара и, бросив что-то напоследок, скрылся в ночи.

— Прошу прощения, — старик вернулся. — Душанбе — большой город, царство секретов.

— Ничего страшного… — я ещё не совсем пришёл в себя. Застыл где-то между страхом и гневом, не успев отведать ни того, ни другого.

Город впервые ударил меня контрастом, где между безмятежным удовольствием и подавленной яростью расстояние — шаг.

— Мы почти пришли, — Омар кивнул в сторону огромной башни песочного цвета.

Мы подошли поближе. Свет от фонаря падал на небольшую позолоченную табличку у входа. Прищурившись, я с удивлением разглядел знакомые русские буквы. Это было государственное учреждение.

К нам подошли охранники, на ломаном русском

предлагавшие подняться на крышу — за плату. Узнав Омара, поскучнели. Не говоря ни слова, мы прошли мимо них, миновали дверь-вертушку и поднялись на лифте на пятнадцатый этаж.

Вышли на балкон. На меня уставилась тысяча ярких глаз ночи. Я смотрел на красные и жёлтые огоньки, собравшиеся под моими ногами, и боялся, что нечаянно их раздавлю.

— Что вы видите?

Я задумался о своих страхах, сомнениях и надеждах, но не стал говорить о них вслух.

Омар довольно кивнул и провёл пальцами по бороде.

— Город вам кого-то напоминает?

— Да.

— Кого?

— Одну девушку. Аню. Мы когда-то дружили, потом не виделись пять лет, а одним странным утром случайно встретились на улице — для того, чтобы провести ночь вместе. Когда я с ней прощался и спускался по лестнице, то понимал, что в следующий раз увижу её завтра или ещё через пять лет, а может быть — никогда.

Я взглянул на Омара. Он слушал меня, но смотрел то на звёзды, то в яркие глаза города.

— В итоге я всё понял. У неё вышла размолвка с

женихом, а я стал маслом, смазавшим их отношения. Ей нужно было забыться. Теперь она чья-то жена. Не моя.

Омар молчал.

— Уже поздновато, — я взглянул на часы. — Не хочется вас смущать. Будем прощаться.

Омар пожал протянутую руку.

— Вас проводить до гостиницы?

— Нет, спасибо, сам доберусь. Скажите лучше, как вы смогли меня сюда провести?

— Я здесь работаю, — улыбнулся Омар. — Охранником. Стою здесь по ночам, слежу за городом. А днём пишу рубаи.

— Вы… Тот самый?..

Омар слегка кивнул.

— И… почему вы охранник? Почему не живёте во дворце? Вас читает весь мир, вы…

— Времена нынче тяжёлые, — вздохнул Омар Хайям. — Люди читают меньше. С каждым годом моя борода становится всё белей и белей… Но я не боюсь. Я достаточно пожил и грущу лишь оттого, что написал не так много, как мог бы.

Я молчал. Это было одно из редких мгновений, когда я, журналист, взявший сотни интервью, не знал, что сказать.

— Здесь хорошо, сюда не добирается духота

города. На улицах очень, очень душно. Здесь же я чувствую свежесть и свободу.

Возвращаясь к лифту, я обернулся и взглянул на Омара Хайяма. Тот стоял у бортика, ведущего в бездну, и смотрел на небо. Старое, крепкое тело обдувал ночной ветер.

Вернувшись в свой номер, я снял шляпу и плащ, сел в кресло и достал ноутбук. Надо было написать о внезапной встрече с Омаром Хайямом, пока впечатления не выветрились, словно винные пары. Я начал щёлкать по клавишам, останавливался, перечитывая написанное, всё стирал и начинал заново. В окно на меня смотрела ночь — тысяча глаз внимательно следила за каждым моим движением, каждым щелчком клавиши и мыслью. Было сложно не обращать на неё внимания.

После пятой попытки написать статью я сдался. Поднялся, нервно заходил по комнате, потом как был, в одежде, лёг в постель. Достал из кармана смартфон. Он казался каким-то нелепым в эту душную ночь в далёком восточном городе.

Нашёл знакомый номер. Анин. Твой номер, милая.

Долго смотрел на него. Слушал голос, который месяцами запрещал себе вспоминать. Её смех,

после которого хотелось сделать что-то хорошее — например, подарить цветы или написать материал. Её слова, которые она шептала в полусне, лёжа рядом на смятой простыни. Слова, которые я не слышал только когда делал глоток красного вина.

Было поздно. Неприлично поздно. Но я нажал пальцем на экран, прислонил смартфон к уху и стал слушать гудки.

Первый. Второй. Третий. Четвёртый…

— Да? — одного её слова было достаточно, чтобы я заговорил.

— Здравствуй, Аня.

— Это… Ты, что ли?

— Да. Я знаю, ты спишь. Я твой сон.

Она молчала. Я слушал её дыхание.

— Я скучаю, Ань. И не могу без тебя. Да, я понимаю, что ты замужем и любишь того, кого выбрала. Просто знай — я помню о тебе. И никак не могу забыть.

Она продолжала молчать. Дыхание в трубке усилилось.

— И понимаешь, я… Я спать не могу. Просто не могу. Мне душно, мысли путаются. Приходится писать. От руки, на ноутбуке, как угодно. Говорить. Днём и ночью. Ночью и днём.

Я перестал говорить. Мы оба молчали.

— Я не замужем, — глухо сказала Аня.

Моё сердце сжалось.

— Что?

— Я не замужем. Мы расстались. Почти сразу после нашей с тобой встречи.

— П-почему?

Аня вздохнула.

— Потому что я думаю о тебе. Каждую ночь. И не могу спать. Совсем как ты.

Мы недолго помолчали. Думали. Вспоминали.

— Я возвращаюсь завтра. Вернее, уже сегодня вечером. Приехать к тебе?

Снова молчание. Снова воспоминание. Снова эта духота, из-за которой я не могу спать.

— Приезжай, — так же глухо сказала Аня. Но в её словах я услышал едва скрытое, само себе не верящее счастье.

— Я приеду, — голос дрожал, и из глаз лились слёзы, но я улыбался.

— Приеду, Ань. Уже скоро.

— Я жду тебя, — Аня говорила тихо, но уже теплее. — Я хорошо помню нашу ночь. Мы были рядом, и нам хорошо спалось. Я помню тот сон — за окном снег, а рядом ты, тёплый, усталый. И в шляпе. Ты в ней как будто из прошлого века.

Я вздыхаю. Руки трясутся. Хочется выпить, но не вина, а воды.

— Мы скоро встретимся. Я очень по тебе скучаю.

— И я. Жду тебя.

Поговорили. Я молча сижу на кровати. Слёзы льются из глаз. И я улыбаюсь. Потом встаю, подхожу к окну и смотрю на высокую башню. На её самый-самый верх. Там мой друг, Омар Хайям. Я его не вижу, но знаю — он тут. Смотрит, дышит, размышляет. Пишет.

Я долго смотрю в окно. Спать не хочется; я жду встречи с Аней. Она произойдёт совсем скоро. Осталось недолго.

Сам не замечаю, как наступает рассвет. Мрак уходит, и просыпающееся солнце радует глаз. Я смотрю на часы и понимаю, что так поздно, что уже рано. Раздеваюсь и принимаю душ.

После, снова взяв телефон, звоню главному редактору. Хочу всё ему рассказать. Об этой ночи, об этой встрече, о двух разговорах, вернувших мне жизнь и сон. Об Ане — я жду её. Я жду, когда снова смогу заснуть.

Раздаётся слабый писк, и я слышу голос редактора.

— Да, слушаю!

— Здравствуйте, Александр Сергеевич…

Надежда Середина

Продолжение. Начало в № 5–6.

Двадцать лет спустя
Роман в трёх частях
15. В салоне обсуждение

Когда Мария вернулась, салон Киры всё ещё гудел, как потревоженный улей, все говорили наперебой, стараясь перекричать телевизор.

— Они хотят подавить центр головного мозга, который отвечает за стыд, наркозом, как убивают боль, — говорил полковник, состязаясь с телеведущим. — У человека, у которого нет стыда, нет и Родины.

— Полковник, скажите, — говорил Славецкий предельно спокойно, как человек, очень тонко воспринимающий всё, — что труднее для лётчика: взлетать или садиться?

Полковник посмотрел на него, словно его перебили ненужным вопросом.

— Подходить к самолёту! — отмахнулся он, не понимая, то ли всерьёз задан вопрос, то ли в

шутку. Но увидел, с каким интересом слушает его Оля, и успокоился. — Ощущение тяжёлое, когда к самолёту подходишь, перед этим, в этот момент — все страхи. А двигатель запустил — и сердце уже в полёте. Самое страшное — когда в постель ложишься. Страшно, что могло бы быть. И засыпаешь под страх. В небе — работа! Самолёт — площадка, кабинет.

Всё время, пока полковник говорил, на него внимательно смотрел человек, которого Оле не представили, словно сегодня поменялись все правила этикета. Кира больше была занята не гостями, а сама собой, своими мыслями. Оля удивилась атмосфере, которая царила в комнате. Казалось, только этот незнакомый человек изо всех сил продолжает оставаться самим собой. С чего Оле такое пришло в голову, ведь она его совсем не знала? На лице его отражалось столько переживаний, что это вызвало не жалость, а уважение. Видно было, как он напряжённо сражается с чем-то в себе. То вздрагивало веко, то вокруг губ резко обозначались глубокие складки, и всё лицо сжималось от непосильной внутренней борьбы.

— Мы — лётчики — особые люди, — продолжал полковник, переходя на излюбленную само-

лётную тему. — Мы мужественные люди, и мы скажем своё слово. Пришло наше время. Я не считаю себя жестоким, но сейчас могу взять винтовку. И, если будет приказ, я знаю, в кого стрелять! Я видел, как мои друзья-лётчики гибли, и не плакал, когда они горели живыми. — Это вы называете мужеством? — Славецкий сидел в мягком кресле и говорил медленно, вяло, словно нехотя. Когда он бывал в таком состоянии, бывшая жена вообще не контактировала с ним. Она знала: ему надо отключаться. Она отмалчивалась на его резкости. Он не любил начальствующих, которые чуть что, брали под козырёк.

— Да, я тоже считаю, что честный человек сейчас не должен отсиживаться, — поддержал полковника Илья. — И я готов драться. Но только не вижу, с кем…

— А что делаете вы? — напирал на Славецкого полковник.

— Я включаю свет, — тот щёлкнул кнопкой торшера.

— Вот оттого, что вы ничего не делаете, всё и рушится. Вы, вы будете в этом виноваты, интеллигенция, потерявшая потенцию. Как говорила одна моя знакомая, швырковая интеллигенция! — Полковник встал.

— А что, я должен возводить баррикады или призывать к этому?

— Ваше поколение интеллигентов всё время только этим и занималось, а как до дела дошло — вы в мягкий уголок, под торшер, — полковник потряс светильником.

— Вы потеряли грань между жестокостью и силой, а виноватых ищете вокруг? — Славецкий насмешливо посмотрел на полковника.

— Если бы мы потеряли эту грань, то за два часа всю Москву кровью бы залили. Я военный человек. Коленом придавлю — и пискнуть не успеешь. Мне говорят, я жестокий человек. Да, я жестокий, когда вижу, что передо мной враг. Меня так учили, уж простите, — посмотрел полковник на старого, измученного ранением друга.

— Как же заповедь? — Славецкий свободно опустил плечи, наслаждаясь одному ему ведомым чувством уверенности. — Или это серебряные литавры гордости?

— Море крови затопило бы всё, если бы не церковь.

— Не на страхе, а на любви жизнь держится, — тихо произнёс Илья.

— Меньше? По каким таким улицам прогуливались вы сегодня, что вам так кажется, уважаемый

профессиональный писатель? Я слышал, вы пописываете? Не видели толпы разъярённых молодчиков, которых сдержали? Дай им сегодня свободу, всё залили бы кровью! Вас коробят мои слова, уважаемый литератор во втором поколении?

— Я думаю, если бы человек привык к свободе, насилия было бы меньше, — тихо, но с особой ясностью в голосе произнёс Илья. — Не статьи Уголовного кодекса сдерживают человека, а что-то иное. Тех, кого не может удержать это его внутреннее, не сдержат и законы. А страх только провоцирует!

— Вот вы как думаете? Глубокомысленно. Ты хоть в армии был?

— Папа, — остановила полковника Кира, — ведь ты тоже писал стихи! Я знаю, мама показывала. И получалось, поверь мне, не хуже многих. Я знаю сегодняшних поэтов.

— Да, но я никогда не позволял себе заниматься только этим. Жизнь заставляла делать более важные дела, молодой человек. И спасибо людоеду редактору, который предостерёг меня от стихотворной графомании. А то бы я так и бегал и кричал во всех углах библиотек, что пишу как Пушкин. Вот и ты, малыш, сейчас на этой

стадии.

— Мне двадцать четыре года, полковник.

— Тем более смешно так рассуждать. Возлюби ближнего своего как самого себя? Если ударили по правой щеке, подставь левую? Вот и бьют, и ещё под зад.

— Борис Константинович, — вмешался Вадим Николаевич, сидящий с девочками, — а вам не было страшно сегодня?

Полковник понимал, что за разговором следят. Он встал, коренастый, по-военному стройный, действительно двойник Гагарина. Напряжённо прошёлся по комнате и решительно остановился, словно перед входом в самолёт.

— Я присягал Родине и советскому народу и буду верен клятве до конца. Не зря мы не погибли в Афганистане, не зря почти всю жизнь отдали военному делу!

— Не сотвори себе кумира. — Иван, не глядя ни на кого, прошёл к окну. — Человек устал воевать.

Вадим вышел и отправился домой.

* * *

Вадим Николаевич долго мыл пол в тот вечер, тщательно, руками собирая то, что не получалось

подхватить тряпкой. Им овладело суетливое желание навести порядок. Он вычищал пыль и сор любовно, как матрос драит палубу.

Вадим Николаевич считал, что умеет говорить себе правду. Он опять пребывал в промежуточном состоянии, хотя сознание оставалось ясным. И всё возвращалась среди наплывающих мыслей одна: будто бы кончилось всё радостное, что могло быть. Но радости и так случалось мало, а какая посещала, та была эфемерная — от надежд, от обилия красок в калейдоскопе мечты, от конкретности преград и реальности их преодоления. Преграды эти (жизненная неустроенность) были внешнего свойства. Они требовали терпения, ловкости. Теперь вот осталось только внутреннее, зависящее от него самого.

Эту потребность в сочувствии Вадим угадывал в себе, осознавал, но трактовал, понимал как доброжелательность или недоброжелательность людей к человеку вообще. Он не мог ни заглушить эту боль, ни понять, что это лишь детская рана, ставшая взрослой болью.

«Теперь же всё только внутри меня, — казнил Вадим себя, словно из пытки можно извлечь деятельную энергию. — Только от меня зависящее». Многое из того, что ранее виделось

приманчивым, обнадёживающим, авторитетным, оказалось пройдено и преодолено.

Теперь он остался наедине со своими чувствами и мыслями, которые даже и не перескажешь: некому.

И ещё пустыннее стало одиночество.

Надвигались три долгих тёмных месяца, когда день сожмётся, а темнота, выплёскиваясь за берега утра и вечера, превратится в долгую холодную скуку. Надо привыкать к холоду. А ещё не топят. «И ухожу я в зиму с открывшейся вдруг неожиданно язвой и больными внутренностями. Преодоление всего этого требует диеты, тепла и положительных эмоций. А я один, и никому нет до меня дела».

Странно. Голова уже седая, нутро больное, а на дне души ещё копошатся какие-то надежды, что-то светлое, и милое, и целомудренное.

Откуда у него привычка постоянно оценивать свои чувства и мысли, да ещё так придирчиво и жестоко? Когда поселился в нём этот двойник с хваткой чекиста? Почему это стало главной работой, которая никогда не приостанавливается? Эта вечная изнуряющая слежка за собой, в одиночестве никем и ничем не стесняемая, не перебиваемая, постоянная жёсткая узда — может

быть, самое трудное испытание, которое только дано человеку. Измученный самим собой, Вадим расслаивался, растил и питал в себе беспощадного, всё знающего и не щадящего ничего двойника. Теперь он отчётливо видел, что есть жизнь: журналистика — это командировки, беседы — это отдых от главной работы, которая всегда происходит внутри. В нём шло единоборство: внутренний ли человек будет питать его душу или живой, непредсказуемый, тайно ожидающий естественно возникшее юное женское существо.

И наступил момент, когда Вадим стал готов, чтобы в его судьбу ворвался живой, радостный женский смех. А внутренний человек напрягся, вслушался и выдвинул заслон: «Сейчас эмоции могут быть губительны для меня». Чего хотел этот внутренний тайный человек? Власти? Денег? Славы? Что он почитал за счастье?

«Кто я? Что я? Зачем? Что мне нужно?» Ещё месяц назад Вадим знал, что мыслитель. В нём шёл постоянный анализ и синтез всего прошлого и настоящего, пережитого, наблюдаемого, как он сам о себе понимал. Он заставлял рождаться литературные образы, коллизии, сюжеты, требовал от себя их художественного оформления. Перед ним стояла пишущая машинка, лежали грудами кни-

ги, ворохом газеты. Но не газетные статейки были его тайной болью и мечтой. «Думать, мыслить, искать мыслям художественное воплощение — таково свойство моего мозга, моей психики. Думать, мыслить — это моя работа», — внушал он себе, усаживаясь за немецкую пишущую машинку. И стучал по клавиатуре каждый день.

Вадим давно привык рассматривать жизнь как конкретный фактический материал для наблюдений или переживаний прошлого или настоящего, а живые чувства женщин отвергал. Берёг себя для общества как необходимость, чтобы люди осознали себя, свои пороки и достоинства, своё прошлое и настоящее — и предвидели будущее.

Из всех известных ему людей Вадим мог только об одном человеке определённо сказать, что он создан для того же и занимается тем же. «Слава богу, что есть люди, которые что-то делают в искусстве и на которых в первом приближении можно равняться», — радовался он и потому строил с ним дружеские отношения.

Раздался стук женских каблучков за окном. Они приблизились, торопливые и отчётливые, и стали отдаляться. Вадим Николаевич вспомнил, как заходил тот человек в прошлые годы, а он сам, деликатно извиняясь, шептал: «У меня Кира».

Он — Славецкий — пятился назад от счастливого друга, объясняя, что заглянул на секунду и очень спешит. Бывшая жена Славецкого в его «кубрик» заглядывала редко, пыталась установить свои порядки — но он это пресёк. Жена Славецкого была неглупой, как-то она высказалась, что ему трудно понять себя, поэтому он думает, что всегда прав. И однажды в сердцах сказала: «Ну ладно, не можешь заработать деньги на ребёнка, так хоть помолчи». Она была сильно обижена.

«Ты не включала. Зачем выключила чайник!» — орал он на неё. Это было за гранью терпения. И они разошлись. Жить и писать — это возможно? Правда, он пока написал только одну статью, но это оттого, что всё вокруг мешает и не позволяет сосредоточиться.

Счастье друга Славецкий расценивал тоже как временное и не хотел сокращать его продолжительность своим присутствием. В глазах друга он ясно видел состояние «интеллектуальный ноль». Он разделил жизнь на природную и разумную и считал, что каждый имеет право на маленькое животное счастье, как на каникулы в школе. Он махнул рукой, повернулся спиной к виновато упрашивающему остаться Вадиму Николаевичу. Медленно спускаясь по ступенькам второго эта-

жа, думал, что надо прийти в другой раз, когда у друга пройдёт отвращение к мышлению и состояние, когда хочется не думать, а жить. Но даже в интеллектуальном отпуске Вадим Николаевич Греков не забывал о компасе жизни.

Главное — литературная работа. В молодости Вадим писал стихи, память у него была натренированная, репетиторская, и он, много заучивая наизусть, и сочинял похожее на то, что помнил. Потом, поняв это из общения с поэтами и поэзией, перешёл на прозу. Предложил два рассказа в журнал, но, получив отказ, взялся за критику. Здесь Вадим почувствовал, что его задатки эрудита помогут сыграть роль, к которой он себя готовил. Он понял, что самое удобное место в литературе — быть критиком. Здесь можно проявить учёность перед лицом трепещущего автора и перед очами всегда уверенной в себе публики. О Кире он не то чтобы всерьёз думать не хотел, а как-то надобности не было. Замуж она вроде не просилась. А деловые отношения с женщиной, пусть даже семейные, лишают мужчину свободы в любви — вывел Вадим из опыта первого супружества. И поставил женскую фотографию на письменный станок, сделанный по собственному проекту, чтобы можно было работать стоя, как Гоголь. Кира в

пушистой лисьей шапке и в такой же рыжеватой шубке теперь украшала его одинокий быт.

Чем больше Вадима тянуло к Кире, тем жёстче он давал указания своему «я». Вот он уже в панической уверенности, что пришло его время. Он совершенно чётко мог теперь себе ответить на вопрос «Кто я?».

Тень друга стала посещать реже.

Вадим Николаевич начал отдаляться от друга, увлекаться женским, бытовым. Он стал ощущать, осознавать необходимость собственного движения даже в бытовых мелочах. И всё, что теперь он видел у себя, особенно подмечал. Многое напоминало детство, раннее, послевоенное. Эти юные годы у каждого вызывают умиление в душе. Но теперь он уже чувствовал ностальгию, когда ложился спать на рваные простыни. Он смотрел на фотографию на станке, а фотография смотрела на него. Рыжая лиса Кира.

— Выходи за меня замуж, — нечаянно сделал он предложение. И испугался. В нём шевельнулась жалость к себе. Он стал бы тосковать по своему страдальческому одиночеству. Сейчас Вадим свыкся и знал, как ему жить, чтобы соответствовать высоким внутренним требованиям. А что потом?

Она, смеясь, скомкала полосы рваных простыней и расстелила свою, шелковистую.

— Нет, — она была рядом. — Зачем? — и запрокидывала руки, ей, мол, хорошо.

А Вадим наблюдал и не мог понять, что тянет его к ней. Ему всё больше казалось, что он стоит перед настоящей любовью. В тайном восторге скрывался страх как перед стихийным бедствием. Это внутреннее предощущение любви уже зарождалось. Однако томление, рождённое неопределённостью, мешало, рассеивало глубокую сосредоточенность. В порыве смятения он спрашивал себя: «Что я?», словно проводил в душе партбюро, где выступал и с докладом, и с отчётом, и с критикой. Когда-то Вадим тщательно изучал биографию Ленина, много бессонных ночей посвятил его работам, верил в его слово. И вдруг незаметно, неизвестно откуда повеяло предчувствием, словно приближением беды.

Любовь? Он пророчествовал: «Я — мыслитель в области общечеловеческого. Я не могу не мыслить». И в этой неравной борьбе с самим собой убрал фотографию Киры, засунул её в секретер между книг. «Я, кажется, понял причину гибели, — поставил вместо женской фотографии портрет Гоголя. Отодвинул книги с нижней

полочки, извлёк бутылочку с чёрным донышком. — Может, ты пошёл длинным, обходным, окольным путём там, где художник угадывает сразу и верно. — Плеснул в большой гранёный стакан. — Ты перестал доверять в себе художнику и решил подойти к творчеству по-другому. — Обжёг губы и горло первачком крепким, как морозец. — Ты подошёл к материалу для творчества сначала умозрительно, — глотнул машинально, — от фактов, знаний и концепций!» — резко отставил стакан в сторону, подошёл к полке. Прямоугольное зеркало, довольно старое, ему лет двадцать, — зеркало молодости. «Ты должен наконец перестать откладывать начало! Что? Но я обязан сначала покончить со своими литературными обязанностями, которые гарантируют минимум обеспечения. Ты должен, обязан перед всей своей прошлой жизнью непременно исполнить данное тебе! Сегодня я очень душевно болен, — смотрел он на свой зеркальный портрет работы великого мастера — природы, — делать ничего не в состоянии, — от этой жалобы тоска и слёзы. — Гнетущее состояние. Будто мозг устал и чувства притупились. — Это всё-таки чудо, что ты ещё жив… Хотя остро не хватает элементарного людского участия. Был единственный Он. Нет

его, — Вадим Николаевич посмотрел на дверь, даже попробовал толкнуть. — Заперта! Даже нет женщины… Были когда-то. Сам от них ушёл… А ты? Обрубил связи с живой жизнью и сам же возроптал, что не знаешь и не понимаешь Россию. Что молчишь? Что? Молчишь?!»

Вадим Николаевич опять взял бутылочку, перевернул — чёрное донышко, как амальгама.

Всё! Он встал, качнулся к письменной стойке-кафедре.

«Я верю, что важнее — интуиция, чутьё, наитие. Оно вернее. Всё, что на уровне плоского “здравого смысла” — чушь, плоскостопие, плоскочувствование, дребедень», — взял «Письма Гоголя» и, найдя между страничек свою Киру, вновь поставил её на письменный станок, за которым чувствовал себя Гоголем.

Вадим Николаевич попытался заснуть, на него шли холодные, как ветер из окна, мысли. Любой хочет, чтобы только его любили, и не хочет сам никого любить. В этом главный порок нашего времени. «Не понимают люди, — сжимался он под подрубленным по краям актированным общежитейским одеялом, — что сами себя этим обедняют, чувства свои оскопляют. Люди! — встал, закрыл створку окна. — Как я душевно

болен. Пустяковую рецензию не мог сегодня написать. Нет! Нужна служба. Любая работа среди людей — это спасение от безумия, которое может наступить от постоянного умственного напряжения, не прерываемого ничем и никем».

Он подошёл к стене, привычно щёлкнул выключатель — зажёгся верхний свет. Глянул на фотографии, пока было темно, он о них не помнил.

В сердце самого последнего преступника живёт образ идеальной женщины, как луч, который может осветить жизнь. Крах наступает, когда этот образ заслоняется развешанными на верёвках трусами.

Вадим Николаевич, рассмеявшись, открыл дверь, пошёл под душ. После холодной воды пустил горячую. Затем ополоснул волосы настоем ромашки, чтобы придать им мягкость и блеск. Кожу лица и рук смазал жидким кремом «Бархатный».

Рядом с адресом Киры Вадим Николаевич хотел записать свою мысль, но что-то удержало его. Это непонятное и не проявленное никем и стало его беспокоить. Нечаянно возникла мысль о ней, и эта женщина начала притягивать его и удерживать внимание. Она даже стала мешать

его гордому угрюмому одиночеству. Это была не игра с воображаемой любовью, а чувство, не обуздываемое мыслью и воображением. Что была любовь? И знал ли он её раньше? Говорят, первая женщина у мужчины похожа на мать. «Конечно, — защищался от пробуждающегося чувства Греков, — это в плане нравственном, духовном. Но если сын лишён материнской любви?» Он помнит мать, которая бросила его ребёнком… Отец выкорчевал из него остатки привязанности, гасил даже смутную надежду на любовь к матери. Вспоминается, как мать везёт его на поезде, как ведёт по незнакомым улицам. Вот они входят в школу… И мать уходит. В кабинет директора заходит незнакомый мужчина. Директор говорит, что это его отец… Он помнит… Потом стал верить, что мать, его родная мать, хочет выкрасть его, чтобы убить. Как убить, он себе не представлял, но очень боялся. Главное, что он верил отцу. Было страшно и больно. И боль осталась.

Теперь каждая женщина, которая прикасалась к нему, невольно пробуждала память этой боли. И любовь была замешена на страданиях души, как на капельках росы. Мечталось встретиться с женщиной-сиделкой, чтобы она, пусть хотя бы из милосердия, уврачевала, успокоила. Ему

надо было почувствовать в любви утешение, материнскую жалость. Но в снах она являлась насмешливой. «Мне патологически не хватает красоты, — с тоской по наслаждениям признавался себе Вадим. — Хочется цветов, музыки, счастливых лиц. Я дохожу до жуткого отупения от этих рыл в автобусах и трамваях. Иногда мне кажется, что я заболел, и потому всё мне видится в таком неприглядном виде». Но сквозь мрачную пелену, завесу он вдруг увидел её облик, услышал её смех.

16. Слова, слова, слова

Кира гордилась тем, что у неё всегда много по-своему чудаковатых, но оригинальных, интересных гостей. Она не сравнивала свой салон с салоном Анны Павловны Шерер лишь потому, что время было другое. Особенный вес их собранию придавал Иван Петрович Корнев. Кира его часто приглашала. Она хоть и провела бóльшую часть жизни в Петербурге, теперь жила в древнем граде Москве. А это город, где в круг элитной интеллигенции попасть непросто. Она была на кругу, как говорил Славецкий и делал едва уловимые движения угольными бровями.

— Человек рядом со мной испытывает эйфорию, — смеялась после шампанского Кира. Быть может, она была не так далека от истины, по крайней мере, с точки зрения Вадима Николаевича. — Перенаправляет поток внутренней энергии, как оперные певцы. Наугад, инстинктивно.

Торжественно держа перед собой добытую на улице листовку, Зубр ждал, когда её можно будет огласить.

— К гражданам России! — наконец торжественно произнёс Зубр и почувствовал, что выбрал момент правильно. — В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранён от власти законно избранный президент страны.

Пригибаясь, вошёл Славецкий. Куртка потёртая, как у бомжа, а под ней костюмчик чуть ли не из Парижа.

— Вот и триумвират. — Кира стояла как бы на одной ноге, расслабленно, на лице играла насмешливая непринуждённость.

— Стало быть, я пожаловал в Рим? — Славецкий слегка склонился, чтобы поцеловать её в щёчку. — А кто же эти ещё два государственных деятеля?

— Один наш общий знакомый — наш маленький римлянин. Другой — грек.

— А кто же я? — слегка усмехнулся Иван Петрович.

— Проходите.

— Какими бы причинами ни оправдывалось это отстранение, мы имеем дело с правым, реакционным, антиконституционным переворотом, — Зубр сделал паузу для нового гостя, поднялся и словно застыл. И вдруг заметил, что Иван Петрович повёл плечом, словно ему было неудобно сидеть, и, побоявшись, что дочитать листовку не удастся, скороговоркой застрочил дальше. — При всех трудностях, переживаемых народом, демократический процесс в стране приобретает размах необратимый. Народы России становятся хозяевами.

— Страх. Террор. Слёзы преступности власти, — тихо, нараспев, словно стихи, прочитал Славецкий.

Оля вскочила, словно кто-то её позвал. Вышла.

— Идёт реставрация капитализма! — пророкотал полковник мощным голосом. — Разбазаривается, а народ нищает. Теперь транснациональные монополии получат за бесценок сырьё, расчленят и ограбят нас. Геноцид. По конвенции ООН они подлежат суду.

— Страх учит людей говорить одно, думать

другое, делать третье, — усмехнулся Славецкий сжатыми, напряжёнными губами.

— Страх ничему не может учить, господа, — Илья называл всех господами, дабы скрыть этим словом разницу в возрасте, на которую так любили указывать полковник и Зубр. — Страх только парализует… — Если человек говорит то, что думает, думает ли он? — Славецкий то ли сочинял афоризмы на ходу, то ли вспоминал, трудно было понять.

Иван Петрович поднял бровь и задумчиво смотрел на полковника и Славецкого.

— Существенно ограничены бесконтрольные права неконституционных органов, включая партийные, — Зубр расценил поднятую бровь Ивана Петровича как добрый знак и продолжал уже увереннее. — Руководство России заняло решительную позицию по Союзному договору, стремясь к единству Советского Союза, единству России.

Вдруг вошли Саша и Оля, с явным неудовольствием посмотрели на чтеца и с большим нетерпением — на телевизор.

— Девочки, а вы послушайте, послушайте! Это документ века, — усаживал их настойчиво Сергеевич, но они выкручивались из властных рук,

играя точно с ровесником. — Когда-нибудь будете рассказывать всем, что держали в руках эту листовку, — и изменил тон голоса с предназначенного для детей на взрослый. — Наша позиция по этому вопросу позволила существенно ускорить подготовку договора, — продолжал грудным голосом маленький римлянин, как окрестила его хозяйка салона, — согласовать его со всеми республиками и определить дату его подписания — 20 августа сего года.

— Мама, а по телевизору сейчас идут мультики, — сжимала Сашенька жаркий влажный кулачок, ей было до слёз обидно, что её не считают за взрослую.

— Сашенька! — остановила её Кира. — Это для всех сейчас действительно важнее мультиков. И посмотри, какие у нас люди собрались!

Наташа вынырнула из кухни, бросив жарить. Как только дело касалось Сашеньки — она всё видела и всё слышала.

— Одной женщине нужно двадцать лет, чтобы сделать из своего сына человека, а другой достаточно получаса, чтобы превратить человека в глупое дитя.

Все молчаливо одобрили её речь, и она, довольная, опять удалилась на кухню готовить что-ни-

будь вкусненькое для девочек и гостей. — Такое развитие вызывало озлобление реакционных сил, толкало их на безответственные, авантюристические попытки решения сложнейших политических и экономических проблем силовыми методами, — Зубр помолчал секунд тридцать, втягивая губы, так что полоска рта стала узкой и бледной. — Ранее уже предпринимались попытки переворота, — повысив голос, маленький римлянин выкрикивал, будто бы с броневика. — Всё это заставляет нас объявить незаконным пришедший к власти так называемый комитет. Соответственно, объявляем незаконными все решения и распоряжения этого комитета.

Корнев не повышал голос и не говорил, когда все спешат высказаться. От напряжения у него только поднималась бровь, и он чаще поводил плечом, словно был неудобно пошит пиджак.

— Уверены, органы местной власти будут неукоснительно следовать конституционным законам! — Зубр широко расставил ноги, возвысил голос. — Призываем граждан России вернуть страну к нормальному конституционному развитию.

Иван Петрович Корнев повёл плечом, как будто ему что-то мешало. — Безусловно, необходимо

обеспечить возможность Горбачёву выступить перед народом. Требуем немедленного созыва Чрезвычайного съезда народных депутатов СССР, — Зубр посмотрел на всех кавказским сталинским взглядом.

Борис Константинович закашлялся.

Славецкий встал, достал сигарету.

— Через край нальёшь, через край и пойдёт, — хотел выйти, но, постояв минуту, опять сел, убрал сигарету, руки скрестились на груди, успокоились. — Да, всё было хорошо… Открытые люки посреди тротуаров, неубранная гололедица.

— Мы абсолютно уверены, что наши соотечественники не дадут утвердиться произволу и беззаконно потерявшим всякий стыд и совесть путчистам. Обращаемся к военнослужащим с призывом проявить высокую гражданственность и не принимать участия в реакционном перевороте.

Маленький римлянин оглашал текст листовки с безотчётным упорством.

— То государство на краю пропасти, правители которого внимают моральным проповедям явных проходимцев, — процитировал чьи-то мысли Вадим Николаевич.

Иван Петрович Корнев посмотрел на него, как

на того проходимца, о котором шла речь.

— Надо всем коммунистам отмежеваться от политики Горбачёва и нового государственного деятеля, — составлял на скорую руку свои директивы полковник.

— Можно и зайца научить спички зажигать: море крови, море боли… — приветливо, примиряюще усмехнулась Кира. — Но кому это нужно?

— Да, — стряхнул запал начавшегося спора полковник. — Вот и думай, в какой трубе дорогу проложить.

— До выполнения этих требований призываем ко всеобщей бессрочной забастовке, — лидер триумвирата, коим хотел себя считать Зубр, стал спешить, и призывы получались невнятные. — Не сомневаемся, что мировое сообщество даст объективную оценку циничной попытке правого переворота.

— Мировая жизнь, как говорит моя хозяйка, — напряжённо усмехался Славецкий. — Все сыты — хорошо живём! Цены мировые. Культура — антиценность?

— Что делать? — взметнул Вадим Николаевич глаза, наполненные мистическим испугом. — Культура — это иная реальность? Культуру на рынок?

— Рынок — это опасная игра в нашем царстве-государстве! — волновался полковник. — Захлёстывает инфляция, безработица, преступность. Уходим в штопор!

Потом он протянул Славецкому отпечатанный листок, через минуту забрал. Славецкий начал как бы стесняться и держался от него в стороне. Это было неестественно. Полковник поставил указательный палец на подписи Ельцина, Силаева, Хасбулатова. Подписи были отксерокопированы, но всё-таки вызывали у Вадима Николаевича мистическое поклонение.

— Верховный Совет СССР должен немедленно провести расследование, — горячился полковник. — Это всё влияние западной буржуазии. — Восточная? — вставил Славецкий. — Накормим баранов шашлыками?!

— Нужно создать везде рабочие комитеты! — опять ворвался звонкий, как удары по металлу, голос Зубра.

— Горбачёв развалил государство. Исключить его из партии! — ходил по комнатам, чеканя шаг, полковник. Это выглядело смешно и походило на старую прусскую парадную маршировку. — Никакой рыночной авантюры! Объединиться и сохранить страну!

— Какая забастовка? — возмущался Илья. — Кто будет добывать уголь, нефть, природный газ? Катастрофа! Начнётся топливно-энергетический кризис, а там и остановится всё производство!

— Идея не инструмент, который можно менять. — Славецкий скрутил листовку и смотрел в неё, как в подзорную трубу. — Суверенизация и демократизация. Когда в шестьдесят пятом году в Штатах произошла авария в энергетике, централизовали энергетические системы.

Зазвонил телефон, и Кира вышла.

— Позвонил бы сейчас товарищ Сталин и все ваши вопросы в один миг бы решил! — У Славецкого насмешливые глаза, будто в шестом колене у него были предки с Востока, но больше в лице ничего подобного не проглядывало — над всем может посмеяться, и при этом даже уголки губ не шевельнутся.

— Не будем стадом! — призвал всех по старой педагогической привычке Вадим Николаевич, вспоминая, как дети на уроке подожгли шторы. А он, начинающий учитель, не выдержав, швырнул подростка так, что тот врезался головой в батарею. — Раскол общества — вот самое опасное, что может быть. Нельзя допустить кровопролития!

— Обнищание страшнее всех расколов, — за-

метила Мария, стесняясь своего голоса. Словно в собрании мужчин женское присутствие было неуместно (когда в салоне была Кира, такого чувства не возникало).

— Людям показан виновник всех бед — КПСС! — подливал масла в огонь Славецкий. — Семьдесят лет отучали людей от денег, и теперь они стали очень падки на них.

— Кем показан?! — вспыхнул полковник. — Кто был падким, тот падким и остался.

— Страх научил не высовываться, не брать на себя ответственность, — Славецкий стал заводиться, невольно нарушая своё правило приводить в доказательство только аргументы и факты. — Вчера пели хвалу Брежневу, сегодня — новым идолам — Яковлеву и Шеварднадзе. Кого же они, интересно, завтра сочтут инакомыслящим? Те, кто обманул вчера, обманут и сегодня. А реальная власть у них и при Советах была, и сегодня останется. Вопрос: что ими движет?

— Страх, — повёл плечом Корнев. — Страх потерять эту власть.

— Психология, — возразил Славецкий. — Победителей не судят? А судят не по результату, а по отчёту. Распространение халтуры.

Зубр от такой подсказки вскочил.

— Как только вырвем у них власть — им крышка!

— Не потеряет власти тот, кто умеет обещать, — Славецкий точно не замечал выпадов маленького римлянина из триумвирата, зная, что тот против него ничего не осмелится сделать. — Много чего можно пообещать: коммунистический рай ещё долго будет пьянить умы обнищавших крестьян и рабочих. Они ведь сами книжек, брошюр и листовок не читают, а ждут «вот приедет барин, барин нас рассудит». А барин нынче не дурак, он пересказывает им все притчи по-своему. И поверят, и пойдут, и сломают всё, что построили. Русский народ ещё долго будет верить в своего Бога, вспоминать, что царь был убит. Дали команду: «Перестройсь!» Раз! Два! И на два — не узнаешь, кто где был. — Власть! Власть нужна! — полковник стукнул себя кулаком по колену.

— Ради захвата власти они сегодня и создают врагов, сталкивают лбами простых людей, — правая бровь Корнева приподнималась, что было признаком особого волнения.

— Серая созидающая масса — миллионы, миллиарды — неспособна переродиться в предпринимателей! А они тоже за перестройку?! — заметил Вадим Николаевич.

— Можно одним махом всё взорвать, завалить, уничтожить, и ничего из того, что было, нельзя будет восстановить. — Мария почему-то вспомнила деревню. — А можно разобрать по кирпичику, сохранить то, что пригодится. Перестройка перестройке рознь. Не только материал, но и время дорого.

— Какое время, послушай?! Уничтожить всех русских хотят! Ты что, женщина, этого не понимаешь? Я пятнадцать лет прожил на Кавказе, это там давно началось, только вы здесь не видите. Что, это непонятно кому-то?! — Зубр подошёл к Славецкому, пристально посмотрел ему в глаза и продолжил, понизив голос до угрожающего шёпота: — Я говорю как офицер русской армии! Офицер — это костяк любой боевой единицы. Если у этих маразматиков паралич власти — возьмём всё в свои руки! — Армия сегодня на правах пасынка и громоотвода! — полковник явно не выдерживал натиска русского кавказца. — Какая-то злая сила разваливает то немногое стабильное, что осталось. Кому-то нужно спровоцировать вооружённые силы на неправильные действия.

Маленький римлянин теперь стоял, широко расставив ноги. Он со злобной усмешкой бросал слова прямо ему в лицо:

— Полковники сказки русские народные рассказывают! Какая-то злая сила! — он саркастически передразнил его. — Не знаешь, какая сила? Сионисты всего мира на вселенские соборы собираются, чтобы на наших православных могилах пляски устроить!

Кира не любила таких намёков и не допускала их, но её, к счастью кавказца, в салоне в эту минуту не было.

Над всеми повисла напряжённая тишина. Полковник спокойно смотрел на своего горячего оппонента.

— Срывать маски надо! — выкрикнул маленький римлянин.

— В июле Верховным Советом СССР принят закон «Об основных началах разгосударствления и приватизации предприятий», — Вадим Николаевич считал законы и положения таким же объективным фактом, как зима, лето и осень.

— Этот закон противоречит действующей конституции, — негромко заметил Иван Петрович. — Был референдум.

— У нас было могучее государство! Послушай, кто и когда мог победить Русь?! Что вы притихли по углам, русичи?!

— Не надо кричать, — Вадим Николаевич изоб-

разил на лице трагическое ощущение творческой неполноценности. Он даже прикрыл ухо рукой, а другой гладил ткань пиджака. Он был похож на человека, который заковал себя в броню, она его душит, а он не хочет вырваться. Или не может.

— Дельцы, теневики, спекулянты! Нашлись иуды, это реванш за семнадцатый год! — Зубру критика Вадима Грекова не мешала, он не сбивался от его ремарок, слишком хорошо знал, что это за критик, не вылезший из пелёнок поэзии и прозы. — Иуды ничего не собирались перестраивать ни тогда, ни сейчас. Послушай, а иудам что нужно? Хаос, голод и нищета русского народа! Объявят частную собственность на землю, раскупят Россию по клочкам. Гитлер не завоевал — иуды голыми руками возьмут.

— А у тебя отец кто? — Вадим Николаевич умел вводить в заблуждение.

— Иуда — это не еврей и не жид, это мутант. Это изгой! Предатель! Он ни там, ни здесь не нужен! Израильской колонией сделают нас, а потом и их уберут…

— На Севере ни при царях, ни после них не было частной собственности на землю. Так и осталась тайга нетронутой, — Славецкий выдержал паузу.

— Что ты хочешь этим сказать? — Зубр упорно

не сводил прямого взгляда со Славецкого.

— Двадцатого июля Ельцин подписал указ, — Славецкий спокойно выдерживал все выпады Зубра, словно тот был отделён от него решёткой, — «О прекращении деятельности организационных структур политических партий и массовых общественных движений в государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР».

— Да это же реакционная диктатура! — полковник больше не мог себя сдерживать и не хотел — все были свои. — Открытая дорога захвату экономической и политической власти доморощенной буржуазии в союзе с коррумпированной бюрократией!

Зубр вплотную подошёл к полковнику.

— Надо призвать всех к борьбе — отменить указ. Это оборотень!

— А Яковлев заявил, — Корнев обычно не принимал участия в дебатах этого салона, но сегодня заговорил. Бывший член Политбюро ЦК КПСС, он отвечал за идеологию. — Яковлев заявил: «Пришёл я к отрицанию марксизма как руководства к действию, к констатации поражения социализма».

— Главный исполнитель проявил себя! — вы-

нес приговор Зубр.

— Академика ему дали. Развивал марксизм и социализм! — Мария решила не говорить, но так разволновалась от всего происходящего, что не удержалась от полемики.

— Противник, лишённый идеологии, — громко, отчётливо выдавал слова полковник, — превращается из организованной силы в слепое стадо!

— Надо было давно предвидеть такой оборот, — заметил Славецкий, припоминая газетный факт. — Ещё Рейган в бытность президентом говорил, что марксизм скоро окажется на свалке истории. Коммунизм отвергает вечные истины, он отменяет религию и мораль.

— Ложь! — вскрикнул полковник, точно его ударили. — Клевета!

— Извиняйте, это к товарищу Марксу… «Коммунистический манифест» призабыли. А Ленин толковал позже рабочему классу: «Наша нравственность выводится из интересов классовой борьбы пролетариата».

— Положитесь на меня! — громко, с риторичной экзальтацией призывал маленький римлянин. — Вот что мне сейчас нужно! — он ткнул в газету пальцем так, что в ней образовалась дырка. — Из выступления президента Всемирно-

го еврейского конгресса. Горбачёв заверил, что внешняя политика остаётся неизменной. Новым подтверждением тому стало и назначение посла Бессмертных на пост министра иностранных дел. Но мне кажется, у Горбачёва нет долгосрочного стратегического плана: он, как у нас говорят, «стреляет от бедра». Он блестящий тактик, умеет менять лошадей. Взгляните, где люди, которые с ним начинали? Где Яковлев? Я встречался с Яковлевым. Никогда ещё мне не приходилось видеть столь мрачного настроения — разве что, пожалуй, у Шеварднадзе.

Кира кивнула Марии, и они удалились из мужского собрания, что им эти политические евнухи. «Вот, — думала Кира, — я — княжна, а она — дочь дипломата». И усмехнулась.

Корнев чувствовал напряжение других, вертикальная складка прорезала высокий лоб, и от того, что морщин на лице почти не было, это говорило о многом. В нём росло волнение. Он хотел встать, пройтись по комнате, как это делал во время работы, но только повёл плечом, словно пиджак ему жал. Но здесь разоблачиться было неловко.

— Когда мы с Горбачёвым, — маленький римлянин произносил так, словно это он был с Горба-

чёвым в культурном центре «Уай» в Нью-Йорке, а не президент Всемирного еврейского конгресса Эдгар Бронфман, — когда мы с Горбачёвым беседовали, я говорил ему о нашей тревоге по поводу его значительного сближения с консерваторами. Он ответил: «Вам придётся в этом на меня положиться, я знаю, что надо делать. Вопрос лишь в том, в какое положение переведён у меня рычаг скоростей. Мы движемся вперёд, просто с разной скоростью». — Маленький римлянин вытянул вперёд руку, костлявую, мускулистую, с широкой прямоугольной ладонью.

Вадим Николаевич потянулся за газетой и, как только получил её, уточнил для всех:

— «Советская Россия», 22 января, 1991 год. К семидесятилетию Сталина взяли и закрыли Пушкинский музей изобразительных искусств. И стал Музей подарков Иосифу.

— Цель этих рекомендаций известна! — резюмировал полковник, игнорируя музейную восточную усмешку Она. — Отдать нас во власть международных монополий! На закрытом заседании Верховного Совета СССР 17 июня Крючков показал один документик «О планах ЦРУ по приобретению агентуры влияния среди советских граждан». Они проводили обучение наших лю-

дей, проталкивали кого надо в сферу управления политикой и экономикой. Саботаж, извращение партийных указаний — всё из ЦРУ. Они задерживают развитие нашей экономики! Они и науку пустили по тупиковым направлениям!

Корнев на это заметил, прибегая, как всегда, к поддержке только фактов:

— Калугин — бывший генерал КГБ, а ныне народный депутат СССР. А Крючков — председатель КГБ. Сто тринадцать наименований политической литературы разом исчезло с прилавков… — Корнев повёл плечом. — Речи Горбачёва о роли партии, о социалистическом выборе, о коммунистической идеологии. Сорок четыре произведения — и ни одного.

— Списали на свалку! — выкрикнул, сардонически смеясь, Зубр.

— Вот опять вы о свалках, — с глубоким сожалением произнёс Илья. — Взгляд должен быть устремлён к свету, а не в разъедающий душу мрак.

— Директива от Союзного Главка, — внёс поправку Славецкий со скрытой улыбкой. — Семьдесят лет думали, глядя вверх на начальство и вниз на пролетариат… Подобострастие и пренебрежение — две стороны одной медали.

Полковник гневно обрубил:

— Иностранцы больше болеют за нашу перестройку, чем мы сами. Особенно пекутся о судьбе Горбачёва. Для них вопрос выживаемости Горбачёва чуть ли не главный на сегодняшний день.

— Они болеют за всех. Буш предсказал Горбачёва ещё весной восемьдесят четвёртого года, — привёл Славецкий факт давно минувших лет, не зря ежегодно выписывал «Аргументы и факты». — Дипломат предложил избрать генеральным секретарём ЦК КПСС Горбачёва.

— А почему? — взметнулся маленький римлянин.

— На этот вопрос мог ответить только Мистер «нет», — с тонкой улыбкой заметил ему Славецкий. — Буш… Скоро и эти поймут, что им было куда спокойнее за железным занавесом. Армия в шестьдесят тысяч частных охранников. Что начнётся, когда закончится перестройка? Русский — он какой? Здесь перестроит, пойдёт перестраивать Европу, а потом и до мыса Доброй Надежды доберётся, его не остановишь.

Улыбка Славецкого, а особенно смех, вот такой, какой он сейчас не смог скрыть, действовали на вологодского кавказца как красный плащ тореадора на разъярённого быка.

Пока маленький римлянин с трудом гасил свою горячность, Вадим Николаевич позволил и себе вступить в симфонию разговора:

— Господин Коль призвал усилить кампанию по сбору средств.

— Когда закончится перестройка, — наконец к вологодскому кавказцу вернулась способность говорить, — ни одного русского не останется. — Я останусь русским и останусь коммунистом, — заверил всех полковник.

— Соперничество Горбачёва и нового государственного деятеля существует лишь для видимости, — бровь у Корнева поднялась ещё выше.

— Да, это сиамские близнецы! — поставил диагноз кавказец. — Слушай, это предательство невиданных мировых масштабов!

Зубр бегал по салону, нелепо запинаясь.

— У людей была социальная защищённость… Но за счёт чего? — задал наконец вопрос и Вадим Николаевич и сам же на него поспешил ответить. — За счёт свободы… Перестройка, конечно, нужна, но так, чтобы пролилось меньше крови.

— Крови! — набросился на него кавказец, и если бы у него оказались рога, то наш тореадор благодаря лёгкому весу взлетел бы прямо на подвески

хрустальной люстры из Парижа. Напрасно надеялся Вадим Николаевич, что этот театральный плащ принесёт ему успех у публики. — Крови! — взревел кавказец голосом, способным сотрясти и горы. — Ты что, в прорабы хочешь пойти? — тут у оратора выскочило из головы имя того, кого считали архитектором перестройки. — За тридцать три сребреника! — он второпях выхватил из брючного кармана бумажные деньги, но, пошарив ещё, отыскал металлическую монету и со звоном швырнул её об пол, денежка закатилась под кресло, в котором сидел Он Славецкий.

«Прораб перестройки» — мелко, планктон, а вот «архитектор жизни» — это величественно.

Он наклонился, достал сребреник и стал подбрасывать монету на ладони.

«Орёл? Нет… Решка», — состроил он рожицу Буратино, у которого собираются отнять капитал.

Оля рассмеялась, но, видя, что никто не отважился смеяться и Вадим Николаевич строго и с осуждением смотрит на неё, выскочила из комнаты.

— Один высокопоставленный советский чиновник сказал, что за семьдесят лет мы построили систему, безразличную к человеку, враждебную ему, — Вадим Николаевич сделал смысловую

паузу перед тем, как назвать фамилию, которую не мог припомнить кавказец. — Яковлев был по-граждански честен.

— Яковлев — главный архитектор перестройки! — посмотрел пристально Зубр на Грекова, словно разгадывая тайну Киры, связанную с триумвиратом.

— Не Яковлев подчиняется Горбачёву, а наоборот! Слушай, какая степень посвящения, а?

— Никакой тайны нет, вот уже два года, как нет коммунистической диктатуры в Польше, Германии, Чехословакии, Румынии, Болгарии, Венгрии. За четыре месяца рухнули, — напомнил Он.

Вошла Наташа и любезно напомнила, что пирог получился великолепный и через несколько минут всех просят отведать его.

— Есть такая примета, господа, — ей хотелось подольше побыть в поле зрения полковника. — Подавая соль — смейся, не то поссоришься. — Спорить спорь, а браниться грех, — вошла за нею следом и Фёдоровна.

Они управились с кухней и тоже хотели поговорить с умными людьми.

— Однажды я рассказывала Сашеньке сказку, — усаживалась Наташа на диванчике. — «…И тогда они поженились», — закончила я. — «Бабушка,

а почему сказка всегда кончается, как только любящие поженятся?»

— Супружеские оковы так тяжелы, что их можно нести только вдвоём, а иногда и втроём, — напряжённые губы Славецкого слегка расслабились.

— Одному философу задали вопрос. Хи-хи, — усмехнулся погружённый в себя Греков, — какие женщины, по его мнению, склонны к большей верности: брюнетки или блондинки. Философ ответил, не задумываясь: «Седые».

— А ведь не всё у нас готово! — всплеснула руками дородная Фёдоровна.

Следом за ней, похихикивая, удалилась и Наташа, унося во взгляде завистливое нетерпение.

— Рабочих отодвинули от распределения продуктов труда. — Возмущение Андрея Зубра не угасло, а словно усилилось после небольшой передышки. — Как они могут влиять на производство и общество? — Либерализация — это просто повышение цен, — заметил Вадим Николаевич. — Цена на рабочую силу не растёт.

— А что сделали для простого человека приходящие на смену советской власти?! — задал риторический вопрос бывший лётчик-истребитель. — Лжедемократия вытеснила рабочих из

законодательных органов!

— утверждал маленький римлянин, член триумвирата. — Где органы самоуправления? В двадцать девятом году травят Евгения Замятина и Бориса Пильняка за то, что их публикуют за границей. — Взгляд его, ни на ком не задерживаясь, ищет что-то вдали, Славецкий переживал прошедшее не как вчерашний день, а извлекая в сегодняшние будни. — Пильняк кается, а Замятин умер на чужбине.

Наконец Зубр нашёл где-то у себя ещё клочок листовки и стал поспешно читать, словно боясь, что явится жандармерия на тайную конспиративную квартиру и арестует всех, а его при наличии документа сошлют в сибирскую каторгу.

— Резолюция «О возрождении Советской власти — гарантии политических и экономических интересов трудящихся», — прочитал заглавие и сразу перешёл к концу. — «Съезд рекомендует органам рабочего самоуправления взять под контроль распределение прибыли предприятий, приобретаемых товаров (в том числе за валюту), жилья и добиться полной гласности в этих вопросах, переходить к найму администрации на контрактной основе, определив коэффициент оплаты её труда в зависимости от средней зар-

платы рабочих», — стремительно встал, вытянул руку вперёд, но сразу собрал пальцы жменькой и опустил. — Нищие просят подаяние уже у самых стен Кремля!

— Буш предоставил кредиты для закупки зерна, — вставил ремарку Вадим Николаевич. — Бейкер срочно приехал в Союз для встречи с новым министром.

— Сталин за два года восстановил экономику после войны! — как с трибуны, зазвучал уверенный голос полковника. — Мы первыми из всей Западной Европы ликвидировали продовольственные карточки! На вожжах и лошадь умна.

Славецкий продолжал играть в «орёл-решку», говоря:

— Тридцать четвёртый год. Создаётся Союз писателей. Воздержи ваются вступать Андрей Платонов, Булгаков, Ахматова. От преступлений Сталина содрогался весь мир.

— Всё вешать на Сталина? — вспыхнул маленький римлянин.

— Нельзя объяснять историю только национальным фактором, — задетый за живое, на пределе спокойствия пытался возразить Вадим Николаевич. — Сегодня у нас свобода печати, какой не знала Россия.

Зубр, пользуясь свободой слова и печати, опять стал читать, он всё никак не мог успокоиться, словно ему надо было непременно выработать политическое соглашение трёх лиц для совместных действий.

— «Резолюция «Об отношении к курсу на приватизацию». Съезд рабочих Москвы выступает против курса на приватизацию. Такой курс в корне противоречит экономическим интересам трудящихся и Конституции СССР, которая исключает превращение предприятий, земли и рабочей силы в предмет купли-продажи и спекуляции, — он затих, прочитывая про себя несколько абзацев. — Съезд заключает: настоящими хозяевами производства трудящихся сделают не приватизация и муниципализация, а безотлагательная передача всех предприятий под рабочий контроль и рабочее управление.

17. Нехотяй

Под спуском — приглушённый гул города. Здесь в одноэтажных домишках течёт обычная жизнь. На углу кривого переулка — горбатый столбик колонки. Слева к реке — полуразрушенная церковь, ниже, почти у воды, — ещё церковь: в первой

хранят стройматериалы, в другой — мрак запустения. Второе десятилетие река подмывает, подтачивает старый крепкий фундамент.

Хозяйка, у которой Он Славецкий снимал подвальчик, проживала здесь всю жизнь. Жизнью она называла ту часть бытия, которая протекала после войны. Войну же не вспоминала никогда, и забылось всё, что было до войны. Сама бабка жила в комнате очень низенькой с двумя покосившимися окошками на улицу и печкой посреди комнаты, квартиранту же сдавала нижнее помещение и брала с него недорого. Она жалела его, чувствовала и понимала его одиночество, как своё. Когда рядом человек, даже квартирант, всегда есть с кем поговорить.

С утра под полом было тихо, к обеду она слышала, как квартирант куда-то уходил, и снова наступала тишина. Сейчас она опять ясно услышала, как он начал ходить. Поднялся, стало быть. Не спит. Степанида налила в металлическую миску щей из алюминиевой кастрюли, отрезала ломоть хлеба потолще и толкнула плечом дверь на улицу. Чтобы квартирант её увидел, она постояла у его низкого окошка, чуть пригнулась, но, не увидев его, пошла к дощатой двери. Стояла, ждала, она тоже знала привычки квартиранта.

Его неторопливость ей даже была по душе.

— Все сейчас недовольны, — поставила она миску на старую обшарпанную тумбочку возле его кровати. — Все плачут: у всех горе. У кого бисер мелкий, у кого похлёбка жидкая. Ты ешь, пока не остыли щи. Вчера костей свиных взяла и кочан капусты. Хороши получились, я две миски стрескала.

— Не хочу, спасибо!

— Нехотяй какой! А ты встань да похлебай, а потом скажешь! Хоть батька у тебя и был дипломат, а ты будь проще, будь с народом. Женись. Всякая женщина — сирота без мужчины.

Эта странная хозяйка подвала нравилась Славецкому тем, что была скупа на слова. И то, что она приходила и садилась на табурет, его не раздражало и почти не вызывало никаких эмоций. Он привык в своём жилье и к кошке, которая заходила раза три в неделю, и к мышам, которые шастали в любое время, словно оспаривая истинное право на жильё под полом. Он не платит за квартиру третий месяц и сейчас похож на постояльца из милости. Но это «из милости» сейчас даже ближе, теплее.

— Сначала чёрный хлеб ели, — говорит бабка своё, не требующее ни ответа, ни понимания. —

Потом белого наелись. — Её большие узловатые руки спокойны, как вывороченные из-под земли корни старой липы. — Потом мясо есть стали. Только жить начали. Жизнь сейчас мировая! Сыты все. — Пальцы скрючены, выпяченные бугристые суставы не разгибались.

Её ни хандра, ни тоска уже не мучили, она была недоступна этой блажи. Давно отстоялась вся муть жизни, и теперь Степанида жила ясно и понятно. Её простая, с годами нажитая мудрость успокаивала и уравновешивала Славецкого. Он смотрел в окно — стайка воробьёв дралась, таща грязную хлебную корку.

— Всяк себе мякиш, — вздохнула Степанида, посмотрев на постояльца. — Жениться бы тебе, Нехотяй!

Он ответил мысленно сам себе: «Он знает, что значит жить и в теле мужчины, и в теле женщины. Он слишком хорошо знает не только одну половину человечества. Он знает, кто больше получает наслаждения. Тот, кто сильнее». Гера зря упрекала Зевса. А Зевс, оправдываясь, внушал ей, что женщина больше получает наслаждения.

— Это у меня пройдено, — отвечал он не сразу. Она не обижалась, когда он и совсем молчал или говорил одну фразу: — Всё изжито.

— Мужчина в любом возрасте жених, — старухе захотелось погладить этого брошенного и забытого всеми ещё не старого мужика. Он ей казался то сыном, то мужем, вернувшимся из мрака смерти, то братом… — Мать-то у тебя жива?

— Живёт.

— Говоришь ты быстро. Кто-то с Украины, видать, у тебя был? — любопытничала Степанида.

— Во мне столько кровей намешано! — отмахнулся Славецкий. — Винегрет.

— Быстрый разговор у тебя, а говоришь — думать надо. Шутишь всё…

— За шутки редко платят, за них чаще расплачиваются. Наша жизнь, она как скорый поезд: станешь на её пути — разнесёт в куски, отбежишь в сторону — проскочит мимо.

— Так и жили… Снег растает — бегаем босиком, пока снег снова не пойдёт. Хотели — не хотели, нас никто не спрашивал.

— Ели друг друга поедом и тем были сыты. А счастье?

— Я живу — вот это моё счастье. Не дорог квас, дорога изюминка в квасу.

Он не понял сначала, а когда дошло, какой-то яркий светящийся луч пронзил его, как фонарик в темноте. Славецкий был поражён этой ясно-

стью и простотой.

Степанида встала и пошла к двери, словно высказала что-то лишнее или сокровенное.

Он довольно быстро выхлебал щи со свежей капустой, с причмоком обглодал свиную кость. Покашлял и возобновил лёжку на ворсистой медвежьей шкуре. Сырая полутёмная комнатушка выстыла, но лежать на шкуре под шерстяным одеялом без пододеяльника было тепло, а тепло давало ощущение покоя, и он засыпал. В этой лёжке, как Он сам называл, он находился уже третий день. Это было состояние не сна и не бодрствования, не тоски и не уравновешенного покоя, что-то промежуточное, неясное. Мысль пребывала в вакууме чувств и ощущений. Иногда казалось, что теряется сама привязанность ко времени. Это состояние «лёжки» создавало ощущение оторванности от мира: он погружался в себя, почти ничего не ел и не пил, уходил весь в созерцание иной, скрытой, недоступной никому жизни своего «Я».

«Как начал думать, так с тобой невозможно стало жить», — вспоминал Он упрёки жены. И жить, и думать одновременно он не мог: ему было присуще или жить, не думая, или впасть в лёжку и думать. Думать и творить свои афоризмы. Его

любили и боялись за эти точные, как тибетская игла, словечки. Кажется, он ими и думал, и жил, и вся его энергия жизни уходила на эту внутреннюю игру, вкусные смачные фразы. Здесь, под бугром, к нему чаще стало приходить состояние полной отрешённости до мистического ощущения потери плотской оболочки. Но в моменты такого космического воспарения Славецкий начинал бояться высоты: то ли болезнь, то ли боязнь полного отрыва от мира на земле. И он открывал глаза, спешил увидеть низкий потолок, по которому шаркала хозяйка.

День перевалил за полдень. «Теперь ты сам себе и начальник, и подчинённый», — говорил ему отец-чекист незадолго до смерти.

Славецкий опять пытался погрузиться в созерцание воспоминаний. И вдруг явилась перед ним женщина, видение смутное, в серо-зелёных красках, не поэтическое. В её шагах был скрип, цвет лица, как рассвет в земляном окне, пальцы рук, как воробьиные лапки. Но вот появилась кошка, и всё задвигалось, зашевелилось. Этой брошенной кошечке с плоской мордой и длинной свалявшейся шерстью он позволил юркнуть в сенцы, она проскользнула мимо печи и прыгнула на кровать. Кошка ласкалась только в дождли-

вые, морозные дни да с голоду, когда же было тепло и сытно, шла мимо, даже в окошко не заглядывала. И воробьи не прыгают по оскудевшей земле. И ничего за окном не происходит. Это апатия, духовный паралич. Не онегинский сплин и не печоринская возвышенная отрешённость от людей. Он это знает. Всё по-другому, иначе, тяжелей. Он это чувствует. В подвальчике ночь наступает раньше, чем наверху. Сумерки сгущаются, окно начинает отражать не небо, а землю, чёрная земля гасит свет синего неба. Славецкий, если один в это время, не включает свет. И сегодня он опять наблюдает медленную игру дня и ночи. Он приучил себя ничего не хотеть.

Когда уходит свет из комнатки, он чувствует, как уходит ещё один день жизни. Славецкий лежит на ворсистой нагретой шкуре, комок подушки под головой. Каморка Раскольникова — уровнем выше, там не отстаивают мыши своих прав, уж по одной этой причине не идёт ни в какое сравнение. Человек он что-то вроде Ежевикина, едкий, умный, неудачливый. Достоевский схватил этот тип в его зародыше, первооснове, но жизнь за свой век порой меняет всходы до неузнаваемости. Наш Телесий Нехотяевич ролью неудачника, в общем-то, был доволен и имидж

менять не только не желал, но и не стал бы ни на каких условиях. Ибо жить потом было бы нечем. Он не искал удачи и даже бежал от неё. А так как удача и не преследовала особенно, то на тайного режиссёра своей судьбы он не был в обиде. Казалось, его увлекала не столько жизнь наша настоящая — жизнь большой сцены, сколько та, закулисная, стихийная и единственно реальная сейчас для него — жизнь души, как он её понимал. Но сегодня его, кажется, перестала интересовать и та сторона жизни, и другая. «Всё уже было…» Он лежал, но никогда не засыпал в сумерках, а находился в каком-то забытьи. Мысли приходили к нему яркие, отточенные, и он жадно ждал их, как ждут встречи с женщиной моряки после долгого плавания.

Самое страшное то, что люди продолжают ещё жить по законам войны: ты умрёшь сегодня, а я — завтра. Сегодня, сейчас я хочу жить! Разрушающая сила — инстинкт — страх смерти? Всё дело в крови. Кровь ещё не переработана, война не изжита. Вадим Греков — боец, он никогда не потеряет желание жить.

Темнота и холод сгущали ощущение одиночества. Этот сгусток висел над ним, как стёршийся звук. В такие ночи он не замечал, как засыпал,

а иногда, ворочаясь на шкуре медведя, спрашивал себя: «Сплю или нет?» Явь переходит в сон и возвращается как-то сама по себе, без пробуждения. В такие минуты перехода воскресают самые точные и меткие словечки, и он пытался растянуть и зафиксировать эти бесконечно короткие и благоговейные мгновения. Но ему опять не удаётся приостановить, зафиксировать волевым разумом этот миг. Всё приходит неожиданно, но и не совсем случайно. Эта игра в ожидание вот-вот обернётся насмешкой, фарсом, игрой ради игры. И станет живое мёртвым. Заснуть можно сразу, а можно попробовать растянуть на долгие часы таинственно-непредсказуемой ночи. Если заснуть сразу, то не надо думать, топить или не топить печь. Он поджал колени, подоткнул по бокам рубленое одеяло. Дышать под одеялом тяжело — сильно пахнет шкурой. Высунул нос, как из норы. На углу кровати что-то чёрное и безобразное, как комок грязи. Грязь шевельнулась, дрогнула, и от неё в виде хвоста поползла тень. «Крыса!» Жуткая тень сковала разум и волю. Кладбищенский холод и подвальная затхлость. Сердце остановилось, но то ли пульс слышен был, то ли удары маятника часов над потолком. Крыса приблизилась, хищно подёргивалась её

нижняя челюсть.

Вскочил. Свет! Тумбочка, стул, печка. Если сжечь несколько поленьев — можно сварить сливуху. Дрова в сарае. Идти не хочется. Он лёг на не остывшую ещё шкуру — стало по-звериному тепло. Натянул два байковых, грубо зашитых, порезанных комендантом для списывания в общежитии одеяла, сверху расправил драповое зеленоватое довоенное отцовское пальто, отданное ему из дома за ненадобностью. Он находил теперь особое какое-то удовольствие в вещах, выброшенных за ненадобностью. Продолговатый металлический шарик, маленький, как воробьиное яичко… Финтифлюшка от старинной кровати. Он протянул руку к тумбочке и на ощупь взял холодный кругляш.

Ненужным вещам он пытался придумать и вернуть нужность, чтобы словно прожить жизнь их хозяев. Он не стал Плюшкиным, для него в вещи таилась жизнь тех, кто с ней соприкасался. Познать женскую жизнь? Кто больше получает наслаждений — загадка жены Посейдона разгадана.

Наконец вышел на улицу. Нащупал несколько коротких поленьев в сарае, столько, чтобы хватило жара и огня свариться, упреть пшёнке.

Разгорались дрова лениво, точно со сна не желая просыпаться. На часы он ночью смотреть не любил. Вот Вадим, тот страстно угадывал час и минуту и сверял свою интуитивную точность с астрономической.

* * *

Он, не закрывая дверцу печи, сел ждать и греться у дровяного огня. Сливуха забулькала. Запах варящейся пищи внёс что-то живое в воздух. Он всыпал соль. Вдруг за окном раздались топающие шаги. Полминуты было тихо. Затем бухающие удары. Дверь подвальчика дощатая, тонкая, но засов старинный и надёжный. На мгновенье всё стихло. Шаги отпечатались у окна, и стекло, гулко звеня под ударами костяшек пальцев, дребезжало.

— Что надо? — отозвался Славецкий.

В ответ дверь опять задёргалась. Забухало сильнее.

— Открывай! Слышишь?! Живее!

Он медленно выдвинул ржавый засов, оставив дверь в комнату открытой. Крупный мужик, дыша перегаром, сильно толкнул его в грудь, поспешно протиснулся по узкому проходу между стеллажами с книгами. За ним прошёл ещё один,

низенький и толстый. Он стоял, прислонившись к книгам, боли от удара не было, но всё ещё оставалось ощущение, что чужая рука толкает его.

— Ну что, жидёнок? — прохрипели из комнатки. — Сжечь нас захотел?

Славецкий вспомнил отца. Если сохранять спокойствие, то можно в любой ситуации выиграть время. А если есть время, можно балансировать и не разбиться. Время — лучший советчик.

Время шло. В комнате что-то загремело, покатилось… Мат оборвался, и обе тёмные фигуры вынырнули из подвальчика. Когда они проходили, Он отвернулся, чтобы не притягивать взглядом, глубже отступил в темноту книжных полок.

Утром Славецкий вышел из подвальчика и удивился высокому солнцу и спокойной ясной погоде. Нацепил висячий замок без ключа на дощатую дверь и с удовольствием вдохнул сладковатый воздух. Подниматься нужно было в город по выщербленным ступеням. «Чтобы быть в виду — надо быть на виду», — проговорил он сам себе свой афоризм, занесённый в записную книжку в прошлом году. Чем выше он поднимался, тем больше наполнялся воздух городскими звуками, словно они откуда-то сверху падали.

18. Мистер

Мария искала подтверждения словам матери. И рассказывала всё Лоле, знакомой по журналистской работе. Журналистка посоветовала собрать побольше материала и издать книгой под названием «Записки матери» или просто «Мать». Или передать архив семьи ей. Но Мария решила по-другому. Это важнее для её дочери Ольги. Если ей будет нужно, то она разберётся, расскажет.

Мама рассказывала Марии, что ходила в дом, где тайком от властей делали аборты. Она вошла — и выскочила. С тех пор женщину преследовал страх увиденного: кровь, красные куски, ошмётки марли… Людей в комнате уже не было. И от этого ей показалось, что здесь не аборт сделали, а свершилось убийство.

События странным образом меняют нашу судьбу. И Евдокия в августе родила живую девочку. И заставляла себя не вспоминать, что её отец — дипломат. Только с чёрно-белого экрана иногда она видела того, кто так стремительно поднимался по карьерной лестнице к вершине пирамиды. Она же с его ребёнком оставалась на нижней ступеньке, в начале пищевой цепочки.

Дипломатия — профессия творческая, вспомним Грибоедова. И в наше время, уйдя в отставку, некоторые из них стали публицистами, писателями.

Оля, получив от матери дневниковые записи, тетради и записные книжки, пошла в архив и библиотеку. Она пыталась соединить в цельное повествование заметки и размышления. Но как соединить время? Там, на заре советской власти, другая жизнь.

«Мистер в 54-м году на октябрьские праздники был в Москве». (Писала дочь дипломата.)

Оля спрашивала себя, говорила с собой, не доверяя эту тайную жизнь бабушки и дедушки-дипломата никому.

Как и где бабушка могла пересечься с дедушкой и получить от него ребёночка? А где мамины три брата и сестра? Мои дяди и тётя? Я выросла без родственников. И она тоже.

История тянется из шляхетского рода.

Как караван ни поворачивай, сильный верблюд всегда будет идти впереди. Сильный человек никогда ни от чего не отказывается, он в нужный момент одно решение меняет на другое.

* * *

В дни Столыпина отец будущего дипломата доплыл до Канады. Но вернулся без золота и был рекрутирован на войну с японцами. После войны любознательный авантюрист женился. Народилось четверо сыновей и дочь. Первенец на свет явился летом девятого года. Подростком помогал отцу сплавлять лес. Так и прижилось прозвище по отцу — Бурлаки. А отец всё рассказывал и сочинял байки о жизни за океаном, каждый раз приукрашивая.

Наслушавшись, старший сын уезжает в город, мечтая стать миллиардером-Рокфеллером. В техникуме он уже на старте карьеры: секретарь комсомола, в Минском экономическом институте — секретарь партячейки. В 1934-м — диссертация о сельском хозяйстве в США с переводом на английский. Дипломатом он стал случайно или нет? Выбирали из крестьян и рабочих, как Зорин, Малик, Добрынин.

Артистизм помогал демонстрировать интеллигентные манеры. Пробрался в любимцы Молотова, а затем Сталина. В конце тридцатых он командирован в США советником. Через четыре года становится послом, затем представителем

ООН.

Далее разделение палестинских территорий и признание Израиля. Палестина была под Великобританией. США думали «заморозить» стихийное образование новых стран. Будто бы отстаивая мнение Сталина, дипломат из Советского Союза инициировал создание Израиля. В 1947 году он изложил «план большинства». Так для евреев он стал национальным героем.

Карьера была на взлёте. Но вдруг оступился: в пятидесятом году, будучи первым замом главы МИДа, он завизировал соглашение с Китаем относительно курса юаня и рубля. Сталин был недоволен и перевёл дипломата послом в Лондон.

После смерти вождя МИД возглавил Молотов. И посла возвратили в Москву.

Внутреннюю жизнь дипломата мало кто знал, и даже жена и дети не могли бы написать на этот сюжет.

Личная жизнь у него шла за кулисами официальной. Сам он вспоминал ту встречу в театре. Когда он смотрел «Марию Стюарт», ему казалось, что его глаза, как у хамелеона, видят на триста шестьдесят градусов. Он позволил себе оглянуться только один раз, под предлогом, что сзади

разговаривают и мешают. Евдокия ответила ему улыбкой и взглядом королевы. Вот она — настоящая Мария Стюарт, за его спиной, а не на сцене. Он мог бы сесть в ложе, зачем сел с гостями в партере, он себе не мог объяснить. Что с ним — глаза враскосяк — он себя не узнавал. А разве он не драматург своей жизни?

В его жизни было круче, чем у Шиллера: культ личности вождя, трибуналы, перевороты, заговорщики, неповторимые интриги. Он думал: «У меня две королевы: жена и другая, та, что сидит за спиной. Я — Лестер». Реплики актёров смешивались с его мыслями. Царственность не в том. Их низости не могут нас унизить. Я здесь привык ко всему. О милости великой, о свиданье, о встрече с ней прошу. Но суд людей неравных мне по званью? Мир перед нею наглухо закрыт стараньями недремлющих шпионов. Меня совсем не достигают вести. Какие противоречия всех эпох!

Прошло четыре года, роль Лестера и Марии в трагедии Шиллера дипломат знает наизусть. В пятьдесят седьмом году Хрущёв назначает его министром иностранных дел.

* * *

Оля перечитывала своё повествование, добавляя что-то новое.

В Центральном Доме литераторов в нижнем буфете, где она ела солянку на обед, всегда можно встретить кого-нибудь из небожителей, о ком думаешь. Это особое место для небожителей подвала.

Подсела критик и редактор журнала, она заказала солянку, рагу и бокал вина.

— Эффект полного погружения? Ты представляешь себя дочерью дипломата, чтобы написать роман? — Дама играла перстнями, насмешливо глядя на всех.

— Эффект проживания жизни? — удивлённо спросила Оля. — Мне один критик сказал, что я продолжаю традицию Вампилова.

— Суть в чём твоего сочинения?

— Моя мама — дочь дипломата. Моя мать прошла все круги ада здесь, на земле.

— Она могла сделать аборт.

— Не могла. В то время было запрещено.

— Делали же.

— Да. Она пришла к одной. А там всё залито кровью. И убежала в ужасе.

— Значит, ты — внучка дипломата? Хороший современный сюжет для Малахова. ДНК не делала?

19. Волнения

Мария вспомнила начало этой революции или народного бунта, беспощадного.

Ночь не для сна? Это было в слободке за десять лет до начала перестройки. Луна становится всё ярче, ночь темнее. Голоса в ночи звонкие, ясные, как луна. «Давай директора сюда!» — прогремело из гущи народа. «Кто велел выселять?!» — откликнулся кто-то. «Где директор?» — подхватили кругом. «Ордер! Ордер спросите!» — напирали сзади. «Ордер на выселение есть?» — Окружили плотнее машину у конторы. «Самовольничаете?!» — с хрипотцой гудел мужик. «Где начальник?» — Шевелилась в сером сумраке толпа, бросала в надвигающуюся ночь горячие слова. «Попрятались? Выходи!» Голоса сливались, смывали, точно волны друг друга, дробились и, рождаясь в глубине, в гуще, вновь нарастали: «Хотели втихаря сделать? Не выйдет!»

Холодно светила далёкая луна. Рядом с «козлом» остановилась такая же машина. Гуще стало

блюстителей порядка. Ждали: отроятся, улетят, как пчёлы, угомонятся, стихнут, присмиреют изморённые дневной работой люди.

Но вдруг живая стена качнулась, плотно охватила грузовик. Как будто почуяв непогоду, пчёлы не отроились, не улетели.

— Навались! — выдохнули разом. И пошли, как стоногое чудовище, и ринулись в темноту. Свободно и легко двигался грузовик по дороге. — Давай, ребята! Давай!

— Поехали!

— Давай!

Луна высвечивала узловатые мужицкие руки на машине, сгорбившиеся спины, крепко упирающиеся в асфальт ноги. Пошла, поехала, поползла… Живое ночное чудовище! Многорукая машина, как металлическое божество, пластала причудливую лунную тень. И толпа, заворожённая, двинулась следом. Мимо конторы, мимо общежития, вдоль пустыря и котлованов, с застывшими, словно птицы-великаны, экскаваторами. Подростки, будто это карнавал, мчались гурьбой, радостно повизгивая, забега́ли вперёд, спорили, куда покатят дальше.

Блеснул фарами трактор с прицепом, переезжая дорогу живой машине, прогрохотал и юркнул на

дорогу в поле, смешав лунные тени. — Поворачивай на коттедж директора! — донеслось сзади машины.

В начале восьмидесятых на улице в один ряд уже стояли двухэтажные коттеджи с мансардами и верандами, напоминая европейские сельские домики. Причудливые туи стояли в ночи точно в карауле, отчуждённо, настораживая непривычными очертаниями, не похожие ни на русские берёзы, ни на тонкие саженцы тополей. Машина подползла, отпали от бортов налитые силой узловатые руки. Кто-то вышел наружу. — Выходи, Пантелеич! — крикнула зычно Тоська, забежала в палисадник, как в магазин.

— Пусть выйдет, поговорим! — кричали с улицы.

Над верандой зажёгся свет, размывая уродливую двойную тень от луны и фонаря. Дверь открылась, показалась испуганная жена директора в зелёном фланелевом халате, грузная, медлительная. Она растерянно всматривалась и, видимо, не различала никого, будто совсем не узнавала их. Она привыкла, что ей всегда улыбаются на улице, её часами покорно дожидались в тесном коридорчике медпункта. Она вглядывалась в Тоську. А ведь ещё сегодня утром

у них были совсем другие лица. Она знала про этих женщин всё: сколько раз рожала, сколько не рожала, чем болели дети этих матерей.

— Женщины! — крикнула, словно в родовых схватках. — Его дома нет.

Но те нырнули в дверь. Вспыхнул свет на обоих этажах. Охватили живой цепью металлическую оградку палисадника. Луна бессмысленно висела над освещённой улицей.

Тоська выскочила на крыльцо победительницей, упирая руки в крутые бока.

— От нас не спрячется! Найдём!

— Был же дома! — подзадоривали её из-за оградки. — Видали его!

— Сквозь землю провалился?! — выходили из палисадника. — Трус!

— Ничего, девки, от нас далеко не уйдёт. Посмотрите, может, под чьей юбкой спрятался? — хохотала Тоська.

Мария пошла домой. Сокращая, пересекла пустырь, свернула.

— Эй, кто идёт? — окликнули.

И вдруг возник страх перед этой чёрной ночью и яростной луной, нависшей над домами.

— Эй, кто тут? — повторили вопрос.

— Я… — проговорила молодая учительница.

Из тени вышла, сутулясь, запахиваясь в телогрейку, сторожиха.

— Тётя Катя?

— Ну, что там? — подошла та, мягко ступая войлочными домашними ботами. — Выселяют? Всякая лесть обнажается. Вот оно, началось! Потоп гнева народного…

— Выселяют!

— Гудели, аж тут слышно. Боюсь, в магазин влезут, — махнула сторожиха рукой на одноэтажный домик, ярко освещённый со всех сторон. — Бесы! Черти окаянные! Жить не дают простому народу! Нам завтра рано вставать на работу, а тут сиди. Влезут ещё сюда!

— Не влезут! Сейчас людям не до этого.

— Ишь ты, какая уверенная! Энти-то не влезут, а народ-то разный. Бросила бы сторожить, да дочь замуж вышла… За занавеской лежат… Чихнуть и то стесняемся, когда все дома. Красивыми-то не все были, а молодыми — все.

— Добрая вы. А я бегу — вдруг дочь без меня проснётся.

— А может, позвонить куда? Господи, помыслами добрыми душу мою просвети. У меня тут всяких телефонов много. На медпункте.

— Куда звонить хотите?

— Приедут с городу — разберутся! Что-то не верится мне, чтобы с двумя детьми так вот из дому ночью выбросили. Господи, помоги! — торопливо отмыкала она двери медпункта. — Ты грамотная, я сказать не сумею…

— Куда звонить-то, тёть Кать? Блюстители порядка тут. Да вот только «кому на Руси жить хорошо»? Как преодолеть это вековое рабство?

— Я знаю куда! У меня вот тут бумажка. Вот, смотри. Набирай!

Когда Мария вернулась домой, дочка спала. Молодая мать осторожно села около детской кроватки и стала читать «Преступление и наказание». Достоевский был петрашевцем? Чего они хотели?

Вопросы не давали ей читать про каморку Раскольникова, волновали, будто там, на улице, а не в каморке Раскольникова, вершатся важные события века.

Она выглянула, в темноте опять вышла к народу.

Тени туи, казалось, ожили и двигались вместе с людьми, они то тянулись к палисаднику директора, то растекались по разные стороны улицы. От толщи живой людской стены отделилась горстка и стояла в стороне. На возвышающейся над проез-

жей частью дорожке тротуара увидела директора местной школы, молодых супругов-врачей, заведующую детским садом, семнадцатилетнюю библиотекаршу — племянницу директора, заведующую столовой, экономиста, участкового с женой…

— Вы действительно выселяете по закону? — подошла молодая учительница к участковому.

— А ты что, Мария, сомневаешься?! — встряла его жена.

И все на тротуаре смотрели на неё и глазами спрашивали то же. Почему она сомневалась, она бы сама себе не объяснила. Но чувствовала какую-то волнующую её стихию, неиссякаемую и неизбежную, и старалась понять себя и эту силу.

Молодая учительница сошла с тротуара, вливаясь в гущу народа. У грузовика притулилась чёрная «Волга». Протиснулась. Постучала в стекло дверцы автомобиля, как стучат в дверь начальника. Приоткрыли.

— Мне нужно поговорить с юристом… Выйдите, пожалуйста, — поймала его взгляд и махнула рукой, предполагая, что её не слышат.

Юрист оглянулся к тем, кто сидел на втором сиденье. Задняя дверца открылась сильнее, девушка подвинулась ближе к плечистому лей-

тенанту. Молодая учительница села. Лейтенант, перегнувшись через девушек, сильнее хлопнул дверцей и закрыл на предохранитель.

— Скажите, у вас в самом деле есть документы на выселение? — смотрела в спину юриста.

— Да! — повернулся он. — А что? — нехорошим, липким взглядом присматривался тот к ней.

— Покажите.

Усмехнулся:

— Что показать?

— Ордер на выселение. Смех — это оружие. Над кем смеёшься?

— Ордер? — хмыкнул. — А ты хоть когда-нибудь в глаза-то его видела? — ударил на «ты», как пощёчину дал.

— Разберусь… — стерпела она.

— Лариса, — посмотрел на девушку, — покажите ей ордер!

Лейтенант открыл портфель, достал папку для бумаг, положил на колени Ларисы. Та взметнула руками и бросилась теребить листки бумаги…

— Ну что, Лариса, вы не взяли ордер? Может, в другой папке? Ищите! — нарочито грубил юрист.

— Не знаю! — не выдерживая игры, зло буркнула Лариса. — Кто вы? — толкнула плечом отчаянную маленькую женщину. — Вам-то что

надо?

Мария придвинулась к дверце, взялась за ручку над стеклом, словно на крутом повороте:

— Правду хочу знать… — она хотела сказать: «А как же Достоевский? Петрашевцы? Революция?»

— Я судебный исполнитель! — перебила её другая женщина. — И нахожусь при исполнении служебных обязанностей! Вам это что-нибудь говорит?!

— У вас что, нет документов? И вы…

— Выйди из машины, если ничего не понимаешь! — повернулся юрист и открыл дверцу. — Выходи! Быстро!

Она невольно выскочила из «Волги», да так быстро, будто машина сейчас перевернётся…

Толпа давила, дышала в лицо, кричала… А она пятилась дальше от страшной машины: «Не знаю… Не знаю». И вдруг кольцо разомкнулось вокруг неё, все отхлынули. Кто-то крикнул: «Продалась директору!» И покатилось: «Купили их за огурцы и капусту!» Как стадо разъярённое, тёмные тени окружили чёрную машину. Стучали в стекло. «Стрелять таких надо!» — тыкали пальцами. «Воры в законе!» — барабанили по металлической броне. «Предатели! Трусы!» Вопрошали: «Где совесть-то? Чем глаза залили?»

Вдруг открылась чёрная дверца, вылез полный, неуклюжий в светлом костюме юрист. Он выдвинул руку вперёд, словно раздвигая их. Стихли. Луна осветила искривлённое злобой лицо.

— Прекратите безобразие! — крикнул как выстрелил. — Завтра за всё ответите!

«Угрожаешь, гражданин начальник?! — отхлынули и опять сжались в огромный шевелящийся ком, словно охваченные бесовским наваждением. — Мы — завтра, а ты — сегодня! Сейчас! Здесь ответишь! — Обезумевшие мужики и бабы отчаянно прорывались к чёрной машине. — Круто берёшь, начальник! Народ солнце правды увидит! Осади! Мы что, рыбы безгласные?» Кто-то отчаянно работал локтями, кто-то сдерживал давку. «Продали квартирку-то! Кого вселить хотели ночью? Говори!»

Кого-то в сутолоке держали, не пропуская к юристу. «Знаем мы кого! — ревело сборище. — Наших баб на улицу, а своих по английским домикам?! Кто из ваших барынь в поле-то пашет? Твоя жена — пречистая светлость, а моя кто?»

Обруч сдавливался, все дышали криком, озлобляя друг друга: «Рука руку моет…» И вдруг громкий призыв, как разбойничий свист, как ниспадение бесов: «А ну, качай его, ребята!»

Юрист дёрнулся назад к машине, но его подхватило, словно потоком воды, сдавило, будто погружая в глубину. Близко, вплотную подошли бабы.

— Кого выселяешь, мерзавец?! У неё двое детей!

— У нас закон для всех одинаков! — прокурорски вещал юрист, маяча светлым пятном в толпе. — И для мужчин, и для женщин — равноправие!

— А что, ты, может, и рожать будешь, как баба?

— Что ж, может, и родит, бабоньки! — опять взвилась Тоська. — Посмотрите, живот-то, что у Клавки нашей с двойней! Эй, юрист! Здесь и сейчас прежде времени родишь? Девки, роды принимать есть кому?

— Примем! — как кобылицы заржали.

И Тоська похлопала юриста по круглому животу.

— Быдло! — прошипел юрист, резко оттолкнул женщину.

В его тело, точно пчелиные жала, впивались булавки, шпильки, «невидимки». Дёргаясь от боли, расталкивая всех, сквозь визг, вопли он прорвался к машине и укрылся за дверцей.

Холодная луна смотрела, как оторвалась чёрная

«Волга» от земли, как качалась на скрюченных жилистых руках, беспомощно прокручивая колёса. Белый, холодный, неземной свет ложился на броню машины, покрывая точно амальгамой лакированную выпуклую поверхность, отражая лица толпы в смешных и страшных зеркалах.

Со стороны города прикатил грузовик, засветили фары, прокладывая две лунные дорожки. Подъехал «козёл», взрезал темноту, медленно приблизился к «Волге».

* * *

Рассвет смыл тёмные тени. Растаяла, словно льдинка, в синем небе луна. Посёлок наполнился шумом машин, тракторов, автобусов. Ребёнок ещё спал, и мать принесла воды из колонки, заняла в магазине очередь за молоком.

— Теперь им будут срок шить, — причитали бабы.

— Всех выпустят! — почему-то с уверенностью встала Мария и добавила, продолжая размышлять вслух: — Вещи же внесли назад в квартиру! Не выселили!

— Юрист кричал, что он этого так не оставит, — не верили.

— Говорит, что всех, кого надо, выселит, а на-

ших посадит!

Очередь на мгновение притихла, словно примеряясь, верить или нет. И вдруг наперебой загомонили:

— Директор-то огородами убежал…

— Испугался — не вышел!

— Да хорошо, Петька с трактором подвернулся ему. Вывез.

— А кто рассказал? — Мария напряжённо наклонила голову вперёд, и теперь её худоба выглядела как неуклюжесть или болезненное перенапряжение.

— Да сам же!

— Помнишь, трактор-то проезжал, фарами блеснул, — толкнула её в плечо Тоська, будто будя.

— В кабине-то Петька один был, а директор — в прицепе…

Они галдели всё громче, нетерпеливее, перебивали друг друга и вдруг захохотали, утирая слёзы.

Мария смотрела на них и не понимала: ну и что? Уехал и уехал… Трус, значит!

— Да в прицепе-то, — захлёбывалась от смеха Тоська, — навоз был! Вот бы знать тогда… Сама бы вытащила вонючего гада!

Неожиданно смех оборвался.

— Руки о таких тварей марать не хочу.

— Сам в дерьмо залез. Теперь не отмоется!

Мария купила молока, хлеба и вышла из магазина.

20. Блокада Дома депутатов

Отчего один провинциал уверяет, что не любит Москву? Ну терпеть её просто не может, ну не нужна она ему. А другой провинциал из того же города рвётся и душой кипит, и жениться-то непременно на москвичке мечтает, а все остальные просто не те принцессы. А Москва — дама столичная, привередливая, гоняет ездоков по кольцевым дорогам, одних центростремительной силой притягивая, других центробежной силой выбрасывая, как капельки отработанные.

Борис Константинович лежал и думал об этом, заснул только под утро. Он жил в Москве уже почти месяц, а всё никак не мог привыкнуть.

И только открыл глаза, — злость опрокинулась на него, словно ушат ледяной воды, — проспал! Он не мог простить, что позволил себе в такое время почивать. Принял контрастный душ: холодная — горячая — холодная… Поел поплотнее, как

деревенский мужик, которому быть в поле весь день. В девять часов тридцать минут вышел на улицы столицы. Осенняя свежесть здесь не та, что в Клёповке. Что ты! Разве сравнишь! Уже осень, и листья, отмирая, покрывались багрянцем, трава же на газонах, как искусственная, не вяла и не желтела. Интересно, вот бывает же тюльпан один на миллион, белый среди красных.

Пошёл туда, куда стекался народ, у кого болела душа за судьбу Родины.

Полностью блокирован вход людей в Белый дом. Закрыт въезд транспорта. Подвоз продовольствия прекращён. Теперь он не мог оставаться наблюдателем, нужно было действовать.

— Кто дал распоряжение всё это проводить? — полковник не верил в серьёзность этой схватки.

— Послушайте, — заговорил с ним московский интеллигент в шляпе и с чёрным кожаным дипломатом. — Я честный советский человек, я профессор…

— Что здесь происходит? — вникал Борис Константинович.

— Вся эта политическая игра мне не только не нравится, а даже неинтересна. Я профессор, привык к кабинетной работе.

— Тогда почему вы здесь? — заводился от общей

напряжённости Борис Константинович.

— А вы? — профессор сделал попытку войти в диалог. — Простите, какое сегодня число?

— Я полковник! — Борис Константинович вскрикнул, словно солдат во время переклички на учебном смотре. Простота людей, какая-то их обыденность, те же по сути люди, что в его небольшом городе. — Интеллигенция швырковая! Всё у них врастопыр! Захомутались! Двадцать восьмого сентября вся страна на уборочной, а вы чем тут занимаетесь? Опять партийные игры устроили, как в двадцатые годы? — Всякая злоба отчуждает человека.

Полковник оглянулся на эти слова. Перед ним маленький, сухонький старичок, таких ветхих и в Клёповке не сыщешь. Бомж? Юродивый?

— Буря недоумения смущает ум человека, — говорил сухонький старик. — Лесть бесовская блудным наваждением искушает души. Человек слаб, а слово воплощено.

Старичок, глядя на всё прищуренными добрыми глазами, прошёл дальше.

— Я ни к какой партии не принадлежу! И ни в Магомета, ни в Будду, ни в Иисуса не верю. — Интеллигент двумя пальцами потирал переносицу. — Одна дама зашла в книжную

лавку: «Я хотела бы купить книгу… — Какого содержания? — Для больного. — Так, может, Библию? — Он болен не до такой степени». — Интеллигент с чёрным дипломатом снял очки.

— Тухлость вся в пузырях на поверхности! — Борис Константинович чувствовал, что он должен что-то делать и от того, что он ещё сам не знал что, от этого только больше поддавался волне возмущения. Сознание, что всё-таки он в столице, действовало как-то особенно. — Я жизнь прожил день за два!

— Начальник, не кричи, — повернулся к ним высокий подвыпивший парень в старой форме, которую носили солдаты в Афганистане. — Хватит, откомандовались!

Полковник афганцу отвечать не стал. «Година искушений». Отошёл ближе к балкончику Белого дома. Там сооружали что-то, пытались прикрепить флаг, но он качнулся, его подхватили и опять стали укреплять, потом кто-то достал носовой платок и лёгкое древко подвязали для прочности.

Полковнику было всё это весьма странно наблюдать, просто не верилось — какая-то виртуальная реальность, а не Москва… Отключены все виды связи в здании Верховного Совета. Неделю

депутаты провели в блокаде. С двадцать третьего отключено всё: свет, тепло, вода.

— Вчера правительство Москвы предъявило ультиматум — до четвёртого октября всем покинуть Дом Советов, в противном случае — «тяжёлые последствия».

— Кто сказал? — обернулся на голос Борис Константинович.

— Я передаю то, что слышал. — Мужчина в кожаной куртке широко расставил ноги, словно матрос на палубе. И, слегка приподняв голову, повернулся к даме в белом плаще. — Шестьдесят восемь субъектов Федерации поддержали парламент и предъявили ультиматум с требованием одновременных перевыборов. — И хотя человек говорил беспристрастно, как обозреватель теленовостей, этот голос притягивал внимание больше, чем страстные призывы митингующих. — Решающее заседание Совета Федерации назначено на четвёртое октября.

Борис Константинович почувствовал неловкость, что вслушивается в разговор, но вдруг пришла другая мысль, что все, кто сюда пришёл, не чужие. Всех волнует что-то одно, что-то общее. Правые и левые, коммунисты и демократы — все здесь объединены болью за Родину. Те, в ком нет

этого чувства, на Баррикадную не явились.

— Государственный деятель высказался против идеи досрочных одновременных перевыборов, — продолжал спокойный человек в чёрной куртке. — Черномырдин тоже ответил на требование отказом и заявил, что у них есть другое решение.

У полковника мелькнула мысль, что всем известны и ход, и развязка действия, только он, как провинциал, не ознакомлен с этим сценарием. Ему это было неприятно, обидно, и начала вызревать злость, будто его дурачат.

21. Мария возвращается

Мария уезжала из тревожной беспокойной столицы. Каждая строчка газет, казалось, увеличивала эту тревогу, будоражила в людях отболевшее. Москва уже перестала казаться ей праздничной: не привлекали ни выставки, ни театры, ни зажигательные кафе, ни золотые осенние кольца бульваров.

Родной город встретил Марию суетой вокзала, которая напомнила непрерывный гул столицы. Но она увидела его как бы заново, словно не родилась здесь и не прожила бóльшую часть жизни.

Со стороны путей остеклённая арка скрывала людей, точно в аквариуме.

Мария вошла. Сдавленный, тяжёлый воздух на несколько минут вернул ощущение поезда. В сторону площади вокзал повернулся подковообразным фасадом. Суета, будто все опаздывают. Дачники- огородники тащили за собой по серому асфальтовому перрону сумки, кто на колёсиках, а кто наперевес, мужики, по-осетински прямя спину, несли вёдра с розовощёкими помидорами, здесь у русских личного транспорта явно было меньше, чем у потомков.

Приземистый вокзал, построенный по проекту армянского архитектора, состоявшего членом КПСС с 1917 года, смотрелся нелепо после долгих степных полей. Этому сооружению явно требовались горы, скалы, водопады — тогда его тихая приземистость умиротворяла бы, вносила гармонию. Теперь же, чтобы придать ему хотя бы видимость высотного здания, над карнизом соорудили скульптуры, которые то снимались, то вновь водружались на прежнее место.

Мария с непонятной тоской, словно зима уже повеяла холодом, шла по привокзальной улице и не чувствовала, что вернулась в родной любимый город: всё в ней было приглушённо, безрадостно

— дома казались нежилыми, деревья озябшими, прохожие просто мелькали, а не жили в городе. Сколько раз Андрей Платонов приезжал и уезжал из этого города навсегда? Воронеж — Москва — Воронеж… Город Градов… «И небо скрылось, свившись как свиток». Счастливая Москва… Есть города, которые выталкивают и удерживают с одинаковым напряжением.

В провинции лица одинаковые, казалось Марии. Москва даёт такие разнообразные варианты человеческой породы! Человека это разнообразие возбуждает? В маленьких городах не только лица, но и мысли, кажется, у всех одинаковые. А тут ещё реку, протекающую через город, перекрыли плотиной, и город тоже как бы замер, выжидая, что будет. Река затягивалась водорослями, мутнела, к концу лета воздух рядом с ней стал тяжёлым и неприятным. Каждый день половина жителей города ездила туда и обратно, пересекала длинный мост на скорости не больше тридцати километров в час и безучастно наблюдала, как темнеет, затягиваясь водорослями, непроточная вода реки.

Мария невольно вглядывалась в лица, и почти все отвечали ей каким-то новым взглядом: черноволосые мужчины с пышными усами на

квадратных лицах, они цепляли цыганистым оценивающим уголком глаза. В Воронеже два типа женских лиц: одни полные, лунообразные, круглые, с выступающими вперёд щеками — в них есть что-то монголоидное, древнее; а другие — с русыми волосами и рязанской голубизной в глазах.

Волна солёной слёзной тоски накатывала, и Мария ускорила шаг, подчиняя себя деловому ритму.

Встреча эта на мгновение, пока он был рядом, окрасила всё в тёплые оттенки юности.

* * *

Ночью Марии снилась ослепительная солнечная метель. И мальчик девяти лет поколачивал трёхгодовалую девочку, приучая подавать ему чай и кланяться. Сон стал калейдоскопом странных картинок. «Тебе немножко нравится играть со мной, а мне с тобой». И шло высвечивание или угасание чувств, они, отработав своё, перевоплощались в слова и мысли. Одиночество отнимает жизнь чувственную, но вознаграждает миром образов и мыслей. Надо заставить себя думать, а не чувствовать. И всё-таки какая холодная, безмолвная ночь одиночества! Мыслями управлять

легче, чем чувствами; эмоции, как волны в океане, — захлёстывают. Люди чаще тонут от страха, а не от усталости. Мысль управляема, эта посудинка снабжена бывает не только парусами, но и вёслами про запас. Куда-нибудь да выгребешь: греби — не обращай внимания на усталость.

«Я люблю тебя, ты не понимаешь этого», — повторял он словно в бреду.

Она не понимала, как можно любить — и не желать ребёнка от любимой женщины!

А потом она видела во сне белую сирень, первый поцелуй. Будто бы он открыл окно в заросли сирени и к нему влетел голубь. Он разговаривал с голубем, как с её душой.

Сновидения долго мучили и не отпускали. Она проснулась поздно. Какой прозрачный осенний день! Как ярко: ярче, чем весной, светит остывающее солнце.

Мария ждала, когда созреет решимость пойти к врачу. Ночной сон теперь не приносил отдыха, а только отнимал силы, которые удавалось накопить днём. Она попробовала найти работу, но поняла, что в таком случае навсегда останется здесь, и через неделю прекратила поиски. Наконец пришла в женскую консультацию.

— Вы считаете себя беременной? — внимательно

но посмотрела на неё врач. — Раздевайтесь.

Теперь всё катилось, как снежный ком с горы, разрушая одушевлённый храм волнами страстей и смятения. Белизна радости перемешивалась с ранящим душу серым песком горечи от ошибки в любви. Всё было в бесформенном виде, и от этого становилось ещё невыносимее на душе.

Женский монастырь. Красивые монахини в чёрных одеяниях. Она перекинула шарфик с плеч на голову и вошла в обитель. Вот очередь ожидающих исповеди как оставления грехов. У Марии не осталось сил бороться с собой, нужно было кому-то поведать о своей боли. Всем ли дано обновить свою душу покаянием? То страх окутывал её, то радость, ощущение беременности то усиливалось, то гасло совсем, нить надежды обрывалась, и всё погружалось в отчаяние и страх одиночества. Но сильнее всего в этом хаосе звучало беспокойство о дочери, она боялась её глаз.

Родить без мужа Мария решилась бы и выдержала бы все мнимые и реальные упрёки, но не вынесла бы одного — непонимания дочери. Рождением этого ребёнка, она думала, оттолкнёт дочь, бросит её в бездну смятения, заронит в душу непонимание жизни, неверие людям. К исповеди она не была готова, поэтому, когда

увидела, что людей вокруг батюшки всё больше и больше, отошла, боясь, что она кого-то опередит и времени не хватит для всех. Это как батюшка выходит: «Христос Воскрес!» И ты летишь. Нет ни толпы, ни стен, и ты как бестелесная. Как это было с нею однажды в Санкт-Петербурге, там, где похоронено сердце Кутузова. Величественный купол Казанского собора. И вдруг, выйдя из церкви, она ясно почувствовала, что не сможет сделать аборт, как бы ни складывались против неё обстоятельства.

В понедельник пришла на вокзал и купила билет на вечерний поезд. Положила в чемодан тёплые вещи — в Москве осень начинается раньше.

Узкий коридор купейного вагона, дверь с зеркалом изнутри, радостный перестук колёс.

Утром, когда за окном мелькали пригородные станции Подмосковья, — ликующее чувство, будто она не в конце пути, а в начале.

Мария решила, надо сделать УЗИ ещё раз. Кто просветит чувства? Бывают ошибки, и врачи ошибаются.

Первая волна в этой любви — стеснительность, последняя — властность.

«Я не хочу оставаться одна. Когда я остаюсь од-

на, я плохо о тебе думаю». — «Значит, ты меня не любишь». — Играет в любви тот, кто чувствует, что если он перестанет играть, то сразу станет неинтересен.

Может быть, и не хотелось ему вовсе играть. Если он по натуре азартен, это может продолжаться долго, если игра — напряжение, то действие быстро заканчивается и опускается занавес.

«Чем он удержал меня? Возможно, мы жизнь перепутали с игрой? И потом будем жалеть о том, что всё это было?» Мужчины как будто нарочно подвергают бессмысленно жестоким испытаниям тех женщин, которых любят. «Тебе нужна формальность? — говорит он ей. — Значит, ты меня не любишь!» И уходит на какое-то время. И возвращается, когда она от отчаяния уже теряет надежду. И он опять страстно и нежно любим. А потом выдумает невыдуманную историю о невозможности земной любви. «Я рассказывал тебе… Я люблю одну женщину. Она погибла». И здесь нет ошибки для корректора. Время глагола выбрано правильно. Именно в этой ошибке времени «люблю — любил» и заключается весь пафос любви живой женщины к мужчине, который продолжает любить мёртвую. Это уже стопроцентный успех, она будет метаться в его

мёртвых сетях любви до конца. До последнего шага бороться за его душу.

Мёртвых можно помнить, но нельзя любить. Любовь — это живое чувство, и настоящая женщина непременно начнёт оживлять, рожать, создавать, выращивать. Тут сработают все инстинкты, страшной тайне послужившие. Надежда ненадёжных. Какое вам тут рассуждение о подсознательном? А уж лукавый разум таких поднесёт сюжетов, что и романисту не угнаться.

Мария стала думать о матери, об отце. Модное веяние ДНК коснулось и её. Неужели правда, что она дочь дипломата, а все мытарства и странствия в нищете и бездомности — нелепая случайность?

22. Небожители подвала

В МИДе Российской Федерации прошло заметное событие: дипломаты накануне своего профессионального праздника — Дня дипломатического работника.

Оля писала статью для газеты, побывав на празднике.

Главное, подготовили подарок коллегам и российским читателям. Вышел в свет поэтический

сборник «Моя Смоленка». Молодая журналистка была взволнована, впервые ей поручили брать интервью у дипломатов. Ей казалось, что это люди особого ранга, небожители. Дипломаты со Смоленки вызывали, будили в ней генетическую память, страсть, хотелось стать рядом с ними, быть такой же. Отец? Отче? Лучше был бы он простым инженером, но с ней. Она терзалась любопытством и при этом грустила, словно её обманули, но всё искала, что дало бы ответы на вопросы в её судьбе.

Иногда, чтобы окружить себя творческой атмосферой, девушка приходила в нижний буфет ЦДЛ с ноутбуком и работала.

Этот кафешный уголок писатели называли подвалом, а себя — небожителями.

Вот написала первый абзац и ждала волны вдохновения, которая поднимет над бытом и перенесёт её в другую реальность. Но время было ограничено. И пришлось писать рутинно, по шаблону. Потом она переработает, как ей хочется, а сейчас это заметка для газеты.

Когда Оля брала интервью у небожителей подвала, она держалась просто, ей было легко, словно она выросла среди них и была дочерью дипломата. А сейчас перед белым экраном она

растерялась. Хотелось прочитать свои наброски вслух или дать кому-то. Но кому? Виктору Пронину? Вот он сидит маленький, как семиклассник, в кепочке с красным лоскутком. Или Владимиру Личутину? Он солянку с оливками и сметаной ложкой хлебает. Она села к Пронину, положила перед ним не заметку о дипломатах, а свои короткие рассказы в распечатке.

— Почитаете?

Он молча придвинул один рассказ, прочитал одну страницу, другую… пятую.

Она ждала. Потом потянулась за рукописью. Но он властно, по-мужски сгрёб остальные и засунул в свой портфель. И, поправляя кепочку с красным лоскутком, посмотрел на неё с улыбочкой.

— Прочитаю дома.

— Спасибо.

Вот и волну поймала. Ей захотелось писать об этих странных людях — писателях, архитекторах, дипработниках, старой советской интеллигенции.

Вернулась за свой столик, где стыли остатки солянки с белыми, как облака, ошмётками сметаны. И начала печатать. «С выходом книги пришли поздравить дипломатов председатель Союза писателей России Валерий Ганичев, председа-

тель Союза писателей Москвы Владимир Гусев, главный редактор “Исторической газеты” Анатолий Парпара и другие. Поэтический сборник “Моя Смоленка” выпущен издательством “Фонд им. М. Ю. Лермонтова”. Над книгой работали редакторы Гвенцадзе, Казимиров, Кувакин, Масалов. Масалов, презентуя новую книгу, в которой публиковался и сам, рассказал о коллегах — авторах коллективного сборника. Издание является результатом многолетней работы мидовского литературного объединения “Отдушина”. Сегодняшние авторы — это заслуженные люди, о каждом из них можно написать. Олег Озеров — заместитель директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки, пять лет работал в Тунисе, пять лет — во Франции. Борис Курочкин — член Союза писателей России — профессии дипкурьера отдал двадцать три года. Александр Бессмертных — президент Международной внешнеполитической ассоциации — работает над большой книгой, в которой хочет провести читателя дипломатическими тропами. Юрий Алимов первым задумал выпускать сборники стихов. Владимир Казимиров был послом Советского Союза и России. Работал в Европе, специалист по Латинской Америке. Гвенцадзе — бывший посол

в Ирландии, пишет, переводит на французский, английский».

Для Сергея Лаврова этот день был особенно праздничным: министр иностранных дел Российской Федерации получил билет члена Союза писателей России. Родился в 1950-м. Фамилия по маме. Мама из Ногинска, а у папы кровь армянская. Родители из торгового представительства. Для большой литературы это всё равно что дилетантизм и интеллектуальное убожество, казалось молодой высокомерной девушке.

Евгений Примаков сменил Андрея Козырева в США. Издал книгу «Встречи на перекрёстках». Бабушка владела ивритом. Пишет стихи. Оля была в его резиденции ИППО. Он показался ей тяжёл в общении: ни слова в сторону от официоза и регламента. Может, это часть профессии? А как же свободное слово поэзии? Оля брала у Примакова интервью, которое так и не опубликовали, вероятно, особый статус был необходим. Она увидела этого человека с другой стороны, о которой писать не хотелось, поэтому она не очень расстроилась, что не пошло в номер.

В нижний буфет ЦДЛ вошёл Пётр Стегний, хотя вип-сотрудники обычно не спускались сюда, где собирались небожители подвала, а шли прямо по

фойе в ресторан. Она радостно кивнула, вспоминая визит к нему домой.

Оля прочитала книгу «Жизнь и судьба Игумена Серафима (Кузнецова)» и восхитилась лаконичностью, дипломатичностью стиля. Была на презентации в музее Марфо-Мариинской обители.

Пётр Стегний свою книгу писал, работая в Израиле, в перерывах между протоколами, переговорами, урегулированиями. Но даже талант у дипломата под контролем — рождается дипломатическая проза. И всё же интересно, не сухо, не занудно. А это главное, как казалось девушке. Он, общаясь с церковными служителями, уже стал вхож в алтарь.

23. В общежитии Литинститута

Как только Оля стала студенткой Литературного института, Вадим Николаевич принялся уделять ей столько заботливого внимания, словно пытался заменить ей и отца, и всех мужчин на свете. Убегая то ли от этой всепоглощающей опеки, то ли от особой атмосферы, которая была в доме тёти Киры, Оля с большой радостью перешла в общежитие.

Жизнь превращается в общую, если перебираешься в общежитие. Здесь все про всех всё знают. Общежитие — дом родной. Ошеломляющая открытость. Родство без родства. Пока идёшь с полотенцем и зубной щёткой в комнату для умывания, можешь встретиться с кем угодно. Если ты забыла на кухне чайник — нет проблем — всегда найдётся кому выключить. Жизнь в общежитии, как жизнь в поезде, только не стучат колёса. Для кого дорога — праздник, для того и общежитие — дорога. Олиной соседкой оказалась девушка из Японии Хаинь, высокая и интересная.

Хаинь вошла к Оле возбуждённая.

— Что это? — Хаинь подошла к окну, открыла створку.

Холод ворвался в комнату из осенней столичной ночи. И вдруг Оля увидела светящийся луч, как от праздничной ракетницы, и услышала гул. Она не обращала внимания на эти приглушённые звуки, пока не зашла японка.

— Салют?! — радостно произнесла Оля. — Сегодня, наверное, какой-то праздник?

— Салют? — воспроизвела Хаинь звучание нового русского слова, ничего для неё пока не значащего, но в голосе осталось напряжение. — Извини, я там… Моя комната есть словарь…

— Салют — это праздник! — радовалась Оля.

— Праздник? — Хаинь широко улыбнулась, показывая ровные удивительно белые зубы. — Какой сегодня праздник?

— Не знаю, в Москве много праздников.

— Как много салют! — японская гостья смотрела, как вспыхивает московское небо.

Что за шаги в коридоре, голоса, крик, кто-то пробежал, хлопнул дверью? Оля вышла. Повсюду хлопали двери, и, казалось, все заняты тем, что перебегают из одной комнаты в другую, как бывает в канун Нового года.

Пронеслась по затемнённому коридору Альбина Щукина и вскрикнула пронзительно:

— Война!

Хаинь замерла в проёме между коридором и комнатой.

— Где война? — уловила она смысл брошенного слова.

— Везде война, Хаинь! — кружила Альбина, словно запутавшись в собственных волосах, и было в этом безумное торжество новоявленной пророчицы. — Война!..

— Ах! — Хаинь произнесла что-то по-японски, глаза её большие и тёмные сверкали испугом и отчаянием, в них будто мелькнул взрыв атомной

бомбы. — Ах! Моя мама! Война!

Оля вернулась в свою комнату, словно в укрытие. «Салют» на чёрном московском небе становился более зловеще-торжествующим. Она включила радио. Японка смотрела на неё, сейчас для иностранки всё зависело от того, что скажет эта русская девушка, а не российское радио. В страшном напряжении русской речи по радио она не могла уловить почти ни слова, кроме «Россия», «россияне», «в Москве»… Из этих слов можно было выдумать какую угодно историю.

— Нет, Хаинь, война не везде, война только в Москве.

— Почему Москва — война? Кто на Москву?

— Маленькая война, — Оле было грустно объяснять это и стыдно.

— Только тут, больше нигде. Это телевышка! Война. Там стреляют.

— Что там? Почему ТВ стреляет?

— Надо слушать радио.

Молодая японка смотрела то на висящее на стене радио, то в глаза Оли. Иностранка пыталась понять, насколько теперь опасно в Москве.

Всю ночь радио выбивало непонятную словесную дробь. Уроженка Пекина Хаинь всю жизнь прожила в Токио и теперь боялась идти в свою

комнату. Но, когда стало светать, решилась вернуться в своё не очень-то уютное жильё. Когда она ехала в Москву, представляла себе здесь жизнь другой: интересной, красивой, праздничной. Хаинь много рассказывала своим ученикам о Москве. А когда, подавив страх, она заснула, ей опять стала сниться прекрасная Москва: в её снах всегда побеждала девичья сказка.

Сказку прервал грубый стук в дверь.

— Ваш паспорт! Удостоверение!

Первое предложение Хаинь поняла, но второе насторожило.

— Я не русская. Я из Японии.

— Иностранка? — омоновцу было не до сентиментальностей гостеприимства, главное, чтобы фотография в паспорте и живое лицо совпадали. И прописка была на месте. — Окей! — выразил он своё согласие и вернул паспорт.

Тех, у кого были не все документы, они уводили. Полчаса шмонали на третьем этаже — один шкет кинулся драться, пришлось поставить на четвереньки, таких семиэтажек нужно было обойти шесть, а они тут застряли. Студенты… Они, видите ли, не привыкли вставать рано. А ОМОНу спать не хочется: роботов по очистке улиц от грязи и бандитов пока нет.

Японка, словно прониклась пониманием трудностей работы русской полиции: в её глазах было желание быстро выполнить их любое требование, чтобы не задерживать и тем помочь им, а может быть, и себе. Такое участливое внимание было для омоновца необычным и как будто придавало уверенности и силы.

Японка опять подошла к окну, «салют» всё продолжался.

Оля с друзьями вышла на улицу. Костёр вспыхивает и стреляет мелкими звёздочками в темноту. Искры касаются грубых ботинок, рабочих курток, ватников, но никто не обращает на это внимания. Утро уже близко, и холод достаёт сильнее, и всё чаще подбрасывают в огонь обломки досок, кладут ближе сырые ветки деревьев, чтобы подсыхали и потом не дымили. Вот стали высвечиваться слегка, как тени, обрезки труб, вывороченные булыжники брусчатки, стальные прутья, придерживающие до этого ковровые дорожки в «Белом доме», бутылки… Полковник убрал бинокль от глаз. Он видел всё это уже несколько дней, и теперь ни бинокль, ни свет ему не были нужны. Бутылки эти ходили по рукам вчера. Водкой согревались. Во многие бутылки заливали потом воду, а говорили, что бензин. Эту

идею подал генерал, надеясь отпугнуть танки. Танки…

Борис Константинович не верил в танки. Да и кому нужны подвиги Матросовых, Корчагиных? Забава для детей среднего школьного возраста? Старые игры с новыми названиями… В эту ночь ему отдохнуть не удалось, хотя всегда перед полётом, в любой ситуации, он умел заставить себя уснуть на три с половиной часа. Время. Оно то летит, то ползёт медленно, тягуче. Перед серьёзным делом всегда нужен хороший отдых. Борис Константинович расстелил газету, положил под голову чей-то дипломат и лёг. Но шея быстро затекла, он вернул дипломат на прежнее место. «Вот, оставил отпечатки пальцев, — чиркнуло в мыслях. — Что здесь будет после нас: завтра, послезавтра?.. Нет… Не уснуть. Вот слышно, как что-то щёлкает, словно разрываются почки на тополях… Тихо-тихо падают, как мелкий стеклянный дождь. Что это я? Куда попал?

— Баба Дуся, бывает на земле стеклянный дождь?

— Как же, сынок, это всё в Писании сказано. И придёт Страшный суд… А дед мой опять ко мне приходил. Вот… Холодно, говорит, мне одному лежать, в земле-то. «За мной, значит, сам

пришёл?» — спрашиваю. — «Нет. Я тебя к себе не зову. Я пришёл тут на тебя посмотреть. А ты мне сама пошли туда кого-нибудь, чтоб не одному». — «Кого же тебе, дед, надо?» — «Ты сама реши, я военный человек». — «Дед, а дед, что ж ты меня заставляешь брать на себя такую ношу?» — «Ты только укажи мне, кто из вас тут позначительнее, поважнее, чтоб все слушали. Чтоб войны не было, а миром решить, чтоб народно говорил. Верно». — «Дед, да кого ж послать? Я ж никак не соображу… Может, сбегаю бабку Таню спрошу?» — «Только не говори, что я здесь, а то заболтаешься, забудешь, что я умер, а мне нельзя, чтоб меня видели, а то опять на Страшный суд поведут». — «А ты уж там был?» — «А как же, все были…» — «И что?» — «Человек ты военный, вот такой был мне сказ, лежи, говорят мне, теперь и отдыхай, не будем тебя тревожить, только одно задание тебе дадим». — «Это вот что ты ко мне пришёл?» — «Нет, к тебе я у старшого отпросился. А вот я должен им человека указать, чтобы он был значительный, важный, а главное, говорят, чтоб не врал, они это враньё там очень как не любят. Приведи, а иначе, говорят, не пустим. Ты только недолго». Побёгла я, одна нога там, перевернулась в дверь туда-сюда… Вот и пришла,

вишь, — показала на себя рукой баба Дуся, — другая нога уже тут.

А рядом с ней сам Борис Константинович, как в зеркале.

— Это самый значительный, — утверждает баба Дуся. — Важнее у нас в деревне нету. Сон греховный тяготит сердце моё. Где оно — божественное бесстрастие? Страх чистейший Божий даждь мне… Все мы в беззакониях зачаты, во гресях рождены. Дед, дед… Дед! Да где же ты? Дед, да был ли ты тут? Дед… Да кто там стучит? Кто стучит?! А, это вы, Борис Константинович? А я думала, что дед мой вернулся. Проходите, ложитесь…

Полковник хотел лечь поудобнее, повернулся и вдруг ясно услышал всё. Стреляют! Вскочил.

Вот оно! Пошло… Время? А… шесть сорок три! В шесть ноль ноль атака не началась. Почему? Где Руцкой? Почему их не слышно? Не мог же я проспать их распоряжения? Стреляют, стреляют… Со стороны Краснопресненской набережной расстрел баррикадников? Но у них же только палки да камни! Не-е-ет, это не фашизм, это… Государственный деятель? Кто дал такой приказ? Связи, связи нет. Что там происходило? Кому нужна наша кровь? Это не путч, это не гражданская война. Теперь, Александр Владимирович, посадку вам

не дадут. Лететь будем! По кабинетам депутатов огонь? Решились? Что? Огонь на упреждение в обрез? Всё, мой дальновидящий дружок, лезь, прячься в футляр, работа пока твоя не нужна, теперь нужно смотреть, что ближе, а что дальше — увидим.

— Огонь не открывать! — наконец-то заговорил Руцкой.

Но почему не было предварительных предупреждений? Не предложено условий? Это не Афган, мы все говорим на русском языке.

— Огонь ни в коем случае не открывать!

Проснулся и главнокомандующий, очухался от димедрола… Обезболивающее! Почему-то у полковника именно это сейчас вызвало раздражение. Война под димедролом… Семь часов сна он, конечно, обеспечил себе, но кто бы его выпустил в полёт после такого сна, если он не мог сам себя заставить заснуть, сидел бы у бабы под юбкой.

— Снаряжаемся? — заскочил баркашовец, в руках у него два автомата. Один подал полковнику. — Это для вас.

— Был приказ не стрелять.

— В нас стреляют! Берёшь? — смотрел он в глаза с таким напором, что нелегко было вы-

держать. — Смотри! — вспыхнула обречённая решимость. — Отдам другому?

— Я не смогу убивать своих.

— Тогда — милому гостю домой пора.

Полковник в суматохе, в почти охотничьем азарте потянулся за автоматом. Но приклад показался ему слишком тяжёл. И старое чувство шевельнулось в нём, словно взял в долг очень большую сумму, которую не сможет вернуть. Он не любил занимать, самое сильное чувство неуважения к себе испытывал именно в такие моменты — возникало ощущение своей немощности. Это было редко. Сейчас Борис Константинович чувствовал, как нарастает это ощущение и подавляет его бурными помыслами.

— А ты не убивай, ты защищай. Мы защитники, а не наёмные убийцы — те, что там! Здесь работает парламент, здесь депутаты, которых избрал народ! Я даю тебе автомат в память о погибших в Афгане. — Хватит митингов. Оставь.

Он положил на примятые газетные листы тяжёлые обоймы с патронами рядом, ударившись стволом об пол.

В бинокль полковник опять разглядел всю декорацию баррикад. Что за скоморохи соорудили это? Тоже строители — смотрите, ещё возводят

ковчежец, позлащённый духом… И в бинокль все люди показались детьми рядом с ползущими на них БТРами. Раз, два, три… Выскочат справа. Баррикадники их ещё не видят. Вот… Сейчас… Стреляют. Остановились. Высадка. Прячутся за домики автопредприятия. Укрытие?

Расстрел Белого дома… На смену Великому инквизитору пришёл Великий режиссёр. Толпой управляют, как зрителями в затемнённом театральном зале. Кому не нравится сценарий, не нужно было приходить и брать билет. Театр военных действий продолжается.

* * *

Он пробежал метров двести до бункера. В спортзале — человек семьсот, как в бомбоубежище, пережидали ночь. Эта скученность, стадность гасила в них чувство тревоги, и они смотрели свои сны, как дети. И кровь, как самый тяжкий грех, заставит сделать выбор между добром и злом, и познание этого добра и зла станет смыслом их жизни, и они уже захотят знания о жизни, не счастливого невинного детского забвения, а всей правды. Он сам не прошёл Афган, но похоронил сына и знал, какой ценой даётся это прозрение, это познание истины и правды. Вот так же спал и

его сын там, в Афгане, и так же открывали огонь. Теперь ему нужно разбудить этих счастливо спящих людей. Защитников Отечества… Он поэт, а все поэты — дети.

— Вставай, страна огромная, — запел он громким голосом, как на эстраде. — Вставай на смертный бой…

Но вдруг вошли то ли макашовцы, то ли ещё кто в форме макашовцев. Вот за такую же шутку он уже заплатил сыном-первенцем. Рванулся опять в коридор.

* * *

На улицу вышли и Оля с Ильёй. Илья Байкалов считал себя человеком с писательским опытом, у него издано две книги. Его молодость воспринималась в салоне Киры как-то особенно, возможно, потому, что он невольно держался на равных с Вадимом Николаевичем. Это врождённое чувство равнозначности старшим как-то никого не задевало, словно его жизненный опыт накапливался ещё до рождения. Быть может, только рядом с Иваном Петровичем Корневым он казался моложе, как бы входил в свой возраст, словно этот старик тоже носил в себе опыт былых поколений. Илья вхож в дом. С ним Сашу

везде отпускали, он любил ей болтать о своих литературных стремлениях, ему было легко с этой своенравной девчонкой, говоря с ней, он как бы говорил сам с собой, будто с кошечкой или с собачкой. Сашенька платила ему тем же, но её детская привязанность была несколько сильнее, хотя она этого и не показывала, и не осознавала, пока не появилась Оля.

Илья влюбился, не замечая, что стал её тенью.

— Где ты вчера был, когда стреляли? — смотрела на него Оля.

— Там.

— У телестудии? Ты там был? Расскажи… Пойдём туда.

— Не надо… — охлаждал Илья её порыв.

— Ты не пойдёшь со мной?

— Я говорю о тебе. Тебе не надо туда ходить… Зачем?

— Не знаю, зачем, но знаю, что пойду.

Они шли довольно быстро, но взметнувшаяся над крышами стрела Останкинской телевышки, казалось, не приближалась, а зависла, как мираж. Двинулись напрямую, миновали полотно железной дороги. И теперь оказались в потоке людей, идущих так же нетерпеливо-решительно. Следы пожара, стрельбы и крови. Застывший в крас-

ном сгустке мужской носовой платок, красные отпечатки подошв… Что за неудобовосходимые человеческие помыслы? Что за маляр, печальный и утруждённый, поработал здесь? Во что опускал он свою кисть, в какой растворитель, что выкрасилось это всё в подобный цвет? Мелкие стёкла хрустят… Троллейбусы искорёженные, с глубокими вмятинами. Расплющенный кузов машины. Но вот оцепили БТРы и военные грузовики и любопытных пешеходов заставили отдалиться.

— К Белому дому! Сейчас там начнётся. — Толпа растекалась. Оля увлекла Илью к Белому дому.

Стены высотных домов и асфальт, нет деревьев — нет чувства осени. От усталости Оле хотелось присесть, но серый асфальт упирался в стены, и не было скамейки.

— Устала? — Илья всегда угадывал её состояние и сейчас, чувствуя себя виноватым, смотрел, куда бы её усадить. Он свернул во дворик.

— Давай сядем на газон, на кленовый ковёр.

— Простудишься. Да и не дадут тут сидеть, вон патруль.

— Почему иностранцам можно?

— И вьетнамцам, и албанцам, и цыганам… Первые омоновцы никого не останавливали, никого не спрашивали. Прохожих, идущих к Дому

Советов, становилось всё больше. Теперь стали идти и навстречу. Во всех было что-то необычное, словно те, что шли туда, чего-то ждали, а те, что шли назад, решили, что лучше не ждать.

Все проходили через дыру в заборе, просторную и широкую, как ворота.

— Куда идёте? — наконец остановил омоновец, похожий на студента.

— Мы из Литературного института, — словно пароль произнесла Оля.

— Писательница? — хмыкнул парень, перебросив автомат с одного плеча на другое. — Вы видите, все оттуда уходят. Потом писать будете, когда всё кончится, а сейчас не лезьте.

— Почему нам нельзя, а им можно? — играла капризным голосом Оля, показывая на шмыгнувших в дыру парней. — Мы тоже хотим всё увидеть, — Оля обходила омоновца, улыбаясь ему.

— Здесь нельзя! — повысил он голос, останавливая парней. — Дворами… — показал на другую дыру в металлической ограде.

Оля быстро прошла, пригнулась, проскочила, увлекая за руку Илью. И вдруг нахлынула тревожная весёлость, словно она попала наконец туда, где должно произойти необычное, важное,

что всё сразу изменит. — Вижу! — устремилась она, туда, где был насыпан песок для детской площадки.

Илья посмотрел, куда она направилась, и рассмеялся. Она плюхнулась на деревянную лавочку.

— Вояка, — он смотрел на неё, ему нравилось, что она всё смешивала: и беспокойную серьёзность, и женскую усталость, была в ней почти детская непосредственность.

— Смеёшься? — начала она обижаться. — Ну, устала я, устала…

Когда она отдыхала рядом с ним, ей казалось, что она дома, что мама где-то близко и всё, что вокруг, может принести только радость и тишину. У неё не было брата, и близость его восполняла это. Радость близости переполняла её, была так непостижимо нова, что она не умела и не пыталась объяснить себе это. Она не боялась, что это может разрушиться.

Она забылась на минуту. Открыла глаза: в дыру проникали небольшими группами старики, жаждущие зрелищ, студенты, желающие видеть жизнь своими глазами. Тревога их возбуждала, и они казались радостными.

Но такое же необоснованное чувство уверен-

ности было и в Оле. Вот она ясно слышит звуки выстрелов, но они не останавливают, а заставляют идти быстрее. Куда, откуда, в кого стреляют? Казалось, там, куда они идут, большое сердце и оно выдаёт эти бухающие толчки.

Наконец-то они вышли из дворов. Вдоль дороги стояли двумя колоннами бронемашины. Перед машинами — военные. Машины как бы образовали коридор. Оля невольно устремилась в него. Голубоглазый лейтенант остановил их:

— Тут стреляют.

— Здесь? — не поняла Оля, ведь он, лейтенант, стоит здесь так же открыто, как идут и они.

— Всё простреливается… Вон там снайперы, они стреляют везде…

— А разве стреляют не по Белому дому?

— Тут трудно сказать, кто куда стреляет, но в таких ситуациях шальные пули всегда есть. Держитесь за машинами. Но здесь нельзя… — А вон пошли люди…

— У них пропуск, они здесь живут…

Оля потянула Илью за руку, боясь, что с ним не будут так долго объясняться, а просто прикажут и заставят вернуться. Теперь при каждом выстреле ей казалось, что стреляют в неё. Страх подхлёстывал идти дальше, но куда дальше, она не знала.

— Стоять! Куда идёте? — наперерез им шёл омоновец. — Не видите — тут стреляют?

— Не видим, — подалась плечами вперёд Оля от его грубого окрика.

— Назад!

— Не кричите.

— Что?! — он вскинул автомат. — Кругом!

Байкалов повернулся, Оля с раздражённой ненавистью хотела крикнуть в лицо омоновцу, но удержалась, видя, как Илья послушно выполняет команду.

— Вперёд! — ткнул Байкалова стволом в спину омоновец. Он был так восхищён, так вознесён своею властью в этот миг над человеком, словно «боготечную звезду узревше».

Оля с ужасом смотрела на чёрный металлический ствол автомата и чувствовала зловещую тьму дула. Память выдавливала кадры фильма: ведут партизан на расстрел. Человек с автоматом — кто он? Почему так зафиксировала её память детства? Страх парализует? А почему Илья знает, куда идти? Вдоль БТРов… через дорогу… к автобусам. «Если на стене висит ружьё, оно непременно выстрелит», — сидели у неё в голове слова одного литератора. А если оно уже в руках человека? А если оно уже направлено в спину человека?

Омоновец подвёл Байкалова к автобусам и привычно перекинул автомат через плечо.

— Почему вы позволяете себе это делать? — не удержалась Оля, когда Илья смешался с толпой.

— Что?! — уставился на неё омоновец. — Кто это разговаривает? — Он схватил девушку за руку, удивляясь её запоздалой смелости. — Ты? — Почему вы говорите мне «ты»? Уберите руки!

— Да ты знаешь, что с тобой сделают? А ну марш отсюда! Говорить научилась? — лицо исказилось злобой.

— Не кричите! — вырвалась она из его тяжёлой руки. — Вам никто не давал права кричать на нас.

— Здесь нельзя находиться!

— Для этого есть слова, и не орать надо, а говорить! Здесь люди…

— Что?! Эти гады вас тут всех с дерьмом сравняют!

— Пока я вижу, что это делаете вы!

— Что?! — он опять схватил её за руку и потянул к автобусу. — Провокации устраивать?!

— Это вы гады! — она невольно отступила в толпу.

— Что?! Кто гады? — он приблизился, но кто-то оказался между нею и омоновцем.

— Посмотрите в зеркало и увидите своё лицо, — ей никто не мешал говорить, только глубже втягивала толпа в свою толщу.

Когда Оля замолчала и опомнилась, кругом были парни и девушки, старики и просто люди, трудно было сказать про их возраст, род деятельности и образование. Но она чувствовала себя в какой-то безопасности и надёжности, словно эта стена из людей не простреливалась. И вдруг почувствовала лёгкость и спокойствие, исчез страх перед всей этой стрельбой. Словно в руках у них были автоматы не из стали, а из папье- маше. Кто бы помог лености тягчайший сон оттрясти. Как говорила бабушка — «омраченныя просветити». И вдруг возникли у неё вопросы.

Почему государственный деятель вышел на августовский балкончик Белого дома в окружении поэтического дарования и генералов и никто два года назад не выстрелил, а сейчас он отдал приказ стрелять? Никто из тех, кто сейчас окружает Олю, не поверил бы тому, что президент не знает об этой бойне. В августе девяносто первого был дождь, обыкновенный августовский, московский. Они с мамой, Сашей и дедушкой приехали в Москву отдыхать. Почему сейчас дождь из свинца? Она смотрела в лица людей, и ей казалось,

что об этом думает каждый. И никто не хочет верить тому, что происходит перед ними. Это те же люди, которые были в девяносто первом году, когда её мама много и подробно рассказывала об этом Белом доме. За два года они потеряли веру в своего президента?.. Стреляют, стреляют, стреляют… — Ты откуда? — сорвалась Оля на «ты», протолкнувшись к парню с автоматом. — Из какого города?

— Я? — улыбка и недоумённый взгляд. — Я тут при чём?

— Может, земляки?

— Орловская область? У тебя говор не такой.

— Из деревни?

— А что? — продолжал натужно улыбаться.

— Зачем автомат взял? — Олю раздражала его улыбка. — Это зачем?

— Я солдат!

— Он же стреляет!

— А вы не лезьте, и он стрелять не будет.

— Так тебя же спрашивать не будут, тебе прикажут и всё. И ты стрелять будешь! Стрелять в нас! В меня!

Оля словно пощёчиной смахнула с его лица идиотскую улыбку, которая напомнила ей Бориса Зуйкова из Клёповки, из-за которого похоронили

девочку.

— А ты что бы сделала? — он терял сдержанность, злился.

— Я хочу в Белый дом. На переговоры!

— Я пропущу! — смотрели они друг на друга, как два сумасшедших. — Но там есть другая цепь солдат.

— А ты за себя отвечай!

— Иди! — подтолкнул её в плечо, теряя над собой контроль. — И автомат дам!

— Давай!

— На!

Оля оглянулась. Её отделяло от толпы шагов десять. Ильи рядом не было.

— Ты предал народ! — Она смотрела прямо в его злобно насмешливые глаза. — Ты трус!

— Иди! — Он сорвал с плеча автомат и грубо сунул ей в руки. — Бери! Ну?

Оля растерялась. В секунду, в которую он дал ей притронуться к личному оружию, она почувствовала всю безысходность человека от военной дисциплины. Сзади в спину смеялись, но не злобно, а с мягкой насмешливостью, так, как смеются над женщиной, расхрабрившейся поднять непосильный груз. Это же табельное оружие, без него парню каюк, трибунал.

— Пойдём, — кто-то взял её не за руку, а как-то за рукав куртки выше локтя и тянул как учитель непослушного ученика. — Пойдём!

Она оглянулась, это был не Байкалов. Но в голосе строгая, родительская требовательность. Она не могла его не послушаться. Люди в толпе перед ней расступались, давая дорогу, словно она совершила хоть и смешной, но всё же героический поступок. Здесь, в этот момент, видимо, всё прощалось друг другу, словно проходила проба, и каждому давался шанс проверить и понять себя. В чём он, спасительный талант веры народа? Вот она, историческая память, не в кино. Где, в ком они, десятивековые корни? Оля вглядывалась в лица, словно ища подсказки на самом сложном из экзаменов. Но лица людей были такие же, какие она вчера видела в метро, в троллейбусе, в магазине.

Выстрелы участились, и теперь, казалось, всё вокруг взрывалось. Навязчиво лезли кадры из фильмов: бомбёжка, беженцы спасаются, женщина с ребёнком упала убитая осколком, ребёнок в страхе и трепете простёр ручонки вверх и громко испуганно плачет. Но снаряды рвались тут, в центре столицы, а люди разговаривали, и никто никуда не бежал и даже не поддавался угрозам

омоновцев, заставляющих уйти.

Молодой человек вёл её, не отпуская рукав куртки. А она чувствовала, что не хочет, не может уйти, как и эти люди, которых никто не тянул за рукав. Она словно чего-то ждала, и это чувство объединяло с теми, кто пришёл сюда. Она в стенах института видела, как и преподаватели, и студенты страстно мечтали об одном: о том, чтобы ничто их не тормозило, не связывало на творческом пути. Все хотят успеха. Сейчас происходило такое, что давало и отрешённость, и слияние со всеми. В самом воздухе повисло это особое волнение. Она не хотела, чтобы её уводили.

— Здесь хотят сделать последний день Помпеи! Ты что не понимаешь и не видишь уже ничего? Как у Бондарчука в последней серии «Войны и мира»… Не помнишь, гимн французский в конце сериала пропет не был?

— Перестаньте! Я не уйду отсюда!

— Тогда тебя увезут. Оглянись, уже в автобусы дубинками приглашают…

Они долго шли по обочине моста, не шли, а почти бежали. Выстрелы отдалялись и, к удивлению, совсем перестали быть слышны, словно там, на другом берегу, ничего не происходило. Чем дальше они отходили, тем нереальнее всё стано-

вилось, как бы растворялось в городской суете машин и пешеходов. В метро безмолвные лица, заслоняющиеся газетами, как вчера, позавчера, как в день её первого вступительного экзамена в Литинститут. Это было удивительно и страшно. Люди, живущие в одном городе, совсем не связаны друг с другом. Она смотрела в лица людей — заложников событий, которые совершались сегодня, здесь, вокруг.

— Куда мы пойдём? — склонил набок голову, давно не знавшую рук парикмахера, новый знакомый. — Давай ко мне, чаю попьём или чего-нибудь покрепче — расслабиться.

Его голос показался ей ненастоящим, фальшивым. Этот человек слегка качал головой из стороны в сторону, приподняв плечи. Было жутко, будто Москва на заклании. И вот сейчас затрубят трубы юбилейные и всё рухнет. В чьи руки предали Москву? И почему все вокруг делают вид, что ничего не происходит? Цветы продают.

— Хочешь миллион алых роз? — уголки рта опущены, словно он укололся о красивые шипы.

Оля вздрогнула, будто до сих пор была одна и услышала чей-то голос.

— Розу Иерихона? — она наконец посмотрела на него уверенная, что он её не понимает.

Нет, она не хочет розу. Когда тебя не может понять никто, лучше остаться одной.

— Сейчас, наверное, можно больше узнать по радио и по телевизору, — размышлял новый знакомый. — Пойдём ко мне…

Нет, она пойдёт в общежитие, чтобы там остаться одной.

На вахте для неё была записка: «Зайди к тёте Кире. Ждём».

* * *

«Марток — надевай семь порток», — Вениамин Шершнев помнит, что его мать встречала весну на две недели позже — по старому стилю.

«Осенью семнадцатого года календарь сменили, и новый стиль ввели, и октябрь стали называть ноябрём — прямо тебе реформы Петра Великого. И ноябрь стали называть октябрём. Праздники почти восемьдесят лет по радио и телевидению называли ноябрьскими, приучали народ, а революция так и осталась Октябрьской. «Осенью в России всегда много шумели: по деревням свадьбы играют, в городах реформы да перевороты. Из золотой осени делают кровавую. Седьмое ноября — красный день календаря. Кроваво-золотая листва под ногами — вот вам и

клейкие листочки. Эх, ни Достоевского, ни Толстого, ни даже Бунина… Всё какая-то мелочь, и пишут о мелком уязвлённые гордыней. События какие разворачиваются! А они всё: цветочки, картиночки, прогулки по Елисейским полям. Закольцовывает время восьмой десяток лет эксперимента русского социализма, дни осыпались, как золото листьев, и дела обнажились», — так думал офицер в отставке Шершнев, приехав в Москву для подготовки операции на сердце.

Торопливо шёл он по набережной Москвы-реки, перекидывая непривычно трость, которая не столько служила ему опорой, сколько придавала уверенности, которую теряешь, когда долго лежишь на больничной койке. Но вот наконец он услышал гул толпы и увидел тысячи людей, полумесяцем расположившихся вокруг величественного здания Белого дома. Казалось, толпа бьётся о стеклянный занавес, за магическим кругом которого тайна, и она сделает понятным всё.

Шершнев невольно ускорил шаги, трость стала ударять по асфальту чаще, словно бежала за ним. Он удивился множеству возбуждённых женщин. «Предатели народа!» — скандировали они и махали руками. Было не совсем понятно, кому они бросают сии грозные обвинения. Он пробирался

в гущу, забывая, для чего брал трость. Шёл тридцать пятый день после ранения. «Один тромб нужно удалить и заменить клапан, — как решил хирург. — Обычная, рядовая операция».

И вдруг грохнул выстрел. Толпа смолкла, притаилась на мгновение, но только для того, чтобы с ещё большей силой взорваться. Эйфория возбуждения дошла до экстаза, всё вокруг ревело, безумствовало в словесных оскорблениях. Это страшное разрушение гармонии человеческого бытия творимо было выстрелами и взрывами, которые раздавались всё чаще и чаще. В суетящейся, возбуждённой толпе слышались и проклятия, и ликование. Как бороться с возбуждением толпы? Как защититься от разрушающих волн эмоциональных всплесков? Шершнев был в гуще толпы, но люди не толкали его, даже не задевали, а будто обтекали, словно чувствуя, что ему эта беснующаяся толпа чужда.

— Тоже мне, либералы! — крикнул в сердцах старичок в тёмных очках, споткнувшись о чужую трость. — Это в Москве-то стрелять?! Позор на весь мир!

Тряхнул тростью Венечка Шершнев, но воздержался вступать в дискуссию.

Толпа наконец стала расходиться, словно круги

от брошенного камня, теперь можно было идти, не расталкивая и не трогая никого.

Он сдерживал себя, чтобы нечаянным движением или словом не спровоцировать драку или не вызвать хамства, льющегося здесь сильным грязным потоком.

— Предатели! — кричала надрывно, словно на похоронах, женщина в круглой красной шляпе горшочком. Шляпа выдавала её возраст и социальное положение, во времена молодости эта женщина жила в большем достатке. — Правильно стреляют!

— Как?! Там же депутаты! — не понимал ликующей толпы старичок в тёмных очках. — Мы с вами их выбирали.

— Первый выстрел в Останкино сделали они! Предатели народа! Они спровоцировали.

— Первый выстрел был сделан спецназом «Витязь».

— Вы знаете, что сейчас в Белом доме находится десять тысяч человек?!

— Это не люди! — кровожадно скандировала пожилая женщина.

— Расстрелять! — Шляпа сползла ей на глаза, как горшочек, прикрыла пол-лица.

Старичок испуганно попятился от странной в

неистовом фанатизме пожилой женщины. Она могла бы быть ещё привлекательной, если бы её лицо не искажала злоба.

Однако женщина легко прокладывала себе дорогу, крича и размахивая руками. Вениамин пристроился следом и довольно свободно продвигался под её прикрытием. Они шли в гущу толпы, словно там была разгадка всех событий. Но вот над толпой пронёсся гул, толпа отхлынула от сцены действия и стала упорно выдавливать людей из центра на обочины.

— Разгоняют! Назад!

— Мы здесь с утра! — кричала в давящую толпу скандировавшая женщина. — Никуда мы не уйдём!

— С утра? — Шершнев подошёл к ней ближе. — Во сколько всё началось?

— В десять часов здесь стоял сплошной грохот, даже земля под ногами шевелилась.

— Вы тут были?

— Да говорю же, была! И начали стрелять из Белого дома, я всё видела. Это предатели народа!

— А почему они предатели народа? Они защищают парламент!

— Это вот так они защищают? — женщина впилась в него глазами и, казалось, вот-вот

бросится. — Этих предателей народа надо всех уничтожить!

— Назад!

— Куда прёшься? — обрушилась женщина в шляпе. — Тоже мне дворянин с тростью!

— Что вы меня толкаете?

— А ты что — на балет пришёл?

— Скажите, пожалуйста, вы-то зачем здесь? Вам дома надо сидеть, внуков нянчить.

— А тебе не нянчить! Ты своих и не видал никогда, скажи правду?

— Что вы мне тыкаете? Отжени от мене уныние.

— Господин какой! Вот там тоже были господа…

Он пересилил в себе обиду от оскорбления, отвернулся от женщины.

Обстрел усиливался, гул толпы нарастал.

— Что делают?! — воззвал старичок, глядя с прищуром сквозь очки. — Господи, кто же отвечать за это безобразие будет?

Вениамин неприятно поёжился, от старичка плохо пахло, какой-то залежалой плесневелостью. Но их прижимало друг к другу, толпа давила. — Ведь начало операции должно было быть в шесть, а начали на сорок минут позже.

Резко оглянулся Шершнев — кто же тут всё знает? Мудрецы сапожных дел. У Венечки отец — донской казак. А мать твердила ему с детства, что она шведских кровей. Сейчас ему эта версия особенно подходила — загранпаспортом он уже запасся и подумывал о смене подданства.

— Во! Бьют наших! — кучковались мужички, то ли бомжи, то ли пролетарии-пропойцы.

— Видать, солидно приняли на грудь! Хорошо им…

— Сплошной грохот, а этот гнусно подсевает, — прокомментировал кто-то.

— Говорят в спортзале, что тут десантники нужны!

— Или помощнее что-нибудь! Прямо с вертолётов сбросить что-нибудь.

— Парадную лестницу, если захватят, то баркашовцам крышка!

— Депутатов выводят.

— Всех?

— По одному.

— Ну, теперь можно подрывать, — махнул старичок рукой бомжам. — Похоронят их здесь. Белый дом будет братской могилой, — ощерился, показывая изъеденные кариесом жёлтые зубы. — Всё! Финита ля комедия! — Губы скривились

тонкой змейкой, и улыбка проползла по лицу и исчезла.

Стало противно смотреть в эти обезображенные страхом и восторгом лица, все люди казались Венечке сморщенными упырями, и мороз пробегал по коже не от выстрелов, а от зловещего маскарада.

И он стал протискиваться, чтобы выбраться из толпы. Но грохот сгонял всех в кучу, давка усиливалась. Вениамин Шершнев побоялся, что ему не хватит сил выбраться, если начнётся настоящая свалка. А с этой публикой всё возможно. И он, определив, с какой стороны давят больше, стал перемещаться, помогая себе и тростью, и локтями.

Но вот толкотня усилилась, сжалась в клубок, и вдруг все побежали. Этого он уже своему больному сердцу позволить не мог. Его толкали, двигали со всех сторон, но он стоял.

— Чего стоишь? Беги, осёл! — кто-то сзади ширнул его кулаком.

Он принял этот жест за дружеское участие, но бежать не мог — сердце явно давало серьёзные сбои, и последствия могут быть плачевные. Шёл, выбрасывая вперёд больничную трость, понимая, что останавливаться нельзя. Толпа неслась

мимо, как табун испуганных лошадей. И вдруг удар прожёг всю спину, ему показалось, что это взорвалось сердце. Но боль быстро стихла. Он оглянулся. Дубинка молодого омоновца обрушилась на замешкавшегося старика.

— Господи, просвяти мя светом неприкосновенным. — Со старика упали очки, он дёрнулся в попытке уклониться от дубинки и, споткнувшись, сам упал следом за очками. Встав на колени, стал поспешно собирать осколки тёмных стёкол.

Шершнев стукнул его по плечу тростью. Старик испуганно глянул на него, опомнился, вскочил и побежал, словно оса ростом с человека гналась за ним.

— Народ — стена необоримая, — продолжал он говорить, казалось, если он перестанет произносить слова вслух, перестанет и двигаться, и жить. — Понесу тяготу благую… Господи, любовию озари.

24. Октябрь 93-го

Октябрь 1993 года. На Горбатом мосту грохот, гром и молния сошлись в битве. Народ не безмолвствует. Огонь! Стреляют из пушек, из автоматов, из пулемётов.

Полковник верил и не верил глазам и ушам. В центре Москвы, в сердце России? Он с ужасом смотрел на всё, и мысли перепрыгивали одна через другую. Блокаду прорывают? Полковник смотрел на часы: восемь, девять… Огонь не прекращается… Чей это приказ? Теперь он понял, что остался не зря. Пусть не те депутаты, не тот проект, пусть будут десятки, сотни, тысячи ошибок, но они верили, что найдут верный выход. Теперь расстреливают не его, лётчика-истребителя, не Андрея-баркашовца, не депутатов, не Черномырдина, не Руцкого. Стреляли в народ. Это чёрный Белый дом.

История становилась реальностью. Или наоборот. Вот так народ вершил и вершит свою судьбу. Полковник видел воочию. Архитектор всех революций и перестройки — сам народ. Не Яковлев, не дуэт Громыко — Горбачёв, а народ. Железный занавес поднят, как дамба на плотине, и хлынул людской поток.

Не сон ли это из прошлого, из 1905 года? По Горбатому мосту восставшие рабочие возвращались, проиграв битву за свободу, честь, достоинство. Тогда к ним присоединился хозяин фабрики Шмидт. Сто лет борьбы и опять в рабство? Реставрация? Кто, кто же архитектор жизни?

* * *

Байкалов Илья тоже попал в Белый дом. Он кинулся искать Олю и от страха за неё бродил по коридорам, входил в какие-то комнаты, ему всё это было совсем неинтересно и не нужно, но требовалось найти её, ведь влезет куда-нибудь. Он не любил москвичей, не верил им. Его дед — выходец из Сибири. Нервы там у людей крепче, и жизнь научила не относиться к ней как к игре.

— А, это вы, Борис Константинович, — обрадовался Байкалов, увидев знакомого полковника. — Тоже стреляете?

— Нет, ещё не стрелял… А вы, писатель, прогуливаетесь в стороне?

— Я здесь… Я не понял, как тут оказался. Я ищу…

— Что? Не это? — полковник кивнул на автомат.

— Нет, — поспешно отмахнулся Байкалов. — Помните, я вчера был с женщиной?

— С женщиной? — полковник уставился на него. — Вы ищете женщину среди трупов?

— Вот этого-то я и боюсь. Влезет куда-нибудь, она ведь писательница, всё знать хочет.

— Жена?

— Нет…

— Понятно. Писательница?

— Писательница, — печально кивнул Байкалов. — Она без меня пропадёт.

— Ты сам на шальную пулю не нарвись. Стреляют-то снайперы. Сидит твоя писательница, пишет по горячим следам с огоньком. Для газеты? Правду всё равно не пропустят.

— Мы не газетчики.

— Тихо, что-то в мегафон говорят.

«Наши! Наши! Прекратите огонь!»

— Что говорят? — у Байкалова с одним ухом было плохо, и он, не доверяя себе, привык переспрашивать. — Кто наши?

«Прекратите огонь! На БТРах прекратите огонь! С двенадцати ноль ноль до двенадцати тридцати огня не будет. Выходите сдаваться». — Они говорят: «Выходите сдаваться». Выходи, хватит тебе мемуаров на всю оставшуюся жизнь. Бери свою писательницу! И уходите! Если вы останетесь на этой бойне, кто же правду расскажет. Уходи — это твой самый честный поступок. Иди!

Байкалов смотрел на полковника, и ему не хотелось отрываться. Он чувствовал в этом военном человеке внутреннюю силу правоты. Но на миг Байкалову показалось, что если бы он был

там, за стенами этими белыми, то был бы уверен в себе так же, как сейчас. Но он также был уверен, что полковник в азарте охоты за генеральскими погонами в него не стрелял бы.

— Я пришёл сюда, — не оправдываясь, а как бы размышляя вслух, делился с полковником Байкалов. — Я пришёл, чтобы защитить женщину. Она учится. Она ведь совсем девчонка, из провинции. Пьяные хамы! Зачем эта стрельба? Я не уверен ни в чём. Сейчас никто не понимает за Байкалом. Вот они обещали: «Огня не будет». А стрельба продолжается… Что это?

— Не слушали… А может, и не слышали, — хладнокровно комментировал полковник. — Это война, война…

— Ну, я пошёл…

* * *

Площадь перед зданием Верховного Совета. Стрельба полностью не прекращалась, но все выносили раненых. Ни защитники здания, ни танкисты не стреляли в собирающих раненых. На войне как на войне. Были раненые и у танкистов. На площади осталось много убитых из тех, кто пришёл на баррикады или жил в палатках у здания Верховного Совета. Среди них были и

молодые женщины. Байкалов искал глазами Олю, вдруг почему-то забыл, во что она одета. Он стремительно забегáл за каждый закоулок. Ужас! Женщина лежит… Лицо — сплошная кровавая маска.

«Море стеклянное, подобное кристаллу».

«Солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась как кровь».

Он стал вспоминать подробно, как они пришли, чтобы просчитать, где можно искать Олю.

* * *

Раньше в тёмной тишине одиночества полковник мечтал о будущей жизни. Но о том, что он большой романтик, мало кто знал.

Теперь Борис Константинович искал причины поступков, перебирал в памяти давно прошедшие события.

Шестнадцать лет отлетал в небе как птица.

А родился в тюремной камере. Тридцать седьмой год. Нет, родители были простыми тружениками: ни дворянского прошлого, ни политики, просто нищета и бедность. Вместо квартир селились в камерах барака. Союза с Мефистофелем он никогда не заключал. Зачем? Чтобы окунуться во все прелести жизни? Но он жил в небе, а что

может быть величественнее полёта?! У него были железные крылья. Пусть там никто не вызовет на бис, но жизнь выше и игры не прощает. Небо, если очень высоко подняться, и днём чёрное.

И радуга там яркая. Она идёт за самолётом как тень то по глади океана, то по горным хребтам облаков. Что в небе закон — то на земле чудо. Кто поверит, что моя тень — радуга?

Он, как старший сын, уже начал понимать и знать жизнь в свои семь лет.

Сестрёнку назвали Марией. Его очень смешило, когда она, ухватившись за его мизинец, увлекала за собой: «Гу… Гу… Гулять».

Но зимой она перестала быть весёлой. Стихла. Он кормил, играл с ней.

Однажды утром она никого не позвала.

Врач снял узкое чёрное пальто без мехового воротника. Из верхнего кармана халата вынул зеркальце. Протёр его и поднёс к лицу сестрёнки, почти касаясь её тоненьких белых губ. Борису стало жутко. Зачем это?

Врач вдруг убрал зеркальце и влез в своё чёрное пальто.

Дверь хлопнула, и мать разразилась страшным смертельным криком: всё застонало, закружилось, будто вьюга с улицы ворвалась, и квартира

была похожа на мрачную камеру.

«Смерть!» — мысль, как молния, чуть не убила его. Он, семилетний мальчик, убежал за перегородку, словно прячась от молнии смерти. Один сидел на полу, закрывая уши руками, и прятал голову в согнутые коленки. Откроет глаза — вьюга везде холодная, белая, чистая, сверкающая серебристыми иголочками. Он чувствует себя таким же маленьким, как сестрёнка, и ему надо за что-нибудь уцепиться, чтобы идти. Смерть забирает тех, о ком забывают. Он спал и во сне забыл о сестрёнке. Теперь его заберёт смерть, потому что он один. У смерти длинное серебристое платье в снежных звёздочках. Почему умирают так тихо? Он спал, когда умерла сестрёнка, и мама спала, и папа, и брат. Страшно.

Борис пронёс этот страх через всю свою жизнь. Но научился преодолевать и бороться. Никто не знал об этом.

Подошёл к маленькому гробику человек с чёрными усами:

— Застудили ребёночка.

Вождь повёл сердито кавказской бровью.

* * *

Всё будет сегодня. Это полковник знал, чувствовал, как солдат, идущий в бой. Теперь стреляли друг в друга люди по какой-то ошибке, по недоразумению. Или чьей-то злой шутке? Полковник ясно видит ситуацию, это абсурд. Свои стреляют в своих? А за что, кого защищают? Какая цель? Но ему отсюда уходить не хочется. Там, за перегородками этих «белых» стен Дома Советов, другая жизнь. Веря идеям социализма, он жил сам и учил жить так же тысячи людей. Он присягал сам, потом принимал присягу у сотен молодых людей. Он военный лётчик-истребитель. Ему казалось, что все пули, вонзающиеся в стены, в мраморные лестницы, в потолок, находили его самого и застревали в нём. Но от этого свинца полковник совсем не чувствовал боли, и ни одна капля крови не пролилась из его онемевшего тела. Он сам становился свинцовым. Это состояние… он знал, когда оно бывает. Что он хотел понять? Впервые над полковником одержал верх вопрос: имеет ли он право убивать? Раньше он убеждал, что насилию должна противостоять сила, теперь он не мог объяснить самому себе это. Кто знает, где здесь сила, а где насилие?

Полковник никому из близких не сказал, что на баррикадах. Ему можно было думать только о себе и о войне. Кто сейчас убийцы, а кто защитники? Словно его самолёт перевернулся в небе и он потерял ориентир. Где земля? Где небо? Где правда: на земле или на небе?

25. На пасеке

Мария думала, что завтра увидит, как поднимется огненный шар над горизонтом, но погрузилась в сладкий сон, и разбудила её серая кукушка поздно, когда весёлое солнце уже подсушило росу.

Трава в пятнах рассыпавшегося солнца, но земля ещё волглая, холодная, ночная. Ноги омываются росой. И хочется куда-то бежать далеко, за линию горизонта. У реки над лугом курится туман, как над вершинами гор. Молочно-голубой туман, казалось, поднимается и тает в небе, подчиняясь космическому ритму прилива.

— Кто-то собирался встать с восходом?! — Пётр с радостной, юношеской, светлой улыбкой обернулся к ней от улья.

— Ой! — подпрыгнула она, как девчонка-школьница, и быстро присела — прямо по пальцам ноги

скользнула холодная мокрая ящерица. — Смотри, какая она зелёная! А сколько времени?

— Полвосьмого… Рано ещё… Спи…

— Если встать с рассветом, то возникает ощущение полного дня… Я пошла к роднику.

Мария вспоминала первую любовь как радость жизни, мелькнувшую радугой. Такие дни благодатного лета, быть может, и есть рай на земле. Уголок счастья, время любви как цветение. Люди все разные, как цветы полевые и садовые: вот незабудки, а вот розы. Сколько цветов, столько оттенков любви.

Трава густая, лоснящаяся, как шерсть сытого, холёного молодого медведя. От росы ноги хлюпают, будто по болоту пробираешься. На левом склоне почему-то нет разнотравья, словно кто-то выполол, оставляя лишь ровные, как бы стриженые стебли густо-зелёной травы. Так Маша шла шагов десять-двадцать в необъяснимом напряжении, её не покидало чувство страха, будто медведь-великан вот-вот проснётся. Вдруг стали попадаться свежевырытые бугорки земли, гранулированной, иссиня-чёрной, поднятой вверх трудами степных зверьков.

Солнце ещё мягкое, нежное. Ласково играет вольный ветер.

Она прониклась безмолвием: слушала, каждой клеткой слушала, что говорит трава.

Пересохшая река дико заросла, а когда-то она в своём русле собирала воду из родников и уносила её в Дон. Теперь только куга редкими тёмно-зелёными островками указывает на затянувшиеся смытым чернозёмом загубленные родники.

Маша шла босиком, аккуратно нагибая ногой траву, чтобы под носком была как бы подстилка.

Вороны слетались, диким криком перекрывая все птичьи голоса, рассеивались чёрными пятнами по скошенному, но ещё не высохшему розоватому эспарцету.

Теперь надо спуститься по густо заросшему разнотравьем склону.

Вдруг солнечная роса так заиграла всеми цветами радуги, что девушка, заворожённая, остановилась. А радуга светила на все триста шестьдесят градусов. Природа — прекрасный художник! Что это перед ней? Нитка жемчуга или белые цветки в односторонней кисти?

— Росянка, здравствуй! Ничего не надо придумывать, всё есть на земле… Это же рай! — Присела перед цветком, подчиняясь неодолимой красоте природы, погладила верхнюю сторону округлых листьев с красными желёзками. Каждая

желёзка заканчивается блестящей, как роса, капелькой клейкого сока. — Росянка, росинка, россиянка… — стала подбирать красивые слова для рифмы и созвучия.

Роса на цветке играла, переливалась от света в небе. Посмотрела вверх — верхушки травы касаются облаков, словно небо начинается от кончиков. Росинка — капля — космос…

Вот ветер раскачал цветущие голубоватые шапки-кубанки безлистного подорожника, исцеляющего древнегреческих и персидских путешественников.

Порыв ветра становится сильнее. Качается, плывёт к голубому горизонту степь. Из-за холма выплывают белые паруса облаков. Пошёл запах травы сильнее, гуще. И от порывов ветра раскачивается, волнуется цветущая степь, сохранившаяся вдоль поймы пересохшей реки и в неудобных для пахоты ложбинах.

И кажется, плывут островки степи к горизонту, туда, откуда, запутавшись в сетях перистых облаков, разгораясь, начинает светить солнце так ярко, что глаза не выдерживают и прищуриваются, словно от счастливой улыбки.

Она расслабилась и ощутила струящиеся солнечные волны. Солнце заполнило Машу, как

будто она была сосудом. Любовь всей природы теперь была обращена к ней! Рай на земле давно создан! Красота какая!

И вдруг вороны поднялись разом, оглушили карком, собрались чёрной стаей и понеслись к старому, заброшенному загону. Чёрное воронье облако удалилось, стало невидимым, и опять над разнотравьем — благодатные звуки утра.

Ветер слегка усилился, и теперь каждый цветок кивает, даже пурпурная королевская колючка, пахнущая мёдом, кланяется земле. И качающийся цветок всё выше поднимался над терпеливой травинкой всё виднее в своём первозданном величии. Всюду дух вольной степи!

Небо чистое, только на западе, в стороне, куда улетели вороны, — полоса, словно след от реактивного самолёта.

Вот и копанка в густых непроходимых зарослях куги, только со стороны пасеки выкошена дорожка. Верхушек камышей не достать, даже если вытянуть руку. Как хрупко всё! Она сделала шаг, и сразу прекратилось безмолвие. Вокруг воды застыли лягушата. Наклонилась девушка над зеркальной гладью — лягушата разом ожили, запрыгали, и покрылось зеркало мутью болотной. Вот квакающие обитатели ускакали

подальше в непроглядные болотные джунгли. Только маленький глупый косолапый лягушонок растерялся и остался в копанке, то ли принимая бой один на один с великаном-человеком, то ли потеряв от страха способность двигаться.

Искупалась, и словно таинство очищения коснулось её, чувствовалась родниковая свежесть во всём теле.

— А, вот вы где, заячьи глазки! — Пётр весело шагал по хлюпающей куге и протягивал ей букет полевых цветов.

Колокольчатые, зеленовато-белые цветки смотрели на неё с высокого прямого цилиндрического стебля, сохраняя ещё не угасшую гордость живого растения.

— Это же спаржа! — удивилась она.

— Чай сделаем. А вот если красные ягодки попадутся — нарви, пожалуйста.

— Волчью ягоду?

— Глупышка! Для кого волчья ягода, а для кого сила мужская!

Спирально расположенные чешуйчатые листья и ветвистые стебли были выдернуты с корневищем.

— Так волчья или мужская сила? — Они выбрались из зарослей бывшей реки, но Маше

захотелось ещё побыть здесь, среди травы и неба. — Там пчёлы роиться собираются… Приходи. Мне скучно без тебя, — сказал он.

Когда он уходил, Маше захотелось вскочить и догнать его, но она продолжала лежать в траве, подчиняясь волшебному стрекотанию кузнечиков. Радость там, где царствует свобода. Спустилась к лягушатам, в джунгли камышей. А потом поднялась в степь, легла в разнотравье. Из реактивного облачка опять незаметно возникли штрихи, похожие на полупрозрачные облачка. Потом облака стали скучиваться и расцвели белым воздушным цветком. Чем ниже небо к горизонту, тем светлее его голубизна.

Стрекоза, большая и шумная, подлетела, как вертолёт, и зависла, заслоняя полнеба.

Солнце постепенно нагревало степь, и уже чувствовалась отдалённая раскалённость огненного светила. Маша набросила на голову панаму, выпила весь чай из земляники и чабреца. Жарко, а уходить не хочется.

Что же это такое: солнце, а вокруг кварцевые лепестки облаков? Какая-то светящаяся роза из расплавленной белой плазмы. Теперь смотреть на небо было почти невозможно. Время замедлилось и остановилось в безмолвии.

Одна бабочка летит, часто взмахивая крылышками, другая, слившись с нею, замерла в сладко-сонном оцепенении. Вот опускаются они на цветущий розовый клевер. Недвижимы. На гербарии — четырёхкрылое чудо.

Маша встала, она была в купальнике и босиком, и вдруг почувствовала себя частью этой природы, травинкой в степи. Солнце ласково и трепетно перетекало в неё и сгущалось в её сердце. Каждый цветок раскрылся, и вокруг стоял головокружительный, счастливый степной аромат. Пчела музыкально жужжала, забираясь в глубину большого тяжёлого цветка. Кажется, жужжит и стрекочет каждый цветок.

Колючий татарник почти по пояс. Колючки-шипы тонкие, как жало пчелы, не на стебле, прямом и высоком, а на кончиках зубчиков листьев. Такими маленькими листочками для шипов обтянуты и большой, и малые стебли. Колючка защищена, как роза. Но наверху у самого бутона стебель нежный и гладкий, как мизинчик младенца. Осторожно! С другой стороны тоже листочек в мелких, почти невидимых колючках. Десять-пятнадцать таких листьев-шипов защищают бутон и стебель. Чем выше, тем листья реже. Так вот в чём дело — листья пеленают сте-

бель, тянутся вдоль него, а потом отделяются.

Цветок-царь! Дорогая одежда из красной ткани как признак роскоши и величия заметно выделяла его среди других полевых цветов, он как бы стоял над ними и поднимал степь выше, как на картине Куинджи «Утро на Днепре».

Большой бутон отяжелевшей королевской колючки остался склонённым к восходу, а маленький бутончик, фиолетовые усики которого пока только едва выглядывают, легко поворачивается на запад, по ходу солнца.

Колючка… Не тронь её, и она не уколет.

Ближе к бутону стебель становится фиолетово-малиновым, а тёмно-фиолетовые шипы превращаются в лепестки, будто шар космический спустился на землю.

Пчёлка забралась внутрь, в сердцевину, к тоненьким, мягким, как иголочки лиственницы, лепесткам и тычинкам. Белая, ещё не до конца раскрывшаяся солнцу и ветру пушистая подушечка сердцевины ожила, зашевелилась под трудолюбивыми лапками пчелы, и, казалось, цветок и пчела стали одним целым. Но вот пчела включила свой жужжащий моторчик и тяжело поднялась над цветком, унося часть его в своей золотистой корзиночке-плодоножке. Цветок бла-

годарно закивал головкой, прощаясь с маленькой труженицей.

Маша хотела аккуратно понюхать — татарник так же аккуратно уколол её нос.

Ниже — ещё один светящийся изнутри бутон. Есть и третий, незаметный, совсем маленький, как зелёный крыжовник, весь в крошечных, почти невидимых, колючках, и хотя он ещё закрыт, но остриём своего спящего бутона следит за солнцем. Травинка, муравей, пчела — все любят тебя. И Маша принимала эту любовь.

Орёл большой, мощный, властно прошёл по кругу над степью. Для орла нет страха высоты! Летит, летит и этой красоте степной не видит конца.

Увидел Машу, вернулся. Потом кружил и кружил, спускаясь всё ниже. Распростёртые перья крыльев натянуты, как парус яхты, скользит с таким вдохновением, что хочется оторваться от земли и пуститься в это головокружительное движение вслед за птицей. Неужели он рассматривает её, как и она его?

Холмы шевелятся, ходуном ходят, как волны. Но зелёные степные волны не поднимаются девятым валом, не обрушивают всё в чёрную бездну, не испытывают страхом… Море из травы

и цветов благодатно и для человека, уставшего в пути, и для орла с натуженными крыльями, и для мыши, которая вырыла себе норку, и для пчелы, уносящей нектар в улей. Море разнотравья дарит свою красоту и силу всему живому. Это рай. Степь… цветок и птица, травинка и человек стали единосущным для неё в это мгновение.

Медовый месяц пролетел до свадьбы, как у стрекоз, у бабочек, у шершня, у пчёл… Молодые были отданы природе и подчинились ей как не познавшие ещё сложностей противоречивого мира. Каждый проживает свою жизнь с самого начала, от своего сотворения. Кто из нас не познал грех и не заплатил за него дорогой, непомерной ценой? Если всё надо пропустить через себя, значит, это зачем-то нужно.

Орёл кружил и кружил над нею, словно вращался по невидимой спирали. Он ни разу не спустился к их раскопанному роднику. Однажды, как камень, рухнул на скошенный эспарцет и потом, тяжело взлетев, исчез за кромкой просеки.

— Ты чего чертополоха нарвала? — встретил он её на пасеке.

Сизо-зелёный, с ширококрылым стеблем татарник, недоумевая, качал высоким бутоном, не веря, что он сломлен.

— Похож на орла? — фантазировала Маша. — Стоит в степи, как царь в тёмно-красном пурпуре… Время делает людей или время делают люди? Тут рай настоящий.

— Человек сам себе создаёт и ад, и рай. Эх ты, дитя истории, — улыбнулся покровительственно Пётр. — То демократию подавай, то опять царей на престол возводим… В природе всё на своём месте: львы — это львы, орлы — это орлы, а зайцы — это зайцы. Кто кем родился, тот тем и называется. — Он взял из её рук колючий татарник. — Смотри, как жалостно он поджал лапки, войлочно-опушённые листья сникли. Какой же это орёл?

— Ой! Прости! Орёл — это ты!

Он вдруг почувствовал, как начали усиливаться сокращения сердца, точно он бежал, бежал и остановился.

— Сердце сейчас разорвёт мне грудь…

— У него не хватит сил даже вырваться из-под рубашки… Каждый человек, как цветок, цветёт своим цветом.

— А ты кто: росянка, спаржа, волчья ягода или царственный татарник?

— Я просто колючка…

…В нагретой палатке — душистое пьяное ще-

котливое сено. В полудрёме-полусне, в травяном забытьи они услышали, как подкрадывается, накрапывает, нащупывает их своими холодными пальцами дождь.

— Ой! — выскочила из сладкого расслабляющего тепла Маша. — Надо занести чабрец и душицу!

Чабрец распушился, как лисий хвост, высыхая возле палатки.

Шумят листья высокого векового дуба, но не упало ни дождинки на ладонь. Не было ни одного такого дерева здесь, в степи. Откуда дуб? Сохранился ли он как живой памятник былого дворянского рода? Или посадила его дочка станционного смотрителя, что уехала вслед за красивым гусаром? Или вырос сам по себе в свободной солнечной степи занесённый птицей или зверем?

Два шершня, золотисто-чёрных, застыли в трещине старой серой коры, слились, сцепившись, и стали одним целым. Две головы с чёрными крапинками вместо глаз и одно длинное бархатное тельце. Хочется погладить их золотистую пышность свадебного наряда. Так и тянется рука, ближе, ближе, ближе… Не реагируют, не шелохнутся, спят сладким нечувственным сном.

— Это ветер балуется в листве, — высунулся он из палатки. — Угадай, что у меня?

Длинный колосок, усыпанный мелкими пурпурными цветами, трепещет в его руке.

— Цветок…

— Эх ты, цветок! В Древней Руси и Греции считали, что вербена приносит счастье.

Пётр растирал траву в ладонях.

— Чем пахнет? — насыпал в её горячую ладошку жёлтой измятой травы.

— Тобой!

— На Дону живёшь, а донник не угадываешь?!

— Ты пчеловод, а не я…

— Пчеловод никогда всего не скажет — доходи сама…

Больше всего Маше нравилось, когда Пётр начинал разводить костёр.

И она любила смотреть, как начинают прорезать темноту звёзды.

Костёр освещал тёплым светом землю, а луна холодным светом — небо. Потом свет костра и свет звёзд смешивались, и начинал царствовать дух ночи.

— Богиня любви упала сверху, с неба. И упала она на сухие листья. И любви в небе никто не мог видеть. — Голос Петра стал загадочно-ска-

зочным, лицо его вбирало огонь костра и само светилось. — Вот как это было… — Он вернулся к началу сказки, как бы проверяя, готова ли она его слушать, и, наблюдая за ней, продолжал: — Но богиню любви внизу увидел бог огня. Тогда за богиней любви вослед бог огня пустил огненные стрелы. Охватил его, бога огня, страх, охватил его ужас. — Босое лохматое пламя выскочило из костра и стало плясать по сухим травинкам, танцующей походкой добралось до обронённой ветки старого дуба и начало, по-собачьи вертясь, вгрызаться в неё. В середине костра вдруг взвилось пламя, вылетел хвост искр и огненным змеем взвился в чёрное небо. — Она шла, богиня-защитница. Тогда она к богу огня подошла. И его она завораживала, но только тщетно. — Под верхними ветками — тёмно-малиновый, как кровь, тлен живого огня. — А богиня судьбы посмотрела вниз, увидела с неба, что упало. И он сказал так: «Это богиня любви упала с неба. И упала она на сухие листья». — Заразительное возбуждение от вертящихся язычков пламени порождало желание подержать огонь в руке, поиграть им. — Увидел её бог огня. Тогда за ней вослед он пустил огненные стрелы. И огненный ветер пустил он вослед за ней, и огненный дым

пустил он вослед за ней. Охватил его страх, охватил его ужас. — Пламенеющий огонь всё больше и больше захватывал сухих веток, крылатым чертополохом расползаясь вокруг. — Она шла, богиня-защитница. Тогда она к богу огня подошла. И она его завораживала, но только тщетно. И богу огня богиня судьбы говорила: «Что же это ты делаешь?» Тогда богиня судьбы за ним сама пошла следом. Отвечал бог огня: «Вот что я делаю: огненные стрелы и огненный ветер». «Так это ты так сверкаешь? — спросила богиня судьбы, и она сказала: — Пусть они уйдут, страх и ужас, пусть будут они внутри». — Поедающий огонь играл красным слизывающим языком, раздавалось какое-то потрескивающее урчание. — И бог огня вернул богиню любви на небо. Он сделал это, хотя боялся. — Полыхал, как в тёрнах огонь, вгрызался в дерево, брошенное в жертву, — казнь огня вечного. — Но хоть и боялся, он родил её заново, бог огня. И сделал так он, что земля опять осветилась любовью. Наша любовь пусть живёт. — Воссиял огонь ярче звёзд небесных. — Пусть живёт наша любовь.

Маша смеялась над его долгим говорением, потом вдруг призналась:

— Мне не нравится твоя сказка… Что-то в ней

не русское, не наше.

Вспомнила, как в детстве у неё была книжка «Сказки народов мира», и всё никак понять не могла, почему сказки так рассыпаются… То за принцессу любимую жизнь отдают, то обменивают её на дочь короля, и все счастливы. Нация — это генетический код; интернационализм сказок народов мира, на котором выросли русские дети, — это превращение национального духовного гумуса в песок и пыль… Пока ребёнок не встал твёрдо на ноги, не усвоил родное, можно ли допускать подобные эксперименты?

— А тебе всё про Ивана-дурачка хочется?! Так они уже всем известны. Что же в них нового?

Вдруг она замолчала. Она молчала, как молчит трава под проливным дождём, как молчал вековой дуб, раскрывая почки, как молчит солнце, согревая всходы, словно эта невысказанная, непостижимая тайна природы и есть самое сокровенное, невысказанное чудо на земле. К великой тайне подходишь в молчании, доверяясь животворящей силе природы. Рождённа, несотворённа, единосущна… И этим внутренним безмолвием объят весь мир.

Степь то замирала, то вздрагивала странными, редкими, чудными ночными звуками.

— Слышишь, гром?.. — шепнул он ей на ухо в сенной палатке, мокрый, холодноватый, утренний. — Там такой дождь врезал!

Она не видела ни блестящей сверкающей молнии, ни грохотанья неба — всё в ней спало. Но теперь, когда он пришёл с дождя, разбудил, а сам уснул, ей стало не по себе в полутёмном молчании брезентовой палатки.

— Не спи, мне страшно… Как говорила Грушенька Мите Карамазову: «Я любила тебя часочек…»

— У нас другая жизнь… Мы с тобой будем счастливы… Спи, не думай о своём Достоевском… Не думай о «тёмных аллеях». Наши аллеи будут ясными и светлыми, как степь утром. Ты же со мной… Вчера плакуна нарвала, вот и дождь пошёл…

— Какого плакуна?

— А чай с чем пили? Лилово-красные цветки… Вот они… Маленькая ты моя, ничего не знаешь… Иван-чай — это и есть тот плакун, от которого дождик идёт. Слышишь, как шелестит по листьям и ползёт по палатке?..

Утренние лучи, как комарики, ищут щель, чтобы пробраться в тёмное тепло палатки.

Всё пересчитывала и пересчитывала всем долгожителям года серая несчастливая кукушка за

брезентовым пологом…

— Да она громче петуха! — проснулась Маша, высвобождаясь из плена сенного сна.

— Вот такие они у нас — часы с кукушкой! Год ку-ку, два ку-ку… Откинули полог — вокруг разлито солнце блестящими каплями по сверкающей траве.

Длинная пурпурная нитевидная вербена сплелась с русыми волосами, как девичий венок.

Трава сырая до десяти часов. Листья на деревьях ярко-сине-зелёные, будто в мае.

Парит!

Пётр выскочил босиком из палатки и давай валяться по мокрой, росистой, шелковистой дождевой траве. Как он похож на зверька, безумно радующегося жизни.

— Иди! Поваляйся в траве — счастливой будешь!

Но у Маши, городской девушки, постоянной отличницы, не хватило духу вот так, как зверушке, нырнуть в медвежью траву. Она вбирала, впитывала воздух с какой-то новой радостью. Роса после дождя — как сверкающая свобода!

— Теперь трава всего меня запомнит, — собирал с себя капли, — и вылечит, и обережёт!

Маленькая птичка с поля прилетела и смотрела

на него, низко качаясь на ветке. И в её остром взгляде было что-то древнее, непреходящее. Подул ветерок, лёгкий, свежий. Ветерок затихает и опять парит. Солнце сквозь пелену испарений ласковое и нежное, как руки матери.

Сёсик Быф
Шальная пуля

Новелла

4 августа. Вечер. Ближний тыл Миус-фронта в районе Саур-Могилы.

— Одди! Ты здесь! Я уже неделю пытаюсь разыскать тебя! — Неказистый парень в форме пехотного фельдфебеля вбежал в мазанку и, не закрыв дверь, бросился к одиноко сидящему за столом лейтенанту.

Тот, сделав глоток красного вина из бокала, поднялся навстречу. Обедающие за другим столом немецкие офицеры посмотрели на вбежавшего и потеряли к нему интерес. В обшарпанной оконной раме при каждом отдалённом взрыве дребезжало треснутое стекло. На звуки канонады никто не обращал внимания.

— Одди, как я рад! — Парень развёл руки и шагнул вперёд. Лейтенант оправил безукоризненно подогнанный китель и неуловимым движением отстранился от объятий приятеля. Он протянул для пожатия ладонь с тонкими ухоженными пальцами, а другой похлопал вошедшего по

плечу.

— Здравствуй, Ральф! Рад тебя видеть.

— Одди, а я уже отчаялся встретиться! Ты же теперь знаменитость! Лучший снайпер группы армий «Юг», как пишут в газетах!

— Ральф, к чёрту газеты. Мы не виделись с тобой…

— Полтора года, Одди! Целую вечность, учитывая, что на войне время идёт по-другому, — Ральф никак не мог сдержать радостных эмоций, — а ты совсем не меняешь привычек. Даже здесь, среди этих кровавых степей, находишь возможность пить вино. Это то самое, из вашего поместья? Помню, твой отец рассказывал о каких-то особых винных бочках. Угощаешь?

Отто фон Краузе, которого приятель называл детским именем Одди, жестом предложил присесть на деревянную лавку у стола, сел сам и щелчком пальцев привлёк внимание женщины в заношенном, линялом платье. Он показал ей на свой бокал, а затем на Ральфа. Женщина бесшумно скользнула за печь и вернулась, держа в руках грубую глиняную кружку. Отто ухмыльнулся, заметив, каким голодным взглядом друг окинул женскую фигуру.

— Выпьем, Ральф. Мне как раз передали посыл-

кой несколько бутылок домашнего вина. Хоть что-то в этом хаосе приносит умиротворение и покой. Война обостряет восприятие, мой друг, и всякие мелочи становятся значимыми.

Ральф в несколько крупных глотков выпил вино, шумно выдохнул и стукнул кружкой по столу.

— Прекрасно, Одди! Совсем как тогда, до этой бесконечной войны, у тебя дома под Бреслау. Помнишь? Мы сидели в саду, пили вино, а твоя сестра Хельга, такая красавица, пела нам «Песню амура».

Он на секунду зажмурился и севшим голосом фальшиво протянул:

— Мальчишка, любви томной вестник, Чьи стрелы сгорают в груди…

Отто, сделав очередной глоток, посмотрел сквозь вино на свет и осторожно поставил бокал на стол. Он молчал, задумчиво смотря на бутылочную этикетку, на которой рукой отца было написано: «Будь храбрым, наш сын. Мы тебя ждём с победой».

— Одди, — прервал его мысли друг, — я слышал легенду, что ты заговорён от смерти. Это правда? За прошедшие полгода о тебе столько всего рассказывали! Что ты убил уже больше тысячи

русских. Что у тебя какие-то особые «поющие» пули. Что любой твой выстрел — верная смерть. Что иваны тебя ни разу не вычислили на позиции. А здесь на Миус-фронте ходят уж совсем невероятные слухи. Может, ты заключил сделку с дьяволом?

Отто вытащил из кармана патрон необычно тёмного цвета и кинул его на стол.

— Их делают на фабрике «Польте» по заказу моего отца, Ральф, и присылают вместе с вином. Выпивка, оружие, посылки от близких — что ещё нужно солдату?! Видишь специальное покрытие и продольную насечку на пуле? Из-за них в полёте раздаётся особый свист, отдалённо напоминающий ноту «си». Как мне объяснили, такие пули имеют невероятную точность. Каждый выстрел — чья-то жизнь. Но снайперу засчитывают только те попадания, которые подтвердил наблюдатель. За тот год, что я на фронте, мне записали тридцать четыре цели, — Отто произнёс число отчётливей и громче, чем остальную часть фразы.

— Тридцать четыре? — с насмешкой повернулся к ним дородный обер-лейтенант, сидящий за соседним столом. — Моя пушка за один выстрел иногда отправляет на тот свет больше мяса. А

тут за год!

Отто внимательно посмотрел на него, но ничего не сказал. Он молча налил в кружку Ральфа ещё вина и поднял бокал.

— За тебя, Ральф! За нашу дружбу! — Сделал глоток и добавил: — И чтобы седины у тебя не добавлялось.

— Ты заметил, да? — Ральф пригладил висок. — Мне двадцать два, а я уже седой. Одди, война старит человека в считаные дни.

— Кому ты это говоришь? Человеку, бóльшую часть времени проводящему в тылу? «Бумажный солдат» тебя не поймёт, приятель, — снова вмешался обер-лейтенант. Он улыбнулся, но из-за овального синюшного шрама на скуле его лицо стало страшным.

Отто повернулся к нему и спокойным тоном ответил:

— Я из потомственных военных, герр обер-лейтенант. Краузе всегда были хорошими солдатами на службе родине. Правда, один из моих предков лет сто пятьдесят назад строил этим дикарям прекрасные здания. Но должен же кто-то нести цивилизацию варварам. Теперь я пришёл за своей долей.

— Я сейчас не на службе, лейтенант. Меня зо-

вут Ганс.

— Очень приятно, Ганс, но позвольте мне пообщаться с моим другом.

Обер-лейтенант вместе с сидящими за его столом офицерами опрокинули в себя очередную порцию шнапса и принялись обсуждать минувший, уже третий, провал наступления русских.

— Одди, как тебя сюда занесло? Неужели наше командование начало посылать элитных снайперов в кровавую мясорубку? С месяц назад говорили, что ты застрелил русского полковника с расстояния в километр в Но-во-рос-сий-ске, — по слогам выговорил Ральф.

Отто улыбнулся.

— Друг, ты собрался сохранить моё имя для потомков? Ещё слишком рано. Война. Вот после победы наши имена можно будет вписать в историю Третьего рейха. А пока меня прислали к вам в триста шестую дивизию. Понадобилось остудить некоторые горячие русские головы.

— Говорили, что ты остановил на днях атаку под Степановкой. Перестрелял всех офицеров и заставил иванов отступить…

— В триста шестую дивизию? — снова влез в разговор Ганс. — У которых эмблема бегущий кабан? Бегают эти вояки не хуже. Ею даже коман-

дует кавалерист.

За его столом радостно засмеялись. Отто поводил нижней челюстью, словно разминая её, но ничего не ответил.

Ральф негромко произнёс:

— Герр обер-лейтенант, мы воюем не меньше других. Я считаю, что это неуместная шутка, не отвечающая реалиям.

— Про «воюем» это ты расскажи своему приятелю. «Попал с километра», — передразнил Ганс, — пусть так и скажет, что это случайность или совпадение.

Лицо Отто покраснело. Он расстегнул кобуру на поясе, достал из неё парабеллум и положил на стол.

— Мы легко можем проверить мои навыки стрельбы, Ганс. Выйдем на улицу, вы поставите мишень на расстоянии…

— На расстоянии? Ты опять говоришь о расстоянии? Война, лейтенант, это не всегда расстояние. — Ганс уже не пытался скрыть раздражение. — Почти год назад, в октябре, на Сталинградской танковой фабрике к моей батарее прорвались русские. Мы дрались с иванами всем, чем придётся. Я разбил бинокль о башку одного из них. А по ночам мы давали через окно

друг другу прикурить…

— Отто тоже был в Сталинграде. Об этом писали газеты! — вступился за друга Ральф.

— Я подтирался теми газетами! — Ганс подошёл к Ральфу и ткнул толстым пальцем в свой безобразный шрам. — Видишь вот это? Я резал русского, а он, свинья, дотянулся и выгрыз у меня кусок мяса. Так и сучил ногами с моей шкурой во рту.

— Не повезло вам, Ганс, — сказал Отто. — В октябре прошлого года я был дома в Нижней Силезии и пил вино. А газеты всё врут. Но мне не нравятся намёки на то, что я избегаю опасности. Готов доказать свой профессионализм.

— Ты готов поспорить? Давай! Моя батарея стоит юго-восточнее высоты Саур-Могила. Русских отбросили позавчера на исходные позиции. Ширина нейтральной полосы метров пятьсот. Местность сложная и заминированная. Сможешь подобраться к русским окопам на двести метров и пришить кого-нибудь?

— Мы встречались на позициях, Ганс, но вы навряд ли узнали меня под маскхалатом. Несколько дней я работал как раз на том участке. Ну, если посмотреть на это с вашей стороны, то не работал, а прятался в складках рельефа от

опасности. — Отто ухмыльнулся, разлил остатки вина себе и Ральфу и выпил. — Завтра с утра я застрелю противника, находясь в пределах двухсот метров от его окопов. А потом найду вас и расскажу, как всё прошло.

— Расскажешь? Опять сплошные слова? Или может принесёшь мне газету с описанием очередного подвига? В окопах часто случаются перебои с бумагой, так что неси побольше.

— В моём роду никогда не было трусов и лжецов. Вы, обер-лейтенант, позволяете себе слишком много.

— Плевал я на это! Завтра я сам пойду корректировщиком огня и заодно присмотрю за тобой, лейтенант.

Отто сжал кулаки. Ральф смотрел на него и не узнавал. Ганс, дыша перегаром, облокотился о стол и переводил взгляд с одного на другого. — Я уверен, Отто, что ты сошлёшься на запрещающий приказ или просто не рискнёшь выстрелить в такой близи от русских. Они открывают шквал огня даже на хлопок шампанского. Так что ты проиграешь в любом случае, лейтенант.

— Я заключил сделку со штабом дьявола, и он выдал мне разрешение действовать на свой страх и риск, — Отто вытащил из кителя сложенный

листок, расправил и сунул под нос Гансу, — на нём, правда, стоит подпись фельдмаршала Манштейна, но в условиях войны это равноценно. Готов поставить на удачу свои отличные швейцарские часы, Ганс. Что ставите вы?

— Я? — лицо Ганса растянулось в самодовольной улыбке. — Думаешь, если у меня нет поместья и дворянства, то я нищий? Ошибаешься, лейтенант!

Он залез в карман, вытащил скомканную грязную тряпку, развязал узелок и высыпал на стол горсть зубных коронок.

— Золото, лейтенант! Я ставлю золото!

Ральф безучастно-растерянно смотрел на блестящий металл. Отто побагровел, сжал челюсти и почти шёпотом спросил:

— Ты где их взял, Ганс?

— Им это было уже не нужно. Чего пропадать добру! Или ты, лейтенант, не только трус, но ещё и чистоплюй?

Отто придвинулся к оппоненту вплотную. Их обоих окружили офицеры, чтобы растащить в случае драки. Отто, глядя Гансу прямо в глаза, отчётливо произнёс:

— Я не трус, Ганс, и никто не обвинит меня в трусости. Ты говоришь, что русские расстрелива-

ют любое подозрительное место? Завтра утром я, находясь недалеко от их окопов, сделаю выстрел мимо цели. Так как у меня сделка с сатаной, я смогу убить человека, даже промахнувшись.

Все недоумённо посмотрели на Отто. Тот не отводил взгляд от лица Ганса. Ральф как-то по-детски воскликнул:

— Это безумие, Одди! Даже сам сатана не поразит цель, выстрелив мимо!

Ганс сдвинул брови, помолчал, покачиваясь, и, слегка растягивая слова, сказал:

— Завтра я внимательно буду смотреть за тобой. Видел на нейтральной полосе танк с сорванной башней? Под ним наблюдательный пункт, из которого корректируется огонь артиллерии. Я буду там. Оттуда отличный обзор. Ты никуда не укроешься. Я докажу, что ты не только трус, но и брехун, лейтенант.

Ральф успел задержать руку Отто, замахнувшегося пустой бутылкой на Ганса. Спорщиков растащили.

Отто дождался, пока его отпустят, одёрнул китель, взял со стола патрон с «поющей» пулей и показал окружающим.

— На рассвете я выстрелю этим патроном мимо цели, но противник будет убит.

Затем вдвоём с Ральфом они вышли на улицу. Солнце уже склонилось к западу. Сумерки вытягивали тени и сливали их в тёмные пятна. Разрывы снарядов слышались всё реже и отчётливее.

— Одди, это же самоубийство.

— Жизнь, друг, это тоже самоубийство. Только растянутое во времени. Извини, мне нужно немного поспать.

Они пожали друг другу руки и разошлись.

5 августа. Раннее утро. Миус-фронт в районе Степановки.

Отто отдыхал под маскировочной сеткой, растянутой над небольшой расселиной. Путь и оборудование позиции отняли очень много сил. Вонь, исходившая от лежащих неподалёку трупов солдат, раздражала, но снайпер к ней привык ещё в Сталинграде. Там тоже убитые валялись повсюду. Желания и возможности хоронить их почти не находилось.

Слух о необычном споре разнёсся по позициям почти мгновенно. В окопах пехотинцы восприняли Отто как мифическое существо. Он, в маскхалате с торчащей травой, больше походил на косматого великана Фенке, чем на чистюлю лейтенанта. Сапёры подсказали ему возможные

ориентиры на разминированных тропах, но ползти к русским окопам отказались.

Отто встретился в блиндаже с Гансом. Тот, опухший от недосыпа и перепоя, вяло отдавал приказы артиллеристам. Спорщики окинули друг друга равнодушными взглядами и промолчали. Только когда снайпер исчез в темноте, Ганс злорадно хмыкнул вслед.

Несколько часов Отто пришлось ползти, прощупывая каждый клочок земли на предмет наличия мин. Иногда русские открывали беспокоящий огонь. Другая сторона молчала, чтобы не давать противнику повод вступить в перестрелку. Танк, под которым располагался наблюдательный пункт артиллеристов, стоял почти на вершине пригорка. Обзор должен быть прекрасным. Отто прополз мимо и расслышал, как двое солдат шёпотом делились воспоминаниями о далёкой родине. Раза три в тылу раздались сильные взрывы. Скорее всего стреляли из гаубиц. Отто пришлось выкрутить взрыватель у попавшейся на пути мины. Впрочем, узкое углубление, тянувшееся в сторону противника, помогло ему остаться незамеченным.

Только на первый взгляд кажется, что солнце всходит очень медленно. В моменты вынужден-

ного ожидания прекрасно видно его движение. Вот оно выглянуло из-за бескрайнего поля, и тьма мгновенно спряталась в низинах. Прошло совсем немного времени, и солнечный шар оторвался от земли и поплыл по небу вверх.

Отто начал согреваться. Натянутая над ним маскировочная сеть из нескольких слоёв грубого полотна с торчащей свежей травой была обильно пропитана водой. Иначе растения очень быстро завянут, и внимательный противник обязательно это увидит. Тогда — верная смерть.

Отто мог немного двигаться в укрытии. Он развернулся и внимательно рассмотрел танк, под которым должен был находиться Ганс. Утреннее солнце прекрасно освещало подбитую бронированную машину, и только нелепо торчащая, сорванная взрывом гусеница давала небольшую тень, с каждым мгновением всё больше заползавшую под искорёженный корпус.

«Пора», — подумал Отто. Через оптический прицел «Маузера 98», изготовленного специально для него, рассмотрел линию русских окопов. Возвышенность, которую он выбрал для укрытия, позволяла ему видеть мелькающие каски противника. Один из солдат снял рубаху и положил на край окопа. Сверху лёг планшет. «Офицер», —

догадался Отто.

Русский воткнул в стену траншеи небольшое зеркало и намылил подбородок. Склонив голову набок, он провёл опасной бритвой по щеке, снимая слой пены.

С такого расстояния Отто рассмотрел даже выражение лица жертвы. Осторожно навёл прицел на бритую шею, всмотрелся, затем чуть повёл стволом карабина в сторону и плавно нажал спусковой крючок. Тишину разорвал выстрел. Эхо подхватило звук и растащило по сторонам. Лёгкий ветер тут же развеял дымок, вырвавшийся из ствола. Снайпер успел заметить, как брызнуло осколками разбитое зеркало и человек нырнул на дно окопа.

Русский снайпер, получивший три дня назад приказ найти и убить наглого немецкого стрелка, не успел заметить, откуда был произведён выстрел, но что-то блеснуло в тот же миг между траками подбитого танка. Он, почти не целясь, выстрелил в сторону блика. Пуля, в секунду промчавшись по назначенной траектории, раскололa линзу бинокля и через глаз вломилась в мозг Ганса. Почти сразу же с обеих сторон начали стрелять пушки. Вскоре нейтральную полосу заволокло дымом.

5 августа. Полдень. Ближний тыл Миус-фронта в районе Саур-Могилы.

Отто, одетый в безукоризненно сидящий китель, по приказу явился с вещами в штаб триста шестой дивизии. Немолодой оберст отдал ему предписание немедленно отбыть в распоряжение резерва группы армий «Юг»:

— Вы ввязались в нехорошую историю, лейтенант. Я предвижу сложности в вашем будущем.

— В моём будущем? Сказать, как я вижу будущее? При случае проверим. Я — всего лишь мелкая деталь в механизме вермахта. Третий рейх — непобедим! Советы рано или поздно будут сломлены. Идеи коммунизма — растоптаны и забыты. Комиссары перекрасятся в идеологов новой философии. Восторжествует национализм. Внуки этих солдат, — он показал рукой на восток, — вместо Сталина наколют себе на грудь кресты и свастики. Они будут преклоняться перед нами и нашим превосходством. Наша техника, наши технологии и наши инструменты разойдутся по всему миру. А на этой земле будет литься кровь за право быть ближе к нам — к стране высшей расы.

— Вас ожидает машина, лейтенант. Уезжайте быстрее. Вблизи от штаба армии война выглядит

не так, как из окопа. Здесь не оловянные солдатики и не тотализатор. Я знаю, что кто-то из командования вас опекает, но всё равно напишу рапорт о случившемся.

— Пишите хоть самому дьяволу, — улыбнувшись ответил Отто, щёлкнул каблуками и вышел на улицу. Он закинул чемодан в заднюю дверь поджидавшего его «кюбельвагена», а сам не спеша сел на переднее место. Немецкая военная машина, набирая ход, покатилась на запад.

5 августа. Поздний вечер. Район Саур-Могилы.

— Виктор Степаныч, ты вроде в боеприпасах разбираешься? Глянь-ка, что я у хлопчика из шеи вынул. Я таких пуль раньше и не бачил. — Врач в синем медицинском халате протёр ватой что-то ухваченное пинцетом и рассматривал, поднеся поближе к лампе.

Судмедэксперт оторвался от заполнения акта вскрытия и подошёл посмотреть.

— Дай взглянуть, Алексей, — он взял пулю пальцами и покрутил её перед глазами. — Да, необычная. Очень похожа на пулю от немецкого «Маузера 98к», только непонятно, что это за продольная насечка такая? Пуля заводская, не самоделка. Вся в какой-то непонятной окалине

или ржавчине. Такое ощущение, что она в земле пролежала много лет. Хотя посмотри, налёт стирается, а покрытие пули почти как новое. Это не краска. Воронение? Потом рассмотрю внимательнее.

— Да в этой земле, Виктор Степаныч, если покопаться, можно монгольскую саблю времён ига найти. И это тоже, не удивлюсь, если из раскопок. А хлопчику не повезло, — он посмотрел на лежащее на столе обнажённое тело, — вон только бриться начал и каюк. Половина лица в мыльной пене. Как его звали?

Виктор Степаныч вернулся за письменный стол, пробежал глазами по документам:

— Александром Суворовым. Не станет уже русским полководцем.

Он взял ручку и написал на акте: «Район Саур-Могилы, село Степановка. 5 августа 2014 года». В облезлой раме при каждом отдалённом разрыве дребезжало треснувшее стекло.

Литературоведение



Владимир Голубев
Главы из книги «Загадки литературной сказки»

Продолжение. Нач. в №№ 1–2, 3–4, 5–6.

Часть III. Двадцатый век
Глава 1. Сказочник, отдавший сердце Северу

Степан Григорьевич Писахов

XX век в двадцатые годы принёс с собой новую сказку, да что там сказку — новую детскую литературу, и мы с вами, отплывая в новое тысячелетие, по-прежнему смотрим на окружающий мир во многом глазами авторов прошедшего века. Но начиналось столетие с кризиса представленной на рынке детской книги.

«…Как можно терпеть этих зайчиков в юбках, этих слонов на велосипедах, эти пошлые, бессмысленные именины киски Брыски, этих катающихся в саночках, играющих в солдаты цыплят и т. д. И как велика эта однообразная, дешёвая

литература беззастенчивой чепухи», — писал критик Е. Елачич в 1914 году. Не поленимся, а заглянем в современный книжный магазин, оглянемся, пройдёмся вдоль витрин и полок, что же изменилось за прошедший век — да к бесконечным милым котикам и зайчикам добавились многочисленные фэнтезийные герои…

Однако как ни крути, но к началу XX века сформировался золотой запас русской сказочной классической литературы, которым мы во многом пользуемся до сих пор — А. Пушкин, В. Жуковский, П. Ершов, В. Одоевский, А. Погорельский. На полках библиотек рядом с ними по праву разместились «Алёнушкины сказки» Д. Мамина-Сибиряка, «Лягушка-путешественница» В. Гаршина, «Сказки кота Мурлыки» Н. Вагнера и другие.

Но литературная сказка не умерла даже в годы самого лютого реализма, уже в первые годы советской власти она умудрилась начать возрождаться, правда, порой и в ином облике, и с новыми клише, несмотря на кризис начала века и гонения со стороны новых властителей дум. Чтобы не устраивать идеологические дискуссии, процитируем И. Лупанову (её фундаментальный труд «Полвека», 1969), которая, осмотритель-

но описав гонения на сказку, всё же отметила: «Истинная жизнестойкость сказки проявилась, однако не в том, что она уцелела, несмотря на все суды и нападки, но в том, что она оказалась в двадцатых годах родоначальницей новых традиций, определивших специфику советской литературной сказки на все последующие годы. Главной из них явилась традиция изображения противоборствующих сил как социально враждебных. Идущая непосредственно от сказочного фольклора, эта тенденция взрывала благодушную традицию дореволюционной литературной сказки с её мнимыми конфликтами и назойливыми моральными сентенциями».

По прошествии более ста лет мы с позиции потомков заметим, что советским писателям всё-таки не удалось создать мало-мальски достойные литературные сказки о пролетарской борьбе, за небольшим исключением: В. Маяковский, А. Гайдар и некоторые другие советские классики. Даже сама Лупанова признаёт, что авторов, вступивших на этот путь, поджидали «многие горькие неудачи». Несмотря на то, что, как грибы после дождя, появились «бунты игрушек» и «бунты кукол», во многом почерпнутые у дореволюционных литераторов, теперь это каль-

ка революционных событий, с борьбой классов, например, книга Н. Агнивцева «Война игрушек» (1925). Но даже «правильная» бравая лексика не внушила никаких симпатий ребёнку-читателю, объективно отмечает та же Лупанова.

К многочисленным промахам привели регулярные попытки переосмыслить традиционные сказочные сюжеты. Сказки вроде «Золотого петушка-самолёта» (Н. Рязанов, 1924), «Необычайных приключений товарища Чумички» (Р. Волженин, 1924), «Красной Шапочки» (Т. Морозова, 1923), «Ежа-большевика» (П. Яковлев, 1925) оказались пародийными, ведь Мальчик-с-пальчик возродился в несуразном «товарище Чумичке», который «настоящий большевик», а новая Красная Шапочка бойко «всю лесную мелюзгу от беды избавила».

Не имели успеха также попытки создать аллегорические сказки (вне фольклорных традиций) на революционную тему (Т. Морозова «Октябрьская революция», 1922; А. Кравченко «Про высокую гору и маленькие ручейки», 1925 и другие, чьи произведения, как и сами авторы, теперь знакомы только специалистам). Дело создания новых литературных сказок наладилось только на проверенных «рельсах», когда у Корнея

Ивановича Чуковского медведи вдруг поехали на велосипеде. «Тараканище» продолжил традиции народных небылиц, а именно сказок о животных, когда слабый обводит вокруг пальца зубастых и клыкастых, и, заметьте, без всяких революций. Вот он надолго пришёлся по душе детворе. Пускай в ней без всякой подмоги со стороны пролетариата слабый и неприметный воробей побеждает тирана таракана, здесь автор скорее пропагандирует индивидуализм и обычного маленького человека, чем мировую революцию. Следом появилась «Сказка о Пете и Симе» Владимира Маяковского…

Вот в какое непростое для литературы время герой нашего очерка принялся писать сказки, опираясь на фольклор…

* * *

Русский Север — это заповедник национальной культуры, потаённый сказочный край Руси, где до сих пор, вероятно, лучше всего сохраняются наши традиции и обычаи, наше исконное слово. В тех местах в начале XX века Михаил Пришвин, очертя голову бросившись «за волшебным колобком» неезженными путями, выискивал загадочный «край непуганых птиц». Да разве

он один? А Александр Грин? Здесь он пишет «Зимнюю сказку», ещё Евгений Замятин и Михаил Зощенко, Леонид Леонов и Аркадий Гайдар. Потому-то в XX веке степенная, как распевная былина, архангелогородская земля пожаловала нам, недостойным, целую плеяду сказителей и сказочников. Вот имена только некоторых из них: Борис Шергин (1893–1973), Иван Данилов (1952–1998) и, конечно, Степан Писахов, о ком мы и поговорим.

* * *

Замечательному архангелогородскому сказочнику Степану Григорьевичу Писахову было суждено оставить после себя один небольшой сборник сказок, но зато каких! Они столь самобытны и неподражаемо оригинальны, что скромного художника из северного города смело следует причислить к лучшим сказочникам мира. В искусстве он не стеснялся приверженности народно-поэтическому творчеству Севера, исконной крестьяно-поморской культуре. Именно на народной почве, удобренной просторечным словотворчеством с его весёлым скоморошеством и порой безудержной фантазией, буйством поморского словца и необычайного вымысла,

вымахало до самых небес древо его сказок. Как из рога изобилия, Писахов посылал в скучную и обыденную жизнь всевозможные шутки-прибаутки, разные потешки и присказки, пословицы и подковырки, на всё в его сусеках нашлось острое словцо.

* * *

Известный русский писатель-сказочник и художник Степан Григорьевич Писахов родился 13 (25) октября 1879 года в г. Архангельске, правда, сам сказочник частенько, привычно подшучивая, указывал свою дату рождения — 12-е, просто число 13 ему было не по душе.

Отец писателя, еврей Год Пейсахов, по профессии ювелир, мещанин Шкловского общества Могилёвской губернии, крестился в православие и стал Григорием Михайловичем Писаховым. Отчество Михайлович он получил от крёстного отца — архангельского мещанина Михаила Прохорова. В далёком приморском Архангельске Григорий Писахов на всю жизнь забросил якорь — женился на местной красавице, записался во 2-ю купеческую гильдию, обзавёлся домом и мастерской.

Ирина Ивановна, мать Степана, была дочерью

писаря конторы над Архангельским портом Ивана Романовича Милюкова и его жены Хионии Васильевны, родом из Соломбалы, старого района Архангельска, расположенного на островах в дельте Северной Двины. Хиония Васильевна была староверкой, «строга и правильна в вере». Брат бабушки, дед Леонтий, был профессиональным сказочником-рассказчиком, о нём маленький Стёпа услышал в доме маминых родных, где всё время подолгу гостили старухи-староверки и другой странный люд из дальних деревень и скитов, звучала певучая народная речь. По словам самого Писахова: «Записывать сказки деда Леонтия никому в голову не приходило. Говорили о нём: большой выдумщик был, рассказывал всё к слову, всё к месту. На промысел деда Леонтия брали сказочником». Однако, к сожалению, Степан его живым не застал и сказок дедушки не сохранилось.

Предки со стороны матери — пинежские крестьяне из деревни Труфанова Гора (ныне д. Труфанова Пинежского района), перебрались в губернский центр, где купили дом и стали обживаться большой семьёй. А родовое гнездо Писаховых — деревянный двухэтажный дом — располагался на улице Поморской, 27. Он,

к сожалению, не сохранился, со слов местных жителей на его месте ныне стоит панельная девятиэтажка, бросающаяся в глаза со всех сторон. Сказочник очень дорожил отцовским домом и прожил в нём практически всю жизнь.

* * *

Семья Писаховых была большая — два сына и пятеро дочерей, всего родилось четырнадцать детей. Согласно материалам Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года, в семье 49-летнего купца были жена Ирина Ивановна, 45 лет; сын Степан, 17 лет; и дочери Таисья, Серафима и Евпраксинья, соответственно 18, 13 и 11 лет (старший сын, Павел, в переписи не указывался: к тому времени он уже сбежал в Америку; и нет двух дочерей: Татьяны и Елизаветы, видимо, они вышли замуж). Своё основное занятие купец определил как «золотых и серебряных дел мастерство», а побочное — «торговля разными хозяйственными принадлежностями». В семье купца работали три человека прислуги: экономка, кучер и кухарка. Кроме того, Григорий Писахов содержал подмастерьев и одного ученика.

Нравы в доме были строгие, быт достаточно

скромный, деньгами не сорили, но жили дружно, даже после смерти родителей. Обстановка была уважительная, чужое мнение не навязывалось, что Стёпа, видимо, впитал ещё с молоком матери — всю жизнь он будет уважительно разговаривать даже с кошками и собаками. Матушка часто отъезжала на богомолье, вместе с родственницей — старой девой, очень набожной, звали её Михайловной, — да ещё жертвовала на церкви и монастыри. Глубокая религиозная вера в семье сочеталась и со светскими развлечениями, Писаховы любили театр, Степан специально посещал обе столицы — побывать на выставках, сходить в театры. Но не всё было так благостно…

Остановимся пока на существенном моменте, который нам многое прояснит в творчестве и во взрослой жизни сказочника. Его отыскала современная исследовательница И. Б. Пономарёва при сборе материалов о писателе, на чью незавершённую книгу «Главы из жизни Степана Писахова» (Архангельск, 2009) мы будем во многом опираться при написании этого очерка. Так вот, со слов племянницы писателя, в их роду по матери «…были и есть девственники — старые холостяки и безмужницы». Мы сразу вспоминаем Михайловну и, что там скрывать, самого сказоч-

ника, так и не женившегося за восемьдесят лет и не употреблявшего алкоголь.

* * *

Ещё в детстве, видимо под влиянием бабушки и её необычного круга общения, Степан принимается сочинять байки про знакомых, но сказки не были безобидными, потому авторство тщательно скрывалось. Читать мальчику удавалось урывками: почему-то в семье чтение и образование не поощрялось, во всех биографиях сказочника указывается, что читал он любимого «Дон Кихота», прячась под кроватью. В гимназию, видимо по этой причине, он не попал, а окончил, кстати с опозданием, лишь только городское училище, не исключено, что выпускные экзамены не сдавал. Всю жизнь Писахов робел перед какими-либо проверками. К сожалению, фундаментальное образование у будущего писателя и художника отсутствовало, что очень ему мешало в дальнейшей жизни, несмотря на то, что все годы жизни Степан Григорьевич упорно занимался самообразованием.

Видимо, настороженное отношение к образованию исходило от отца. Григорий Михайлович хотел видеть в наследниках людей, крепко сто-

ящих на ногах, с хорошей и востребованной профессией, а тут, как назло, обоих сыновей потянуло прочь от дома в художники, что, видимо, приводило к конфликтам в семье. Безусловно, тяга мальчиков к изобразительному искусству передалась им от отца-ювелира. Нет ничего странного и в том, что Писахов-старший не стал благосклонно относиться к увлечениям сыновей, он переживал — не на кого было оставить семейное дело, кормившее всю родню. Вспомним, что старший сын уже сбежал, а в семье вообще считали, что он утонул, оставалась одна надежда на Степана. Верно, доставалось младшему по первое число. Многие исследователи описывают случай, когда во время ледохода на Северной Двине будущий художник весь в слезах от гнева отца стремглав помчался по льдинам к бабушке в Соломбалу, и этот переход через реку мог закончиться для него трагически…

* * *

Однако вернёмся к Павлу Писахову, талантливому художнику, который и младшего брата научил держать кисть в руке. Однажды летом он отправился купаться и исчез. На берегу нашли только узелок с одеждой. Как водится, приня-

лись искать тело в реке, но безуспешно, и тогда все решили, что парень утонул. Но по городу поползли слухи, что Пашка не погиб, а удрал за границу на иностранном судне, возможно прячась от призыва в армию, да вдобавок, как мы знаем, он не ладил и с отцом. Где-то через пятнадцать лет, в 1917-м или в 1919-м году, на улицу Поморскую, 27 пришло письмо из Америки от Павла, что он жив и здоров, женат и разбогател. Но вот только несчастный отец и бабушка, которая верила, что внук спасся, так и не дождались радостного известия из-за океана. Как тут не вспомнить современника Писахова, замечательного сказителя и писателя Бориса Шергина, с его историей о Ване Датском, что тоже убежал из Архангельска за границу.

* * *

Видимо, после случая со старшим сыном Григорий Михайлович стал опасаться, что и Степан, кстати внешне сильно похожий на отца, пойдёт по той же «кривой дорожке» живописца, и нещадно противился этому. Всё это порождало конфликты, но будущий художник нашёл в себе силы противостоять воле отца и уехать из родного города, чтобы во чтобы то ни стало стать

художником. Сам по себе робкий и осторожный, склонный к компромиссам, Писахов частенько лавировал в зависимости от обстоятельств, что позволило ему выжить в непростые времена, выпавшие на его долю, но вместе с тем он был горд и не унижался, до конца отстаивал свои решения. Его характер оказался крепким, как камень. Как пишет Ирина Пономарёва, «Писахов терпел всё, но не сворачивал со своего пути».

В последний раз касаясь Павла Писахова, отметим только, что в тяжёлые двадцатые годы он из Америки помогал выжить семье, ну а дальше наступило такое время, что только одно упоминание о родственнике за границей могло закончиться обвинением в измене Родине и в лучшем случае заключением в ГУЛАГ. Исключительная привязанность к родному дому Писахова, возможно, и была вызвана в противовес постыдному бегству старшего брата, о котором знал весь Архангельск. Степан Григорьевич всей своей нелёгкой жизнью доказал: он, несмотря на то что выбрал стезю художника, отчему крову не изменил. Но подобная верность давалась тяжело, о чём он не раз говорил в старости, например, водопровод в его доме появился незадолго до его смерти, отопление оставалось печным, сле-

довательно, надо было засучив рукава колоть и заготавливать дрова…

Но ещё страшнее портило жизнь сказочнику его непролетарское происхождение — то, что он сын купца-ювелира, то есть частника, у которого были подмастерья и ученики, значит, он эксплуатировал наёмных рабочих. Проще было бы Писахову перебраться куда-нибудь в другой город или в столицу, где его никто не знал, как сделал его земляк Шергин, навсегда порвать с неблагонадёжным прошлым и начать жизнь с чистого листа, указав в анкете нейтральное происхождение — из мещан. А тут ещё, как назло, родной брат живёт в Америке и в придачу сотрудничество с Белой армией во время Гражданской войны. Кстати, здесь, в родном городе, его долго за глаза называли «белым», «белогвардейцем», но Степан Григорьевич с честью нёс эту нелёгкую ношу, постоянно ожидая ареста и приговора, но всё это будет потом…

* * *

Двадцатилетний Степан уезжает в Казань с намерением поступить в художественную школу, но угодил в неприятную историю и по подозрению в революционной деятельности был

подвергнут двухнедельному аресту вместе со студентами университета. Первая попытка получить настоящее художественное образование расстроилась. Он не отступает от своей мечты и повторит её в 1902 году, но теперь направится в Петербург, где поступит вольнослушателем в Центральное училище технического рисования барона Штиглица, ныне СПГХПА имени А. Л. Штиглица (в позднесоветское время ЛВХПУ имени В. И. Мухиной, или просто «Муха»).

Писахов жил впроголодь: снимал «угол», покупал материалы для учёбы, и это всё на десять рублей в месяц от отца, которых, естественно, не хватало. На еду у него оставалось всего лишь четыре копейки в день. Только на второй год обучения Степан вздохнул с облегчением — стал подрабатывать на различных заказах, что позволило брать уроки живописи и вне училища. Всё заканчивается в 1905 году: во время революционных волнений Степан выступил на митинге с речью против самодержавия, за что и был исключён из училища с четвёртого курса без права продолжения художественного образования в России.

С этого времени он начинает путешествовать и вначале едет в Великий Новгород к известному

краеведу и хранителю древнерусского искусства В. С. Передольскому. Они быстро сошлись, пожилой историк-самоучка и недоучившийся художник, ведь гость оказался таким же фанатичным поборником гибнущей народной красоты, как и он сам, как навечно вписанные золотыми буквами в историю нашей культуры М. Тенишева, братья Васнецовы, Н. Рерих, И. Грабарь. Видимо, ещё во время общения с бабушкой и богомолками народная культура вошла в его плоть и кровь, да и встреча с Передольским повлияла на мировоззрение художника. С тех пор проявилось неудержимое стремление Писахова при первой возможности отправляться в разбросанные по берегам северных рек селения Печоры, Пинеги, Мезени, Онеги, куда он не раз выезжал в поисках сохранившихся сокровищ национальной культуры и где ему удастся в полной мере погрузиться не то что в XVIII или XVII века, а даже в XVI век.

* * *

После Новгорода Писахов отправляется на этюды на Север, и не в родные места или на Мурман, а прямиком на загадочную и малоисследованную Новую Землю, поморскую Матку. Красота далёкого и заповедного Заполярья потрясла

начинающего художника. «Яркий звонкий юг мне кажется праздником шумным — ярмаркой с плясками, выкриками — звонкий праздник! Север (Арктика) — строгий, светлый огромнейший кафедрал. Простор напоен стройным песнопением. Свет полный, без теней. Мир только что создан. Для меня Арктика — утро Земли. Жизнь на Земле только что начинается», — позже писал С. Г. Писахов в своём дневнике…

После арктического архипелага художник направляется на юг, в Египет, с четырьмя копейками в кармане и двумя кусками сахара, по дороге заезжает в Турцию, Грецию, Сирию, совершает паломничество по святым местам. В Александрии его ограбили, денег осталось всего пятнадцать копеек, а до парохода в Италию ещё три дня. Как жить? Выручили русские, живущие в городе. В Италии российский консул снабжает Писахова деньгами, пока ему не пришлют из дома…

Сезоны 1906–1907 годов он то в Риме, то в Париже. В Свободной академии продолжает художественное образование. Странствует Писахов практически без денег, его часто обворовывают, и он выживает благодаря посторонним людям. Будучи непритязательным человеком, он стои-

чески переносит лишения и невзгоды, потому много путешествует практически на копейки, часто передвигается пешком. Зимы проводит в Петербурге, а с 1910 года начинает активно выставляться. Его творчество замечает даже И. Репин и приглашает к себе, но застенчивый Писахов так и не решился отправиться к великому художнику в его известное всему художественному миру России имение Пенаты, в Куоккале.

В 1915 году Степан Григорьевич призван в армию, служил он в Финляндии и с 1916 года в Кронштадте. Демобилизован в 1918 году и, вернувшись домой, почти сразу пробует силы на новом поприще. Из-под пера новоявленного литератора появляются первые очерки: «Самоедская сказка», «Сон в Новгороде», опубликованные в местной газете, которая, между прочим, издавалась известным поэтом-суриковцем и журналистом, выходцем из крестьян Максимом Леоновым (псевдоним — Максим Горемыка), отцом будущего классика советской и русской литературы Леонида Леонова. Нельзя сказать, что у Писахова это были первые пробы пера, ещё до революции по совету известного писателя и редактора И. И. Ясинского Степан Григорьевич записывал свои первые рассказы, но неудачно.

Растёт известность молодого художника в родном Архангельске. Так, 3 мая 1919 года в газете «Северное утро» публикуется очерк девятнадцатилетнего Леонида Леонова под названием «Поэт Севера» с подзаголовком «У художника С. Г. Писахова». А 21 июля в Архангельске открылась его персональная выставка картин. Но 2 августа в Архангельск вошла Белая армия. В числе встречающего народа, стоявшего на парадной пристани Архангельского порта, оказался и художник Степан Писахов. Безусловно, у него было сложное отношение к власти большевиков (имеются поучительные воспоминания Л. Леонова о том времени и взглядах Писахова на происходящее). Об этом говорит и его поспешное возвращение в 1918 году на родину из бушующего Кронштадта, видимо, революционные события по всей стране, разгон Учредительного собрания испугали художника, как и бóльшую часть российской интеллигенции. Конечно, если бы Писахов горячо поддерживал власть большевиков, то наверняка бы остался художником при Совете депутатов и сделал головокружительную карьеру живописца в столице, как многие художники в эти годы, ведь революционной агитации уделялось много внимания, но…

* * *

Газета Леонова продолжала выходить и при белых, и в ноябре-декабре в «Северном утре» публикуются три очерка Степана Григорьевича. В них скрупулёзно рассказывается о поездке будущего писателя на поезде тяжёлой артиллерии «Деникин» на фронт в район Плесецка не просто в качестве специального корреспондента, а добровольцем-ополченцем. Писахов подробно описывает бои и своё участие: «Подобрал винтовку, брошенную красными (японского образца), набрал патронов, присоединился к солдатам у мостика» или: «С разрешения капитана С-го я пустил снаряд к большевикам, встав на место стреляющего».

* * *

В феврале 1920 года в Архангельск вступили части Красной армии. Газету закрыли, Леонид Леонов сразу же покинул город и перебрался на юг России. Борис Шергин уехал в Москву по приглашению Института детского чтения, только Писахов остался на родине… Нам видится, что есть какая-то непостижимая с первого взгляда, но

всё же великая справедливость, что созидатель, оставшийся на малой родине, не укативший за жирным куском и другими сладкими посулами в столицу или ещё куда-то, где мёдом намазано, частенько проигрывает во всероссийском успехе… Однако как ни крути — ныне музей в Архангельске посвящён именно ему, не предавшему отчий край, не отступившему, сохранившему своё творческое лицо. Но мало того, Степан Григорьевич за всё долгое житьё-бытьё на Поморской улице попрекался бдительными советскими гражданами за якобы «белогвардейское» прошлое. Вдобавок по городу ползли слухи: мол, Писахов, выйдя из столовой, демонстративно выливает суп на мостовую, на самом деле он собирал кости и подкармливал голодных собак…

Вследствие этого, видимо защищаясь от агрессивно настроенного общества, он как старик отпустил бороду, в сорок лет приняв вид деда-чудака «с приветом», эдакого городского сумасшедшего, почти выжившего из ума. И, часто перебиваясь с хлеба на воду, почти всю жизнь донашивал старую, ещё отцовскую одежду. Говорил нарочито невнятно, что-то бормоча в бороду, в разговоре, как и в письмах, мог запросто перейти от реальности к выдумкам, мог заболтать

человека, рассказывал о себе бесконечные байки. Постепенно Степан Григорьевич превратился в человека-миф и с радостью поддерживал подобную известность этакой архангелогородской «достопримечательности» среди горожан и приезжих.

* * *

С приходом на Север советской власти наступает новая жизнь, художнику надо вновь подстраиваться под неё, ломать привычный уклад. Один из двух домов Писахова национализировали, во второй, тот самый, на Поморской улице, где он жил с сестрой, без спросу подселили квартирантов. Но появилась хоть какая-то работа — художник готовит персональные выставки, делает зарисовки мест боёв Гражданской войны, по заданию Русского музея отправляется рисовать памятники архитектуры на Мезени и Пинеге, и это далеко не всё.

В 1923 году Писахов показывает на архангельской краевой художественно-промысловой выставке коллекцию из пятисот рождественских «козуль» — ритуальных расписных фигурных печений. Он сравнивает их с немецкими новогодними пряниками, а рисунки на них — с

известными изображениями из Древнего Египта и Индии. Но большинство этнографов это не интересует, крестьянская культура объявляется религиозной и кулацкой, оттого вскоре вся коллекция гибнет. По городам и деревням под видом борьбы с религией сжигаются деревянные храмы вместе с иконами, а шедевры народного творчества сбываются за границу с целью получения так необходимой для мировой революции валюты.

Писахов вместе с другими патриотами Севера — Б. Шергиным, О. Озаровской, А. Поповым, П. Истоминым, А. Покровской, Е. Тагер — вёл борьбу против примитивных взглядов на крестьянскую культуру, и, видимо, на волне горьких раздумий о будущем народного творчества в эти же годы он сочиняет первые сказки, стремясь вдохнуть в них новую жизнь, приспособить к новым временам, спасти привычный с детства язык.

* * *

В 1924 году в сборнике «На Северной Двине» наконец-то состоялся поздний дебют — публикуется первая литературная сказка сорокапятилетнего Писахова «Не любо — не слушай…», буйной фантазией напоминавшая одноимённые народ-

ные сказки. В 1927 году новые северные сказки в записи и с комментариями Писахова были опубликованы в альманахе «Советская страна». Сказки архангелогородца также печатались в губернской газете «Волна» и в краевой газете «Правда Севера». Постепенно они приобретают известность, правда в основном у взрослого читателя, их начинают передавать по радио, исполнять с эстрады.

В 1934 году в «Звезде Севера» появляется публикация Б. Зубакина о художнике Писахове, но сообщается также и о его литературном творчестве. Автор отмечает: «…крупнейшие литераторы, как русские, так и европейские неоднократно писали о Писахове. Из русских упомянем Л. Леонова, Лидина, Покровскую, Шергина, Маршака, Зуева, Илью Эренбурга и др.».

Но повседневная жизнь Писахова по-прежнему остаётся неустроенной. Художник, чтобы выжить, берётся за преподавание живописи в городской школе № 3, которое на многие годы стало для него основным источником дохода, большая живопись и литература расценивались им и властями как работа по совместительству. Денег на жизнь постоянно не хватало, но он умудряется помогать родственникам и ученикам.

Писательский труд не может стать для Степана Григорьевича основным, пока его не опубликуют в центральных журналах и те издательства, где платят приличные гонорары, на которые можно хоть как-то сводить концы с концами. Только в 1935 году Писахову кое-как удаётся пробить лёд непонимания и равнодушия по отношению к своему творчеству. В журнале Союза советских писателей «Тридцать дней», в № 5, под заголовком «Мюнхгаузен из деревни Уйма» вышло несколько его сказок. Публикация придала новых сил сказочнику, и он понимает, что надо больше писать сказок и не бросать это занятие, а такие мысли у него не раз появлялись. До 1938 года в этом журнале вышло ещё более тридцати сказок Писахова. Но даже небольшое внимание центральной прессы сделало своё дело, в 1938 году в Архангельске выходит первая самостоятельная книга С. Г. Писахова «Сказки».

Как знак профессиональной пригодности в 1939 году его под радостный смех приёмной комиссии принимают в Союз советских писателей; как ни крути, но это признание, путь в литературу открыт, ведь теперь он не просто марающий бумагу чудак из далёкого Архангельска, а профессиональный автор.

В 1940 году там же, в Архангельске, выходит вторая книга сказок скромным тиражом 10 000 экземпляров, круг его читателей расширяется, дети наконец-то узнают весёлого сказочника. «Литературная газета» публикует материалы обсуждения сказок Писахова. А в «Литературном обозрении» № 2 за 1941 год выходит рецензия П. Е. Безруких на книгу сказок, написанная по всем канонам сталинского социализма, — о счастливой жизни художника после 1917 года… Автор статьи отмечает рост литературного мастерства сказочника в новой книге, предостерегает от увлечения варьированием повторяющихся сюжетов, обедняющих книгу. Неоднократно критиком подчёркивается антирелигиозная направленность сказок, так, из сорока четырёх произведений целых четырнадцать в той или иной форме «высмеивают попов», а также и ненавистное самодержавие.

Внешне кажется, что всё в жизни наладилось и наконец-то заслуженный успех пришёл к сказочнику. Но на самом деле Писахов в это время жил в атмосфере сильной травли, что ясно видно из его переписки.

Так он откровенно пишет Б. В. Грозовскому: «Травля — тяжёлый гнет». Его юбилей по поводу 40-летия творческой деятельности, позволяющий

провести выставку, напомнить о себе, что-то заработать, отменён местными художниками. Да, выходит не только травили чиновники, но и свой брат живописец приложил руку. В конце письма Писахов печально отмечает, словно подводит итог своей литературной карьеры: «Здесь мои сказки не рассказывают — тихое запрещение».

Оставался ещё один шаг к общесоюзной известности и хоть какой-то минимальной стабильности — издание книги в московском издательстве, но помешала сама история, она тётка загадочная и сволочная. Как на грех, на СССР напала гитлеровская Германия, и подготовленную к печати книгу сказок Писахова издать не успели.

* * *

Годы Великой Отечественной войны Писахов провёл в Архангельске, разделяя с земляками все невзгоды тыловой жизни. Пенсии не было, о ней, кстати, даже хлопотал в Москве старый друг — Леонид Леонов, но безуспешно. Но Степан Григорьевич не опускал ру́ки и часто вместе с другими местными литераторами был желанным гостем в госпиталях. Несмотря на то, что на территории Архангельской области не шли бои, город бомбили с августа 1942 года и с неба

на горожан сыпались фугасные и зажигательные бомбы, часто вспыхивали пожары, ведь город в основном был построен из дерева. К началу войны в области проживало более 1 миллиона человек. Из них 270 тысяч человек были призваны на фронт, 213 тысяч архангельцев погибло в боях за Родину. Положение местного населения было крайне тяжёлым. За 1941–1944 годы в Архангельске от голода и болезней умерло 38 тысяч человек. С первых месяцев войны хлеб здесь выдавали по карточкам, норма выдачи опускалась до значений блокадного Ленинграда (125 граммов). Усугубили голод и холодное лето 1941 года, когда, например, в Мезени в июне шёл снег, как следствие, кормилица картошка не уродилась. Люди ели собак, ловили птиц, употребляли в пищу корни деревьев, привозили яйца птиц, гнездящихся на Новой Земле, ловили рыбу, креветок и массово добывали тюленя. Добытые мясо, жир и шкуры северных животных спасли от голодной смерти и холода тысячи нуждающихся людей.

В творчестве С. Г. Писахова в это время полный застой и уныние и как грустный итог — отчаянные слова, полные неподдельного трагизма в письме А. И. Вьюркову, московскому писателю, постоянному корреспонденту Писахова в 1940-е

годы: «Время не ждёт, стукнуло 65… Бажов живёт в культурном месте, его берегут. Была… собрана комиссия, юбилейная. Надо было подписать отношение в Москву для утверждения о разрешении юбилея. …Кому надо было подписать — хворал. Поправился и отменил. Картин моих он не знает. Сказок не читал и не стал читать. Просто запретил! И всё. Даже учительской пенсии нет, даже возрастной нет. Живу перевёртываюсь… Порой хочется жить. Хочется дождаться конца погани — фашистов. На мне одежда расползается. Пальто донашиваю отцовское!.. А я ещё тяну, всё ещё както нахожу возможность оплатить обед, штопать одежду, утешаюсь мыслями: вычеркнуть юбилей смогли — вычеркнуть меня из существования могут. Вычеркнуть мои работы — картины, сказки… Врут-с! Не вычеркнуть! Герои Салтыкова-Щедрина живы». Особенно красноречива итоговая фраза, да и всё письмо пронизано нескрываемой обидой и болью одинокого художника.

Что изменилось с тех вроде бы далёких времен? Вопрос риторический — кажется, мало что поменялось. Ныне мы часто видим чиновников от культуры, ничего общего не желающих иметь с самой культурой, а только успевающих штамповать массовые якобы мероприятия, и не то что

не помогающих настоящим художникам, а чаще просто не замечающих их или даже пакостящих им, бесконечно экономящих средства или пропихивающих только «своих». Где те меценаты, что когда-то помогали талантам? Бранú что есть силы родину, яростно отрицай классическое искусство — и деньги на тебя найдутся. От того, видимо, творцы в России должны жить долго наперекор всему, как минимум отмерять жизненный срок, как Степан Григорьевич, чтобы добиться признания хоть на малой родине. Кто бы помнил северного сказочника, умри он лет в шестьдесят или пятьдесят? Только несколько специалистов…

* * *

После окончания войны Писахов приносит в Архангельское издательство рукопись, состоящую из ста сказок. Её «два года перечитывали…»

и наконец отобрали девять произведений. Эту маленькую книжечку, опубликованную в 1949 году, Писахов отослал Илье Эренбургу с просьбой «помочь подтолкнуть в издании мои сказки». Очередной юбилей сказочника был просто-напросто запрещён, теперь уполномоченным Союза советских писателей Константином Кони-

чевым, якобы за критику со стороны Писахова. Что самое поразительное, Коничев — успешный писатель и писательский функционер — был много лет редактором Архангельского издательства и редактировал в том числе сказки Писахова, у них были почти дружеские отношения, он даже отговорил в 1939 году сказочника от самоубийства. Но теперь, после этого конфликта, десять лет Писахова не издавали даже в родном городе… Отвлечёмся, чтобы чуть подробнее поговорить о тех временах. «Всем было тяжело, не только Писахову», — скажет мудрый читатель. Многим, но не всем. Мало кто помнит сейчас Коничева, тоже северянина, уроженца Вологодской губернии, участника Великой Отечественной войны. Хорошо хоть ныне земляки не забыли строгого руководителя архангельских писателей. Приведём лишь небольшую часть его блистательной биографии, чтобы наглядно было видно, как по-разному жили писатели и простые люди в то время, да и ныне, прямо как в антисоветской поговорке: «два мира, два Шапиро». Итак, товарищ Коничев в 1946–1951 годах — редактор Архангельского издательства, руководитель местного отделения ССП. После переезда в Ленинград, в 1952–1953 годах — повышение, теперь

он главный редактор Лениздата, одного из крупнейших издательств страны. А с 1953 года и до конца жизни Константин Иванович был занят только литературно-творческой работой. Жил он в небольшой квартире в центре города «трёх революций», прямо на Дворцовой набережной, но основное время проводил в творческих поездках по Советскому Союзу. Исколесил также много зарубежных стран — Египет, Грецию, где побывал в Афинах, Дельфах, Коринфе, и даже посетил легендарную Спарту. Итогом этой поездки стала книга «По дорогам Эллады». Но самым впечатляющим и плодотворным оказалось путешествие в государства экваториальной Африки — в Нигер, Того, Верхнюю Вольту, Дагомею, Габон. В книге «Там, где рвут оковы рабства» писатель поведал о своей встрече со знаменитым доктором и учёным-гуманистом Альбертом Швейцером, всю свою жизнь посвятившим лечению местного населения. Интересно, рассказывал ли он ему о чудаке из далёкого северного города, поинтересовался ли правильностью своего поступка в отношении несчастного одинокого старика, увы, нам, конечно, никогда не узнать. Как говорится, почувствуйте разницу…

* * *

Вернёмся к сказочнику Писахову. Лишь через много лет, в 1957 году, в издательстве «Советский писатель» появилась первая «московская» книга Писахова «Сказки», живописно оформленная художником Иваном Кузнецовым, с цветной вклейкой, она-то и делала книгу необычайно по тем временам привлекательной. Наконец-то к писателю начинает приходить всесоюзная известность, его читают советские дети во всех уголках большой страны. Через два года, к 80-летнему юбилею Степана Григорьевича, родное Архангельское книжное издательство разродилось и выпустило роскошную книгу сказок в художественном переплёте с замечательными рисунками Ю. Данилова и портретом автора.

Впервые юбилей Писахова так широко отмечают в Архангельске, всё-таки восьмидесятилетие. Центральные и местные издания публикуют статьи о «северном волшебнике слова». Поздравления шли из Новгорода, Арзамаса, Вологды, Ленинграда, Москвы. Ученики-художники прислали самовар и шуточный рисунок — Писахов несёт огромную книгу сказок «На самоваре вокруг Луны». В поздравлении Леонида Леонова есть та-

кие точные слова, характеризующие всю жизнь Писахова: «Без Вас не мыслю Севера». А местные власти наконец-то взялись за обветшалый с годами дом Писаховых. Степан Григорьевич успел почувствовать широкую известность, вот только силы уже были не те, что поделать, годы пролетели, как стаи весенних птиц на безвестную поморскую Гусиную Землю…

«Времена не выбирают, / В них живут и умирают», — написал замечательный поэт А. С. Кушнер. Последние месяцы жизни сказочник проводит в отремонтированном родном доме. Много раз полушутя-полусерьёзно Степан Григорьевич утверждал, что собирается отметить не только вековой юбилей, но и непременно дожить до 2000 года. Об этом он даже написал весёлую сказку «Как мы встречали 2000-й год», которую «рассказывал» своим адресатам в письмах 1959 года. За несколько месяцев до смерти, несмотря на старческие недуги (по зиме он простудился и месяц даже не мог ходить), Писахов всё равно умудрился сочинить свою последнюю сказку «Корона» во всегдашнем радостном ключе…

Майским днём (3 мая) 1960 года, когда неспешная северная весна вовсю несёт тепло на берега Белого моря, а неподалёку от Поморской улицы

любимая река сказочника — Северная Двина — готовилась к вскрытию ото льда, Писахова не стало. Но жизнь продолжалась: где-то рядом в порту к скорой навигации спешно подкрашивали теплоходы, а школьники спешили в школу и в их ранцах лежали книги покинувших нас сказочников.

Похоронен замечательный художник кисти и слова на Ильинском кладбище города Архангельска.

* * *

25 октября 2007 года, аккурат ко дню рождения Степана Григорьевича, на улице Поморской, 10, в кирпичном купеческом особняке, был открыт музей Писахова. Милая родина, такая скупая на похвалу при жизни художника, наконец-то вернула долг своему верному сыну, всю жизнь воспевавшему неброские северные края в картинах и сказках. Но не всё хорошо вышло и с музеем сказочника, вот и здание из-за проседания грунта было закрыто на реставрацию аж до 2021 года. А разве у сказочника была лёгкая жизнь, с дорогой, усеянной лепестками роз? Но ныне, так и хочется произнести «на веки вечные», пристанище архангелогородского кудесника слова, заслужив-

шего бессмертие в памяти людей, с нетерпением ждёт нас всех в гости.

В 2008 году в Архангельске, на пересечении улицы Поморской и проспекта Чумбарова-Лучинского, состоялось торжественное открытие памятника Степану Григорьевичу Писахову (автор — заслуженный художник России Сергей Сюхин). Бронзовый сказочник добродушно улыбается в усы и в бороду и протягивает руку прохожим, в авоське у него — рыба, к ноге прислонился пьяный кот (ведь не только рыбу дворовым котам приносил Писахов, но и всегда имел в кармане пузырёк с валерьянкой для усатых и хвостатых друзей), а на шляпе устроилась крикливая чайка, видимо, прилетевшая с Двины на запах рыбы. Рядышком с сочинителем примостился и его главный герой — Сеня Малина. Он тоже не удержался и переселился в центр города из родной Уймы или с чёрно-белых страниц!

О шутливом сказочнике с грустными глазами издатели после смерти не забывали, особенно старались к юбилеям, так, в 1969 году в Архангельске выходит тиражом 50 000 экземпляров его книга сказок с чёрно-белыми иллюстрациями архангельского художника Василия Вежливцева (1930–2000), который лично знал Писахова.

В 1978 году, теперь к столетнему юбилею писателя, в издательстве «Советская Россия» вышло из печати подарочное издание сказок с рисунками вологодского графика Генриетты Бурмагиной (1939–1984), специально адресованное детям. В книгу включили более половины опубликованных сказок Степана Григорьевича. Замечательные иллюстрации и обложка в стиле русского лубка способствовали росту популярности сказочника, но маленький для всей страны тираж, всего 50 000, помешал широкому знакомству читателей с Писаховым.

В перестройку по мотивам сказок С. Писахова и Б. Шергина снят сборник рисованных мультипликационных фильмов «Смех и горе у Бела моря» (1977–1987), пять фильмов из семи поставлены по сказкам Степана Григорьевича (режиссёр Л. Носырев, он также автор сценария вместе с легендарным Ю. Ковалем). Озвучивал рассказчика Сеню Малину сам Евгений Леонов.

Вроде всё сложилось неплохо — зло, как положено в добрых сказках, побеждено и правда восторжествовала в отношении хотя бы Писахова…

* * *

Литературную известность Степан Писахов снискал как автор оригинальных литературных сказок, опирающихся на русский фольклор. «Рассказывать свои сказки я начал давно. Часто импровизировал и очень редко записывал. Первая сказка, „Ночь в библиотеке“, мной была написана, когда мне было 14 лет», — вспоминает писатель. Уже первая опубликованная сказка «Не любо — не слушай…» по характеру так отличалась от традиционного фольклора, что составители сборника пустили её в печать без подзаголовка. Писахов решился дать сказку в сборник по совету Бориса Шергина и Анны Покровской — сотрудников московского Института детского чтения. Именно их поддержка помогла Писахову найти свой особенный, ни на кого непохожий путь в детской литературе.

Основа художественного метода Степана Григорьевича — игровая выдумка, которую он использовал максимально. У него в произведениях повсюду щедро разлит мажор, такая ярмарочная бесшабашная весёлость. Серые северные будни он легко, как по взмаху волшебной палочки, превращает в яркое беззаботное празднество,

словно древний скоморох-балагур. Писахов сразу, видимо интуитивно, подобрал удачный образ рассказчика — Сени Малины из деревни Уйма, от лица которого и повёл повествование в своих сказках. Кстати, в этой деревне, и ещё в нескольких соседних: Лявле, Жаровихе, Глиннике, в Архангельске, даже в Карпатах и других известных местах — происходят сказочные события.

* * *

Безусловно, невозможно не согласиться с одним из первых исследователей жизни и творчества Писахова, ленинградским литературоведом А. А. Гореловым, на чей очерк (1978) мы во многом опираемся, говоря: «Малина — это воплощение мечты человека о всевластии над природой как дружбе и согласии с нею, и оттого радуги, дожди, медведи, налимы — все превращаются в его волшебных помощников…»

Кстати, Сеня Малина — историческое лицо — Семён Михайлович Кривоногов. В его доме, на втором этаже, в 1892 году при церковном приходе было открыто одногодичное училище, а на первом этаже жила семья самого сказителя Семёна. По словам Писахова, «с Сеней Малиной я

познакомился в 1928 году. Жил Малина в деревне Уйме, в восемнадцати километрах от города. Это была единственная встреча. Старик рассказывал о своём тяжёлом детстве. На прощанье поведал, как он с дедом „на корабле через Карпаты ездил“ и „как собака Розка волков ловила“. Умер Малина, кажется, в том же 1928 году. Чтя память безвестных северных сказителей — моих сородичей и земляков, — я свои сказки веду от имени Сени Малины».

Сейчас та самая деревня Уйма (ныне посёлок Уемский) превратилась фактически в пригород Архангельска, и когда гости города едут в известные по всей стране Малые Карелы на выставку деревянного зодчества, то непременно проезжают через знаменитую деревню по бывшему Уемскому тракту, где когда-то зубоскалил с односельчанами тот самый Сеня.

* * *

Рассказчик Малина предстаёт перед читателем то крестьянином, то рыбаком, то охотником, то матросом, то солдатом, то рабочим. Главный герой олицетворяет лучшие качества простого народа — хваткого и додельного, щедрого и справедливого, храброго и неунывающего. Можно

ли такого героя поставить в тупик невзгодами и трудностями? Разумеется, нет! За его спиной — вся неиссякаемая природа Севера, он сам — её неотделимая часть, отсюда источник его оптимизма. Он вечен, как наш народ — жил при далёком Мамае и при самом Наполеоне. Малина свой среди медведей и чаек, ему подвластны ветры и морские волны. Сеня запросто раскачивает море, правит косяком рыб, даже оседлал тучу, а ещё ведает, о чём думают птицы и рыбы. Во как!

Но имеются у Сени Малины, скажем так, черты, которые вызывают двойственное чувство. Например, в сказке «Рыбы в раж вошли» он ворует у капитана корабля еду, да и вообще крайне негативно отзывается о всей команде иностранного судна. Ну ладно, можно понять и даже объяснить — господствующая в то время классовая ненависть к капитану и к штурманам, как к любому начальству, что только и делает, что объедается (для капитана пожарили полкоровы, пишет сказочник) и считает свои выгоды, по мнению части простого народа. Тем самым автор в лице Малины готовит читателя к тому, что он поедет на пароходе как «заяц»-безбилетник, а заодно и съест чужие харчи, по-простому сворует. Но у Писахова даже иностранные матросы вызывают

негативные чувства, ведь они почему-то «друг дружку по мордам лупят»? По всей видимости, сказочник пытается показать разницу в менталитете народов, но насколько это правдиво?

Поэтично рассказывает Писахов устами Сени о женщинах-труженицах Уймы. В сказках «что бабы захотят, то и сделают». Так в одной из них («Река уже встала») поморки сдвинули берега их речки, чтобы приблизить город и соседние деревни. «Жонки» появляются на страницах сказок гордыми и смелыми, мудрыми матерями и любимыми женщинами, похожими на «анделов» (ангелов). Так, в замечательной сказке «Пляшет самовар, пляшет печка» жена Малины вызняла (вот так словечко! Его и на хромой кобыле не объедешь! Но об этом мы ещё поговорим…), видимо, выставила или поставила горячий самовар чай пить, а сама ушла. А наш замечательный, такой шустрый и работящий Сеня сам себе чая налить не может: «Сижу, чаю дожидаюсь»; так и прождал, пока супруга корову не подоила. В сказке «Сила моей песни плясовой», кстати, продолжающей предыдущую, описывается отношение к женщине ещё хуже: теперь супружница сама грузит телегу, а Малина считает, сколько нужно подвод и свезёт ли лошадь груз на рынок. По-

нятно, что это шутка, но всё же остаётся осадок, как-то тяжело представить поморскую мадонну с мешком на плече, хотя в жизни всё бывает…

* * *

Литературные сказки С. Г. Писахова — это продукт индивидуального писательского творчества, но корни его в родном фольклоре, в простонародной манере рассказчика, отсюда порой излишне разговорная речь героев. Но вот у чудес в его сказках совсем иная природа, чем у диковин из русских народных сказок. Они порождены писательской фантазией и вполне мотивированы, хотя мотивировка эта не реалистична, а фантастична.

Отметим, что Писахов-сказочник совсем не похож на Писахова-художника. Если как живописец он стремится как можно точнее запечатлеть открывшуюся ему красоту мира и строго следует собственному требованию «Только правда. Ничего добавлять не надо», то, создавая сказки, давая волю своему богатейшему воображению, реализует с детства жившую в нём потребность в сочинительстве: «Фантастика — мир другой. Всё крутится узором».

«В сказках не надо сдерживать себя — врать

надо вовсю», — утверждал писатель, понимая, что никаких строгих канонов у литературной сказки нет и быть не может.

У Писахова подлинное пиршество воображения. Раскрыв книгу, мы встречаем поток совершенно оригинальных образов. Трудно найти подобие в нашей литературе, хотя, как отмечает А. Горелов: «Более отдалённые параллели, притом международные, подчас установить можно: отдельные частности в сказках Писахова созвучны с деталями “Мюнхгаузена” Распе, “Пантагрюэля” Рабле, “Похождений бравого солдата Швейка” Гашека».

Сказки Степана Григорьевича связаны между собой, часто продолжают друг друга или дополняют, например, сказку «Из-за блохи» продолжает «Лётно пиво». Один из исследователей творчества сказочника Ш. З. Галимов отметил, что сказки Писахова невозможно подвести под какую-либо классификацию: они одновременно и волшебные, и сатирические, и исторические, и бытовые, и авантюрные; в них действуют люди, животные, и прецедентные имена (Мамай, Наполеон).

В композиционном отношении сказки Писахова разительно отличаются от русских народных. В них нет традиционных присказок, зачинов, кон-

цовок либо они сведены до минимума («Налим Малиныч»), нет повторов и других компонентов. Для его сказок свойственна беседа, устный рассказ, когда рассказчик, ни в чём себя не сдерживая, доверительно повествует сказочную историю, отчасти похожую на бывальщину, не стесняется шуток, иронии, в том числе над самим собой.

Ряд произведений Писахова можно смело считать обработкой народных сказок, в них используются известные сюжеты, но сказочник честно об этом говорит. Вот, например, сказки «Лень да отеть», «Как соль попала за границу». В последнем случае он указывает, что сказку слышал от Варвары Ивановны Тестовой из деревни Верхнее Ладино. Но, как правило, сюжеты у сказочника были оригинальные (в них и проявилось необычное дарование автора), которые он часто выискивал как крупинки золота в народных пословицах и поговорках.

* * *

В сказках Писахова на каждой страничке рассыпано много диалектизмов, как клюквы на болоте в урожайный год, отражающих один из северорусских говоров. Их активно использует

автор для создания речевого портрета героев — жона, ишшо, робята, в дому («Гуси»), шти («Кислые шти»), в старо время («Лётно пиво»), гостьба («Морожены песни»), поветь-сеновал («Брюки восемнадцать вёрст длины»), одёжа («Портки») и т. д.

Также часто Писаховым используются слова, несущие эмоционально-экспрессивную окраску: ветрище, грозище; уменьшительно-ласкательные: голубушка, кумушка; имеющие значение уничижительности: мужичонка, офицеришка. Много окказиональных слов разной окраски — истуканствовал, бываньe.

Использование подобного сказового стиля вполне оправданно, тем более автор следил за его развитием у современников — Бажова, Шергина. Однако у С. Г. Писахова мы часто встречаем явный перебор и неоправданность в употреблении близких к народнопоэтическим речевым средствам словесно-художественной образности. И, как справедливо указывает В. А. Михнюкевич, «…производит впечатление навязчивой нарочитости и нередко доходит до абсурда, когда текст насыщен не только лексическими диалектизмами, но и графически закреплёнными диалектизмами фонетическими («зарумянит-

ся», «глазами вперишься», «товды», «хто ково» и т. п.)». Всё-таки надо учесть, Писахов в своих книгах выступал не собирателем и публикатором фольклора, желающим дословно передать речь сказителя, а как вполне оригинальный писатель. Но следует отметить, что данное явление было довольно распространено в это время, подобных проблем не избежал П. П. Бажов, исправляя в поздних изданиях своих сказов россыпи уральского говора, как и Е. В. Честняков, художник и сказочник, в своих сказках передавал разговор жителей деревни Шаблово под Кологривом Костромской губернии. Во многом сказочники старались обогатить русский литературный язык, вводя диалектизмы, которые, как они считали, оживят современную речь.

Не в этом ли злоупотреблении и кроется одна из причин отсутствия общероссийской популярности у сказок Степана Григорьевича, не отпугивают ли незнакомые слова юного читателя, да и великовозрастного, избалованного гаджетами и современными развлечениями, количество которых год от года растёт как снежный ком, что может заставить закрыть книгу, порой навсегда? Поиск безвестных слов в словарях даже при помощи интернета требует времени и, глав-

ное, желания. Вот возьмём, для примера сказку «Рыбы в раж вошли». Перед нами замечательная история о ловле рыбы и возвращении Малины на ходулях домой по морю с промысла. В первом абзаце уже бросаются в глаза слова: «весновал», «поддёв», «мешкотно». Первый глагол «весновал», то есть жил по весне, достаточно поэтический и легко может быть разгадан подростком, ведь вдобавок сам текст подсказывает значение нового и незнакомого слова. Идём дальше. Что за «поддёв» и «мешкотно»? Нынешнему ребёнку, да и городскому подростку XX века, вдобавок не очень понятно, что такое «артель», «тралы», «ловили ярусами».

В указанной самой по себе небольшой сказке всего-то на полторы странички прямо россыпь северного говора: «Мурман», «знат», «гашшивала», «жонка», «выхвостывать», «откудова», «подман», «ден», «одинова», «иттить», «ишшо», «верёх», «ихну» и т. п., такое ощущение, что автор долго и целенаправленно выискивал места в предложениях куда можно ввернуть диалектизмы. На наш взгляд, для данного теста их хватило бы два-три и они не отвлекали бы без конца от занятного и весёлого сюжета, а получается какой-то квест для филолога-любителя — переведи текст.

* * *

Вот один из излюбленных приёмов Степана Григорьевича — материализация природных явлений (слова застывают льдинками на морозе, северное сияние дёргают с неба и сушат и т. д.) — становится толчком для развития авторской фантазии во многих сказках. Это во многом определяет особый юмор, который характерен для сказок Писахова: всё, о чём говорится в них, вполне может быть, если в самом начале допустить существование таких овеществлённых явлений. У Писахова в сказках мы находим вполне современные реалии, свойственные XX веку: женщина требует от мужа, чтобы тот отправил её в город «на короткой волне», а муж склонен отправить её на «волне длинной», как более ему подходящей; в другой сказке даже медведь говорит по телефону.

Всё у него в движении, в кипении, ничего не стоит на месте: самовар и печка пляшут, «соборна колокольня за пожарну каланчу» замуж выходит («Уйма в город на свадьбу пошла»), медведи и пингвины то торгуют вразнос на улицах города, то танцуют, а девки да бабы песни поют, слова морозят и продают («Морожены песни»).

В сказках Писахова всё носит какой-то вселенский масштаб, в текстах по-северному просторно — Двина в узком месте тридцать пять вёрст в ширину, а в широком — шире моря («Не любо — не слушай»), да и аппетит у героя немереный: за один присест «съел два ушата щей» или половину коровы, ну а северная ягода весит от фунта, считай, от 400 граммов!

Сказочник очень часто, как мы уже упоминали, использует народные пословицы, продолжая и перенося их содержание прямо в сказку. Так, в одной из самых известных и любимых сказок «Морожены песни» хорошо известную поговорку «в Москву за песнями» автор перелицовывает и, развивая дальше, доводит до абсурда, говоря: «А вот от нас в Англию не столь лесу, сколь песен возили», и эта нелепость вызывает смех. Ну а коли есть пословица о крепких словах, которыми подпирают заборы, — отчего не добавить: «На крепких словах, что на столбах, горки ледяны строят», вот так и рождаются писаховские кружева. Не прочь сказочник прибегнуть к ритмизации: «Приходно, проходно, причально, привально, грузово, весово» или игре слов-близнецов: «в Уйме пряников… уйма».

* * *

Для детского восприятия самыми ценными из наследия Степана Григорьевича, конечно, являются те сказки, где Сеня предстаёт мастером на все руки, а руки у него и впрямь золотые, ведь за что ни возьмётся, везде у него результаты «небывалошны» и «неслыхалошны». Особо поражают сказки об охоте и рыбалке, они потрясают детишек, из них издателям надо собрать отдельную книгу. Оригинальные приключенческие сюжеты заставляют читателя не отрываться от текста. Они родственны распространённым шутливым байкам рыбаков и охотников. Малина остроумно вещает о самых невероятных «оказиях»: о штормах и бурях, о встречах с хищниками и кораблекрушениях, о смертельных опасностях и трагических событиях, которые довелось пережить местным жителям. Но все препятствия и все громкие победы Сеня освещает так гиперболизированно, что невольно вызывает восхищение и добродушный смех. На полном серьёзе столько лет, не краснея, он убеждает нас, что голыми руками сумел одолеть сто белых медведей («Белы медведи»), пятьдесят волков («Морожены волки»), громадный косяк трески («На треске

гуляли»), поймал бесчисленную стаю гусей («Гуси»). А чего только стоит байка про гигантскую щуку («Собака Розка»), у которой «голова во дворе, хвост в реке», которую вся семья Малины ела три года, да ещё пять бочек продали!

Ну а секрет успеха Малины очень прост — труд и ещё раз труд, а также смекалка. Творчески и сказочно плодотворно он трудится во всех делах, что каждый день ему попадаются под руку — «Я на всех работах, в десять рук работаю». Особенно он почитает коллективный, артельный труд. Сеня работает не только для своей семьи, он делится с соседями, его рубашка, пропитанная радужным светом, становится общим светильником во время семейных торжеств («Своя радуга»). Свои подарки сельчанам он делает тайно, так, найдя несказанно обильные ягодные места, всем хозяйкам «по горсти пятипудовой отсыпал» («Медведь от поповского нашествия избавил»). А сооружённые бахарем «малиновые» столбы преображают всех, даже старых и некрасивых, в сказочно прекрасных, молодых и весёлых людей («Снежны вехи»).

Малина — многодетный отец, у которого «семеро на лавке, пятеро на печи», потому заботится обо всех детях ненаглядной Уймы. Сумев полу-

чить бесплатно у богатых «восемнадцать вёрст и ещё пять метров» ткани, вытянувшись сам в такую длину, Сеня приодел в справные брюки всех мужиков и мальчишек своей деревни («Брюки восемнадцать вёрст длины»).

Животные помогают Малине как добрые волшебники. Самые обычные домашние животные творят чудеса и превратились сами в чудо-тружеников. Лошадка Карька увозит на одной телеге столько добра с огорода, сколько не смогли бы сдвинуть с места все деревенские лошади. А собачка Розка научилась у хозяина сама охотиться и рыбачить. Даже лесные пчёлы не жалят, а щедро одаривают его и всех жителей Уймы медовыми «самоидущими» пряниками. Что там какие-то пчёлы, в «логово-берлогу» самого ближнего медведя он провёл телефон для приятных бесед…

* * *

Во многих сказках Писахов осмеивает своих ленивых земляков («Пирог с зубаткой» и др.) и со всей силы позорит и поднимает на смех дореволюционных врагов простого народа — чиновника, полицейского, попа. (По вполне объяснимым причинам советского бюрократа, от которого Писахов натерпелся изрядно, трогать

было нельзя.) Так, в сказках напасти щедро сыплются на них, как из рога изобилия: то пареной репой-брюквой давится губернатор, то народ выкатывает из деревни туши объевшихся полицейских и так далее всё в том же духе. Все недруги крестьян изводятся, и народная убеждённость в непременной победе правды в конце концов торжествует. Всё это долгие годы, во времена СССР, было принято называть социальными сказками, прогрессивными по своему содержанию, обязательно с классовой и богоборческой борьбой. Что касается чиновничества, то тут, как нам видится, достаётся не только царским писарям да вельможам, главная цель — высмеять всевозможное начальство, в том числе советское, которое ненамного отличалось от дореволюционного, о чём сказочник говорит в письмах.

Писахов своими сказками формирует у читателя стойкое отвращение к взяточничеству и ко всем тёмным сторонам всякой власти, своеобразному антимиру, который мешает жить простому народу. Мы видим в его сказках не классовый подход, а скорее вечную тему противостояния двух миров, своего хорошего и чужого плохого, и как следствие этого — отрицательное отношение к бюрократам малообразованного

народа, порой не понимающего, чем занимается чиновник. Д. С. Лихачёв, А. М. Панченко, Н. В. Понырко в книге «Смех в Древней Руси» говорят, что с XVII века, когда обнищание простого народа достигло максимума, что, кстати, содействовало резкому социальному расслоению общества, достаточно широко распространилась письменность в демократической среде. И это позволило писателю из народа, как у нас — Писахову, описывать верхний мир властителей и богачей как чужой и неупорядоченный, исходя из народного представления. Богатые становятся несправедливыми, не знают и не понимают ценности своего благополучия.

Сложнее разобраться с высмеиванием священников в текстах архангелогородца, зная отношение к вере в семье Писахова, да и его паломничество по святым местам и вообще преклонение перед русской древностью, духовностью, насквозь пронизанной религиозностью. Конечно, в сказках писатель выражал народный взгляд на них, который все века был ироничен. И понять это возможно, только если рассматривать тексты сказок не как слепок реальности, а как карнавализацию народной жизни, когда не существует никаких запретных тем. Сама русская

церковь много веков допускала сатирические публикации в свой адрес. Так, ещё в XVIII веке даже рекомендовала своим благочестивым читателям, как нам сейчас видится, богохульные тексты «Служба кабаку» или «Калязинская челобитная», чтобы показать людям мир зла и пропасть между добром и злом. К сожалению, мы во многом утеряли эту традицию и ныне воспринимаем всё иначе, но это совсем другой разговор.

Народный смех — это не абсолютное отрицание, а скорее уничтожение и развенчание, всегда связанное с возрождением и обновлением. Шутим и смеёмся, потому что хотим, чтобы всё исправилось и стало лучше. Отсылаем любопытного читателя ещё и к книге М. М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса». Писахов мог сколько угодно издеваться над попами, что совпадало с требованием советской идеологии, но вряд ли был ярым безбожником. Скорее наоборот, если знать образ жизни сказочника, его внешний вид, нарочитую манерность, граничащую с театральностью, отсутствие интереса к противоположному полу, хотя он запускал в народ истории о якобы неразделённой любви к порт-

нихе, перед нами, возможно, появится во всей красе юродивый советского периода, а юродивый — это протестующий одиночка («Смех в Древней Руси»). На людях юродивый надевает личину безумия, «глумится», как скоморох, «шалует». Вообще такой тип не только присущ средневековой культуре, но и сохранился в наше время. Прозорливый писатель, хорошо чувствующий людей, укрылся, как щитом, личиной старого и немощного чудака с бородой, за какой-то напускной вечной детскостью, весёлостью духа, что, мол, с такого возьмёшь. А человеку всего-то сорок с небольшим лет, у мужчины крепкое здоровье, чего только стоит ежедневное купание Писахова в Северном Ледовитом океане, есть даже фотография. Отсюда его страсть к пасьянсам и гаданию, толкованию снов, маскараду, переодеванию, в том числе в женскую одежду, невнятность и путаность разговора (бормотание), отказ от алкоголя, хотя в его литературном арсенале имеются сказки о пиве («Пивопровод») и о мясной пище (помните, как Сеня Малина запросто съел полкоровы на иностранном корабле, просто как какой-то Робин Бобин Барабек?). Всё это сбивало с толку различных чиновников и доносчиков, контролирующих каждый шаг советских людей,

и, главное, советские органы, ответственные за идеологию, что, возможно, и позволило Степану Григорьевичу избежать ареста в самые лютые времена (кто будет задерживать человека, который, судя по всему, явно не в себе…). Аналогичная ситуация случилась у художника и сказочника Ефима Честнякова: по рассказам местных жителей, когда в тридцатые годы его пришли арестовывать, он прикинулся умалишённым и, сидя на палке, бегал по двору кукарекая, а учитывая, что всё своё свободное время он играл с деревенской ребятнёй, сделал для них в своём доме небольшой театр, рисовал односельчан, читал им сказки и стихи, то сотрудники НКВД поверили обывателям и не стали его трогать, но с обысками по-прежнему приходили. Кстати, его судьба весьма схожа с судьбой Писахова, только последнему повезло родиться в губернском городе, а не в сельце на берегу Унжы посреди костромских чащоб, но элементы юродства у них очень похожи. Так, например, Ефим предсказывал будущее, и до сих пор местные жители считают Честнякова святым и многие песок с его могилы увозят с собой за тысячи вёрст.

Заканчивая тему смеха, добавим: не стоит забывать, что ободрение смехом в самый тяжёлый

период жизни, в момент смертельной угрозы — это сугубо национальное явление. Дмитрий Лихачёв напоминает о А. В. Суворове, который шутками подбадривал своих солдат перед битвами и в тяжёлых походах. Так и Писахов, мало того, что привлекал внимание современников к духовному наследию Русского Севера, так ещё и шутил-скоморошил в сказках и в жизни у смерти на краю, чтобы не сойти с ума…

* * *

Особняком в творчестве Писахова стоит философская сказка «Сплю у моря», она сильно отличается от сказок от имени балагура Сени Малины и по сюжету, и по языку. В ней не найдёте ни комических, ни сатирических образов. Она написана в конце жизни и посвящена педагогу-просветителю Анне Константиновне Покровской, одной из основателей Института детского чтения Наркомпроса, доброму ангелу-хранителю Степана Григорьевича. Сказочник выступает тут и от имени Малины, и от себя лично. Главный герой представлен здесь в образе былинного богатыря, может, самого Святогора или даже первочеловека, которому в лесу тесно, а в поле бугры помеха. Вот он наконец-то лёг спать на берегу моря, даже

скорее океана: «Вздохну — море всколышется, волной прокатится. Вздохну — над водой ветер пролетит, море взбелит, брызги пены раскидат. Спал во весь сон, а шевелить себя берёгся. Ежели ногой двину — со дна моря горы выдвину. Ежели рукой трону — берега, леса, горы в море скину». В конце сказки герой, будто в завещании потомкам, с печалью говорит о соборности («общем согласье») простых людей-трудящихся, что именно в согласии сила: «Старики говорят: один в поле не воин. Я скажу — один в море не хозяин. Кабы в тогдашнее время мог я с товарищами сговориться, дак мы бы всем работящим миром подняли бы море краем вверх, поставили бы стоймя и опрокинули бы на землю. Смыли бы с земли всех помыкающих трудящими, мешающих налаживать жизнь в общем согласье. Да это ещё впереди. Теперь-то мы сговоримся».

Весь мир людей Писахова ясно делится на две категории: честных тружеников, к которым он сам относится, как и его слушатели, и помыкающих ими по своему произволу, не дающих жить всем в согласии, ищущих врагов и загоняющих в рабское состояние…

* * *

С. Г. Писахов из той небольшой литературной плеяды, условно назовём «народно-сказочной», куда входили Б. Шергин, П. Бажов, А. Мисюрев и другие родственные им писатели, которые в двадцатые годы ощутили, что жизнь исконной народной культуры находится на переломе развития и может безвозвратно погибнуть в ближайшие десятилетия из-за насильственной смены экономической модели развития страны и урбанизации, что повлекло за собой массовое отвержение привычных эстетических и этических ориентиров. Русский фольклор, накопленный народом за много веков, если не сказать тысячелетий, с конца XIX века входит в период глубокого кризиса. Следовало срочно привлечь к нему внимание общества, продолжить собирание и, главное, переосмыслить, придать ему новые силы, в том числе путём создания литературных сказок (сказов) на народной основе. Фактически переработав, писатели этого направления перенесли в русскую литературу сокровища народного творчества, которые продолжают радовать нас до настоящего времени.

Буквально два слова скажем об ответвлении

на древе фольклора в середине XX века, как раз развивающемся в то же время, что и творчество Писахова. Её яркими представителями были А. Мисюрев, М. Крюкова и другие менее известные сказители и литераторы. Разговор пойдёт о так называемых «новинах», прославляющих советскую власть, их, кстати, умудрились создать более шестисот. Отчаянная попытка новоиспечённых властей и преданной ей части литераторов с помощью средств стилизации внести новый жанр в народный фольклор и в советскую литературу, легитимизировав тем самым Октябрьский переворот и действия большевиков, последовавших за этим, придав им известную эпохальность. Жанр новин-былин, в отличие от литературной сказки, не прижился, несмотря на все денежные вливания, старания и пропаганду и благополучно скончался в пятидесятых годах, когда не стало так называемого «социального заказа». Таким образом, не каждое направление в фольклоре можно переосмыслить и привнести в современную эпоху, придав второе дыхание. Воссоздать былины, в которых национально-патриотические, общественные мотивы преобладают над всеми остальными и где время и место действия имеют историческое

приурочение, в советских условиях не вышло.

* * *

Степан Григорьевич Писахов, как писал Фёдор Абрамов в 1979 году в статье «Были и небыли Степана Писахова», несомненно, принадлежит к самым замечательным и своеобразным сказочникам мира. Андерсена, братьев Гримм у нас знают все от мала до велика, о них написаны горы книг. А хорошо ли мы знаем соотечественника и знаем ли вообще? Не слишком ли мало, положа руку на сердце, издаём его, так, от случая к случаю? Абрамов в своей статье спрашивает, а предусмотрено ли в новой столице Севера увековечить мир сказки и былин, и прежде всего Степана Писахова?

Да, завет Фёдора Александровича выполнен. В новой России поставлены памятники сказочнику и его героям, но нам ещё многое предстоит сделать, чтобы не только достойно увековечить и сохранить для потомков имя северного сказочника, но чтобы его герои как добрые друзья вошли в каждый дом, к каждому ребёнку, а для этого надобны книги и иллюстрации, фильмы и мультфильмы, игры и выставки…

Глава 2. Сказки деревенского художника

Ефим Васильевич Честняков

Ефим Васильевич Честняков родился в крестьянской семье Самойловых 19 (31) декабря 1874 года в небольшой деревне Шаблово Кологривского уезда Костромской губернии, крещён 22 декабря. Стал широко известен, в первую очередь, как художник, уже после кончины, с конца 1960-х годов, когда специалистами-музейщиками были обнаружены его картины и начался систематический сбор материалов о его жизни и творчестве.

В семье Самойловых было трое детей. Ефим, единственный мальчик, оттого, кстати, и самолично получил фамилию Честняков, то есть «честняк» — единственный сын-кормилец. Данное обстоятельство в дальнейшем сыграет трагическую роль, во многом перечеркнёт все его надежды и стремления стать художником и писателем и уехать из родной деревни. Семья Василия и Вассы Самойловых была самая обыкновенная: как все крестьяне в этих местах,

они пахали землю, собирали урожай, держали птицу, скот, для которого следовало запасать сено, ежедневно делали обычную крестьянскую работу, без которой невозможно выжить. Были они когда-то крепостными здешнего помещика по известной фамилии Лермонтов, как после рассказывал Ефим Васильевич, родственником того самого знаменитого поэта. Что ж, изменчивая фортуна преподносит весьма разные судьбы литераторам, как, впрочем, и дарования, и мы с вами уже успели убедиться в этом — одни катятся в классики как по широким проспектам, под звуки открываемого шампанского и литавр, а другие вечно плутают в трёх соснах, будто в дремучем ельнике, третьи шлёпают по болотам или скачут с кочки на кочку…

* * *

У маленького Фимы, а он любил, чтобы его так называли, было самое заурядное крестьянское детство, как и у миллионов детишек в его время: деревенские игры с ровесниками, но с малолетства — лишь только малец стал крепко стоять на ногах — подмога родителям, а там, глядишь, и поспела работа в поле или, на худой конец, глядеть за скотиной. Вот как рассказывает сам

Честняков: «Утро. Я пробудился — едва брезжит свет. Ещё не рассвело, в избе тихо и нет никого. Только мухи пролётывают да тараканы шуршат по стенам. Постель, где лежу, на полу. У лавки светец. Холодные уголья в корытце, и на полу лучины. Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп — хлопают мялки. Мнут лён в деревне. Тут-тук, тук-тук — молотят на гумнах. Мне жутко в избе одному. Поднялся с постели, к окну подошёл. На улице иней белеет, как снег… Из избы выбегаю в одной рубашонке…». А вот ещё несколько слов о скромной крестьянской жизни: «Чай дома пили редко, в большие праздники или когда кончат какую работу — сенокос, жатву, молотьбу… Тогда варят яичницу да картофницы, выжинарницы». Так и представляется, что в крестьянском дворе пахнет дымком, шумит блестящий самовар, а в его решётке просвечиваются и мерцают загадочно угольки. Ветер спешит, шелестя листвой вдоль Унжи — река протекает совсем рядом с деревней. Шаблово расположено на возвышенном правом берегу, в живописном месте.

Вот этот крестьянский быт, вековые устои, безусловно, явились основой питательной среды, из которой проросло его будущее творчество, всё своеобразное восприятие окружающего мира.

Патриархальный уклад жизни найдёт выражение и в его сказочном идеальном мире, который он щедро разбросает по своим картинам, театральным постановкам, скульптурам, сказкам и стихам. Мир грёз Честнякова окажется крестьянской утопией, но такой доброй и уютной.

Семья Самойловых была истово верующая, оттого и сказочник пронесёт веру через все выпавшие ему испытания. Отец Ефима был грамотный, разбирал перед праздниками Евангелие, матушка рассказывала сказки и пела песни, дед Самойло приглядывал за деревенской часовней, тоже знал много сказок и поведал, какие пережил приключения, когда ездил в Петербург по делам крестьян. С волнением рассказал про телеги, которые без лошадей по улицам ездят, про многоэтажные дома и фонари на улицах, про пароходы на Неве… Также важную роль в воспитании мальчика сыграла бабушка Прасковья. Прекрасная рассказчица с даром импровизации вдобавок помнила много сказок, говорила обо всём так, что всё приобретало народнопоэтический, сказочный характер. Она и поведала внуку про домового и кикимору, про лизуна, у которого язык будто тёрка…

Рисовать мальчик начал рано, когда ему ещё не

было и пяти лет. Прежде срока Ефим самовольно стал учиться читать у соседа — дядюшки Фрола, а через год, в 1882 году, в соседней деревне Крутец открыли четырёхклассную земскую школу, и он перешёл туда. Там впервые паренёк и увидел настоящий рисунок. Из письма И. Е. Репину: «Впервые карандашный рисунок увидел в комнате учительницы — контур дерева, обыкновенная плохая копийка. Но я был в восторге. Отчего у меня так не выходит? Ломал голову, всматривался в деревья, хлестал ветвями и сучьями по снегу и смотрел на отпечаток — не увижу ли чего, что бы помогло разрешить загадку. Учительница не могла мне помочь: она совсем не рисовала, этот рисунок кто-то подарил ей». А еще у отца Ефима хранилось несколько лубочных картин…

С 1886 по 1889 год Ефим обучался в Кологривском уездном училище на улице Вятской, куда сбежал из дома, не спросив разрешения. Но паренька приняли без экзамена, и это несмотря на то, что учебный год начался месяц назад.

* * *

Попробуем развеять миф или наоборот только добавим дыма: многие исследователи биографии Честнякова отмечают, что в училище препода-

вал рисование и черчение местный художник И. Б. Перфильев. Разберёмся. Иван Борисович родился в 1821 году, умер, по имеющимся сведениям, в 1883 году. Он известен как первый профессиональный учитель знаменитого художника Геннадия Александровича Ладыженского (1852–1916) и ещё одного художника — академика Петра Ивановича Невзорова (1831–1900). Стало быть, к сожалению, Честняков никак не мог у него учиться, хотя, безусловно, слышал о нём, скорее всего, и видел его работы. Так, Ладыженский вспоминает, что дом Перфильева напоминал картинную галерею, столько в нём было его картин и различных копий.

Но ряд источников упрямо называет Ивана Борисовича учителем Ефима, мало того, якобы в 1908 году он был вдобавок сослан в Сибирь, и это в 87 лет! В знак протеста Александра, старшая сестра Ефима (!), выпускница Кологривской женской прогимназии, отказалась от золотой медали. Честнякову, например, в 1908 году стукнуло уже 24 года, а сколько же было его старшей сестре, выпускнице даже не гимназии, а только её подготовительного курса? Старшую сестру Ефима Васильевича звали Татьяна, к сожалению, годы жизни её пока неизвестны, о ней мало

информации. Так, указывается, что она умерла вместе с мужем в лихолетье, вероятно, от тифа, оставив двух детей, которых будет воспитывать Честняков. Александра — младшая сестра (1887–1968), школьная учительница, связанная с эсерами, — два раза подвергалась арестам (1937, 1948), окончательно освободилась только в 1957 году, возможно, именно она и отказалась от медали в прогимназии.

Об И. Б. Перфильеве, как об учителе, осторожно упоминают и исследователи жизни и творчества кологривского самородка В. Я. Игнатьев и Е. П. Трофимов, на книгу которых — «Мир Ефима Честнякова» (Москва, 1988) — мы во многом опираемся при написании данного очерка, так что вопрос об учителе рисования шабловского самородка остаётся открытым.

Видимо, большое влияние на маленького Фиму, как на будущего художника, оказали великолепные фрески начала XIX века, находившиеся в приходском Ильинском храме села Илешево. Честняков вполне мог считать своим духовным наставником автора, расписавшего тамошние церковные своды. «Каждое воскресенье ходил к приходу (4 версты), — оставил Ефим Васильевич записи. — В храме особой моей любовью пользо-

вались Воскресение и Благовещение». Частично замечательные фрески чудом уцелели, несмотря на варварское с ними обращение в советский период, но те, что особо поразили Фиму, пока не открыты из-под слоя штукатурки, ведь при большевиках в храме (закрыт в 1932 году) был соляной склад, кроме этого, по росписям даже стреляли. Но, как бы то ни было, будущий художник с младенчества имел перед глазами весьма достойные ориентиры в живописи, хоть и рос буквально в медвежьем углу.

Недавно установлено, что храм расписан местным художником Силой Ивановым. По сведениям илешевского краеведа Алексея Хробостова, художник Сила родился в известном нам Шаблове и был крепостным крестьянином, которого отправили в Петербург, видимо в конце XVIII — начале XIX века, «учиться на художника» (современные искусствоведы относят художника к кругу В. Л. Боровиковского). После окончания Академии художеств Иванов не остался в столице, а вернулся на малую родину, где и занимался росписью храмов. В деревне Шаблово он по собственным чертежам поставил себе колоритный дом с золотым репьем на шпиле. Отчего получил нагоняй от старосты, мол, как можно крепостно-

му иметь жильё краше, чем у барина? Позже Сила Иванов вернулся в северную столицу, и больше о нём не известно ничего.

Так и хочется отвлечься и обратить внимание читателей, насколько обильна Кологривская земля на художников! Видимо, живописные земли вдоль Унжи, холмы-гривы да перелески рождают в душах необъяснимую страсть к рисованию и поэзии.

* * *

Фимка Честняков оказался на удивление способным учеником: любил читать, при первой возможности брал карандаш и рисовал на чём придётся, пробовал писать стихи. К сожалению, он не вёл подробных дневников, но из обрывков писем, записей, воспоминаний, литературных произведений вырисовывается сложная жизнь сказочника и художника. А мы пойдём по ключевым моментам его судьбы, что сформировали из него человека, которого мы теперь знаем.

В 1884 году лёд на Унже тронулся после 23 апреля, но в мае, после 18 числа, прошли страшные дожди, и река снова разлилась и подтопила все берега. Бушующие воды нового разлива подобрались к Кологриву, едва не затопив городок. Но

Ефим не замечал непогоды, все помыслы были заняты другим, он оказался на распутье… Так сложилось в жизни, что своей семьи у него так и не появилось: в двадцать лет он полюбил девушку Машу (Марьку) Веселову, но она была небогата, и родители Ефима ему жениться не позволили, да, впрочем, и её сродники были против шибко учёного зятя. Тогда возлюбленная вышла замуж за другого и переехала в другую деревню. По воспоминаниям односельчан, вновь они свиделись только перед её смертью. Несчастная и единственная любовь наложила отпечаток на всю его жизнь, видимо, с тех пор он не ел мяса, не курил, не употреблял алкоголь и даже перестал охотиться.

Из письма И. Е. Репину мы знаем, что по окончании училища в 1889 году он в двадцать пять лет не в силах больше сдерживать стремления стать художником на грузовой лодке отправляется в учительскую семинарию продолжать образование. Преодолев 300 вёрст до Волги, ему удалось пересесть на пароход и попасть в Ярославскую губернию, там в селе Новое Мологского уезда он начинает учиться. Семинария, которая расположилась в усадьбе, готовила учителей для начальных школ и ранее принадлежала

известному драматургу А. В. Сухово-Кобылину, который по совету К. Д. Ушинского продал её для организации учебного заведения.

* * *

Ефим по-прежнему при первой возможности рисует и увлекается литературой, много читает. Учился он на стипендию купца К. А. Попова, уроженца Костромской губернии, немало тратившего собственных средств на благотворительность. 3 июня 1894 года Честняков окончил обучение и назначен работать в село Здемирово родной губернии. Там он проработал год и был переведён в Кострому. Оказавшись в большом губернском городе, он попадает под обаяние своего земляка-народника, сына священника А. В. Попова, общавшегося с самим Максимом Горьким.

Не задержался Ефим Васильевич в Костроме и через год по неизвестной причине был переведён преподавателем в начальное народное училище в село Углец Кинешемского уезда. Четыре года, проведённые в этих местах, — очень важный период жизни Честнякова, здесь состоялась его встреча с настоящим театром и на всю жизнь он осознал великую преобразующую миссию искусства. Выходец из патриархальной крестьянской

семьи, Ефим оказался в водовороте современной жизни, с жадностью впитывая всё, что находит отзвук в его чувствительной душе. Именно в искусстве, был убеждён Честняков, уготовано для него поле деятельности, и он через творчество сможет воздействовать на окружающий мир и совершенствовать его. Особые надежды он возлагал на театр, в ту пору один из самых активных видов искусства, в котором проявились демократизм, доступность и возможность положительного влияния на общество.

Но изобразительное искусство для Честнякова явилось той формой познания действительности, которая выражала его мировоззрение, мироощущение. Будучи художником «милостью божьей», он упорно продолжал занятия живописью. Это видели друзья и коллеги Ефима Васильевича, и спустя много лет он отметил в письме К. И. Чуковскому, что его рисунки неведомо для него как-то попали к самому И. Е. Репину. Последний, видимо, отметил дарование деревенского художника. Честняков сделал для себя очень важный шаг, который во многом перевернёт его дальнейшую судьбу, — решил отправиться в столицу и поступать в Академию художеств. Кинешемские меценаты поддерживают его стремление. Он по-

лучил рекомендательные письма к влиятельным лицам с просьбами о помощи местному дарованию. В Петербурге Ефим Васильевич знакомится с Н. Л. Линёвым, вхожим в круг знакомых самого Ильи Ефимовича Репина.

* * *

Поступить в Академию художеств в 1899 году Честнякову не удалось: не было специализированного ценза, следовало получить художественное образование, а самоучек не брали. Но подсобили учительские связи, и наконец-то с января он принялся заниматься в скульптурном музее академии и в мастерской живописи княгини М. К. Тенишевой, где стал преподавать сам И. Е. Репин. Не имея специальных навыков, Ефим с присущим ему крестьянским упорством стал постигать азы живописи. Жил он на поддержку меценатов из Кинешмы, где постоянно устраивались лотереи в его пользу, выставки и продажи его рисунков и копий с картин из Эрмитажа. При этом он умудрялся помогать семье, видимо, благотворительная стипендия не была скудной, как у Писахова, и посылал деньги на обучение сестёр и помощь родителям.

В северной столице происходит мировоззрен-

ческий перелом художника, Честняков начинает отходить от народнических взглядов на будущее России. В качестве панацеи он выдвигает идею универсальной крестьянской культуры, следуя знаменитому девизу Ф. М. Достоевского «красота спасёт мир». Кроме духовной деятельности она включала труд и быт крестьян, социальное поведение, фольклор, которые следовало поднять на более высокую ступень ради всеобщего благоденствия. Этой утопической идее он и станет верно служить всю жизнь. Современные исследователи видят в этом влияние группы «Мир искусства», желавшей переделать мир благодаря творчеству и красоте, бродившей на рубеже веков тёмными коридорами символизма с полусказочными тенями-образами из дворянского прошлого. Всё это оказалось близко художнику из Кологрива, только он один из немногих направился в крестьянское прошлое, которое хорошо знал, которое было его плотью и кровью. Честняков сосредоточился на полузабытых русских обрядах, сказках, песнях, былинах, чтобы возвести народное искусство на недостижимый в мире пьедестал, ругая на чём свет стоит царившие в отечественной культуре порядки и слепое следование западным образцам…

* * *

В 1903 году Честняков попадает в Высшее художественное училище при Академии, но проучился только по декабрь. Из дома шли бесконечные письма с просьбами о помощи, хорошо, что ему ещё помогали кинешемцы, и он, будучи в долгах как в шелках, при первой возможности высылал деньги родным. Покинув училище, он пытается начать самостоятельную работу, но дела идут плохо. Отец в письмах зовёт его расписывать церковь в соседнем селе, чтобы наконец-то решить финансовые проблемы, но Ефим не спешит, он максималист и не готов идти на компромисс, ему нужна только та работа, в которой можно творчески выразить самого себя.

Осенью он уезжает на Волгу, в Казань, для поступления в художественное училище, окончание которого даст ему право наконец-то обрести злополучный ценз для поступления в Академию художеств. Пробыв там несколько месяцев, Честняков возвращается обратно в Петербург, он не хочет ещё раз начинать всё с самых азов только ради диплома. Душа художника мечется между высокими устремлениями и обыденностью. Земные дела взяли вверх, в крупных городах и

столицах шумят беспорядки, названные позже «революцией», а он в октябре 1905 года уезжает в своё ненаглядное Шаблово, в мир, знакомый ему с детства, в домашний уклад, к ласкающей взгляд родной природе. По приезде домой на его плечи непомерным грузом ложится забота о родителях и родных. Теперь, несмотря на финансовую поддержку из Вычуги, которая продолжалась до середины 1908 года, он сеет хлеб, пашет землю, косит траву, делает всю крестьянскую работу. Лишь зимой выпадают свободные деньки, когда можно перевести дух от постоянных сельских забот. Ефим записывает у односельчан песни, сказки, частушки, а ещё рисует и сочиняет своё, в том числе принимается за большой роман в стихах про Марка Бесчастного. Его радовала самобытность, талант народа, повседневный труд не по шаблону, в отличие от работы наёмного фабричного рабочего, вынужденного механически выполнять одну задачу…

* * *

Первое затворничество Ефима Васильевича в Шаблово продлится до весны 1913 года, и оно станет одним из самых плодотворных периодов жизни кологривского художника и сказочника.

Ещё в Петербурге он начинает писать сказку-притчу о крылатых людях, продолжает работать над ней и на родине, но так и не допишет её. Она существует в многочисленных вариантах, набросках. В ней говорится об островитянах, живущих где-то далеко в море и мечтающих о спокойной, свободной и изобильной жизни. И вот они узнают о сытной стране и бросаются снаряжать корабли. Мудрец отговаривает их, убеждая, что счастья невозможно добиться, толкая друг друга. Островитяне гибнут из-за невоздержанности, жестокого нетерпения и чёрствости в отношении других людей. Но история имеет традиционный благополучный конец. Некоторые люди через творческий поиск и тяжкий труд с помощью мудреца изобретают крылья и, оторвавшись от всего низкого, ненадёжного, взмывают в небеса, и видится им та самая волшебная страна. Сказка-притча, весьма модная в то время, показывает, сколь тщетны попытки добыть добро злом, то есть невозможно через насилие построить новое общество, полное мира и гармонии. Философия Ефима Васильевича противоречила массовым «демократическим» воззрениям, подобно заразе поразившим тогдашнюю интеллигенцию, призывающую народ более полувека то к топору,

то к террору против власти. Не будем забывать, что сам великий «непротивленец злу насилием» Л. Н. Толстой оправдывал террористов…

Честняков обыгрывает в недописанной сказке евангельские слова Иисуса «будьте как дети» (Мф. 18:3). В раннем возрасте дети сохраняют поразительную целостность ума, сердца и воли. Детям свойственна простота, непосредственность. Им ещё чужды такие незавидные, но привычные качества взрослого человека, как двоедушие, лукавство, лицемерие. Гармония, царящая в душе ребёнка, позволяет ему видеть и гармонию вокруг себя. Мир ребячьей фантазии и мир реальности зачастую не имеют чётких границ и незаметно переходят друг в друга. Ребёнок, рассказывая о чём-то реально виденном, увлёкшись, может сам для себя незаметно перейти и к выдумкам. Так и в притче взрослые с гневом осуждают мудреца, а вот дети, напротив, за него и в конце концов оказываются правы. По всей видимости, за этим стояла личная трагедия шабловского мыслителя — окружающие, погрязшие в ежедневных заботах, не понимали его, а просто насмехались над его идеями. Похожая ситуация, как мы знаем, была у С. Писахова, да и не у него одного. Так же, как бы помягче сказать, не понимали односельчане и

поэтов, например Н. Рубцова, ссыльного И. Бродского, вместо сенокоса или копания картофеля твердивших себе под нос рифмы…

Честняков, видимо, наивно ожидал, что его искусство, создаваемое для крестьян, благодатно воздействует на их нравы и быт, сделает их чище и добрей. Но малограмотный селянин, с раннего детства измотанный тяжёлым, порой непосильным трудом, в лучшем случае равнодушно смотрел на забавы Фимы и воспринимал всё как чудачество взрослого, непьющего и некурящего соседа, тешащего себя ненужными потехами. Мог ли Честняков тогда достучаться до взрослых душ? Маловероятно. Лишь незадолго до смерти, с середины пятидесятых годов, снискавший в родной округе славу блаженного, он в открытую говорил, что его волнует, и люди к нему худо-бедно начали прислушиваться. А так лишь только святая детвора с восторгом встречала необычные статуэтки из глины, самодельные театрализованные представления, картины и сказки с песенками.

Для них Ефим Васильевич пишет сказки в прозе и стихах, рисует к ним картинки. Так, в поэтической сказке про деревенского паренька Федорку и девочку Яю, местами весьма напоминавшей по слогу и стилю ершовского «Конька-Горбунка»,

рассказывается, как крестьянин, попав в большой город, дивится тамошним чудесам и соблазнам. Начинается она как известные народные сказки:

Уж не помню, где-то было. Жил да был старик Вавило…

В сказке есть и летучий корабль-ладья, и красавец похититель, и парень, желающий разыскать чудодея и освободить девушку.

* * *

Не отходя от традиционных сказочных форм, Честняков всё же создаёт собственную прозаическую литературную сказку, с описаниями, с подробностями, которые не знала народная сказка, и, конечно, в ней деревья, цветы, ручейки и животные разговаривают и между собой, и с людьми. Окружающая художника природа живая, очеловеченная и живёт сама по себе. Так, сказка «Чудесное яблоко» вмещает многие элементы народной сказки, начиная от «жили-были дедушка да бабушка…», и напоминает всем известную народную «Репку». В лесу происходит чудо — на старой яблоне выросло огромных размеров яблоко; имеются в небылице и говорящий тетерев, и смеющаяся сова (кстати, редкие герои народных сказок), что подсказывают старику-кре-

стьянину, нашедшему его и вознамерившемуся перевезти его домой. Но в произведении чувствуется автор, в сказке легко читается мысль, что волшебное яблоко можно увезти только тогда, когда старику помогает вся его семья! Дружное семейство — это ли не сила, вместо лошади они впрягаются в повозку-ондрец и увозят находку к людям. Чудесным даром леса лакомятся тоже все вместе. «Привезли домой яблоко, и вся деревня сбежалась… Кушали сырым, и печёным, и в киселе… Соседям всем завсегда давали, особенно кто захворает. И хватило им яблока на всю осень и зиму до самого Христова дня».

Сказочное у Честнякова — это то, что сделано дружно всеми вместе, общее дело. В «Шабловском тарантасе» крестьяне сообща построили огромный тарантас, «чтобы вся деревня поместилась…», запрягли двадцать пять лошадей. Едут, по дороге случайно рушат овины, лес ломают… Но мало им совместной поездки, когда вернулись из города, то всем миром постановили сделать по кирпичу, на следующий день уже по шесть, и так пошло дальше. Из них сладили парник-рассадник вдоль деревни, «чтобы теплее было». А ещё каменного старика выше изб (память о предках?), а после водопроводную башню, купили семян,

вымостили улицу, по деревне пустили воду. «Получился необыкновенно большой дом, а внутри стоят избы и растут сады», — пишет сказочник. Вот он, прямо с его картины на бумагу и сошёл Город Всеобщего Благоденствия. Стали односельчане хлеб печь вместе в больших печах и еду готовить. Зимой тепло, даже птахи у них под прозрачной крышей зимуют. Ситец сразу на всех жителей Шаблово покупают, да платки носовые, и по дюжине девицам и молодцам делят, а ещё мужикам и бабам, старикам и детям. Вот такая община-коммуна вышла у Ефима Васильевича в сказке и на картине, где живут все дружно и ладно, в тепле и сытости, и, заметьте, без всякого насилия, в отличие от известной повести «Котлован» Андрея Платонова, где герои тоже строят «обще- пролетарский дом».

* * *

Также незатейливы по композиции и содержанию сказки «Иванушко» и «Сергиюшко», но сколько в них доброты и щедрости, картин родной природы. Автор, не скрываясь, сопереживает своим героям. Волшебный мир птичьего царства с пониманием относится к деревенскому мальчику Иванушко, которому захотелось побывать

у сказочных гусей-лебедей. Получилась сказка наоборот, отталкивающаяся от одной из самых любимых народных сказок «Гуси-лебеди», только теперь дитё никто не похищает, оно само, подобно лягушке-путешественнице Всеволода Гаршина, кстати, также ныне во многом обойдённого в известности и полузабытого сказочника, просится в полёт. Вот птицы прихватили с собой человеческое дитя и привезли на озеро, где сами зимуют. Здесь, в птичьем царстве, пернатые живут хорошо и, главное, дружно, сообща. На обратном пути приключения маленького гостя продолжаются — путники останавливаются на ночлег посреди леса и у медведюшки находят тёплый приём: «И повёл в свою избушку, накормил-напоил, ягод нанёс — потчует». В байке царят мир и добро, ребёнок ничего не страшится, нет слёз и горя, никто не визжит, будто его режут, в отличие от полной тревоги переиначенной Львом Толстым английской сказки «Три медведя», далеко ушедшей от оригинала.

В сказке «Сергиюшко» мы видим прямое указание автора на то, как важно людям беречь найденное, дарованное природой. Честняков вновь использует здесь литературный приём, как и в «Чудесном яблоке»: герой сказки за хоро-

шее поведение получает от маленького лесного старичка ягоду такого размера, что её «парнёк обеими руками в обхватку взял». Её тоже всем показали и дружно съели. От той ягоды следовало сохранить семечки, чтобы посадить, и тогда по всей деревне могли бы расти такие же большие ягоды. Вроде всё пошло как надо: «И весь народ стал садить от этих семян. Но случились весною морозы, а лето сухое и жаркое: всё засохло, ничего не уродилось… Но огороды плохо загорожены, вошли коровы, да овцы и лошади — всё съели да затоптали и копытами выбили». Остались люди по своей вине без чудесной Сергиевой ягоды, не смогли справиться с трудностями, и добросердечный читатель горюет вместе с автором.

Поговорим о сказке «Ручеёк», но вначале попробуем ответить сами себе, а что это — пейзажная зарисовка, этнографическое описание, бытовая картина? Послушаем зачин: «Ручеёк вытекает из колодца под Михайловой горой. Это самый низкий колодец во всей деревне. С небольшим широким обрубом. Вода в нём так близко, что бабы черпают её прямо с коромысла». Не ясно. Текст строг, короткие предложения, будто нарочито отмерены и нарублены автором, напоминает прозу М. М. Пришвина с его «Заосеняло. Мухи стучат

в потолок. Воробьи табунятся. Грачи собирают упавшие зёрна на убранных полях» или «Лес берегами как руками развёл — и вышла река». Но тут же, на следующей странице, у шабловского сказочника ручеёк уже беседует со снегирём и клёстом, дети играют на пригорке, а бабы полощут бельё. А в конце сказки появляются русалки, в белом тумане над рекой и над оврагом. «Волосы их струятся серебряным светом над самой водой, над оврагом», — старательно описывает Ефим Васильевич, попутно рассказывая, как живёт родная деревня от зимы до Фролова дня, то есть до 18 августа по старому стилю.

* * *

Говоря о языке произведений Честнякова, следует отметить, что сказочник проявил себя как знаток кологривского говора, а не только местного фольклора. И фактически выступил за активное продвижение диалектов в городскую речь образованных слоёв населения. Современная исследовательница Е. Г. Веселова утверждает, что сказочника волновало дальнейшее развитие русского литературного языка, который, по его мнению, должен был больше ориентироваться на северорусскую окающую языковую стихию,

повседневный язык многомиллионного крестьянства. Потому Честняков при написании сказок широко использовал местные языковые нормы: «баушка» вместо «бабушка», «парнёк» — «парень» и т. д., особенно много подобных слов встречается при описании природы.

Веселова сравнила текст изданных до революции сказок с рукописями Честнякова и установила, что редакторы сказок убрали много непонятных слов, названий местностей и т. д. Безусловно, это облегчает чтение, но, положа руку на сердце, мы должны признать, что сказки рассчитаны на младший школьный возраст и уяснить текст детишкам очень сложно. Как мы видим, главные герои сказок Ефима Васильевича — кологривские крестьяне и маленькие дети, речь их, конечно, должна соответствовать своей тематической группе, но в меру…

Особенную выразительность и экспрессию сказкам Честнякова придают устойчивые общенародные выражения: «хоть горстями бери» — «очень много», «ходить в кругах» — «водить хороводы», «заболтать блины» — «приготовить тесто на блины» — и, видимо, свойственные Костромской области: «обыденной чередой» — «как обычно», «в зависти нет» — «в помине нет, совсем

нет». Сказочник — знаток живого фольклора и весьма часто использует фольклорные выражения, например, со словом красный, которые обычно встречаем в русских народных сказках: «Вышел Иванушко на крылечко красной весной» («Иванушко»).

* * *

Одиночество и непонимание окружающих в Шаблове странного художника, полное израсходование запасов материалов для творчества, да ещё вдобавок информационный голод и жажда показать свои творения в столице способствовали решению Ефима Честнякова снова отправиться в далёкий Петербург и попробовать попасть в Академию художеств.

За финансовой поддержкой Ефим Васильевич привычно обратился к вичугским меценатам в лице Натальи Александровны Абрамовой и её родного брата, крупного фабриканта Сергея Александровича Разорёнова. Но Честняков и не был уверен в поддержке из-за «пресловутой непродажности своих картин», да и из-за того, что не вернулся в Петербург на учёбу раньше. Но необходимые средства всё же поступили из Вичуги в Шаблово в мае 1912 года. Однако сразу

отправиться в путь не удалось, обстоятельства жизни крестьянина Честнякова отсрочили поездку до марта 1913 года.

Оказавшись в Петербурге, Ефим Васильевич вновь стал заниматься в академической мастерской профессора Д. Н. Кардовского в качестве частного ученика. Несколько раз удалось ему посетить дачу И. Е. Репина Пенаты, где он показывал своё творчество: читал сказки и стихи гостям художника. Говорят, среди них присутствовал и сам Фёдор Шаляпин, что твердил, мол, езжай в Париж, выставляйся с «мирискусниками». Здесь же Честняков познакомился с К. И. Чуковским, который и свёл его с издателями. И уже в начале 1914 года в журнале «Солнышко» № 1 была опубликована сказка «Чудесное яблоко», а в издательстве «Медвежонок» отдельной книжкой с иллюстрациями автора вышло три сказки Честнякова — «Чудесное яблоко», «Иванушко», «Сергиюшко». Летом 1914 года он иллюстрировал сказку «Семеро сирот из Фростмо», которая должна была выйти отдельной книжкой, но начавшаяся Первая мировая война перечеркнула все грандиозные планы и начинания кологривского самородка в столице. Ефим Честняков стал собираться обратно, в родное Шаблово. Перед

отъездом у него появилась финансовая возможность приобрести необходимые материалы для будущей работы и благополучно довезти до дома большой багаж, кроме того, он купил фотоаппарат — недешёвое и редкое по тем временам изделие.

* * *

С этого времени у Е. В. Честнякова начинается период безвыездной жизни на родине. В войне он не участвовал, будучи освобождённым по состоянию здоровья. Кроме крестьянского труда, он становится первым фотографом в Шаблове, запечатлевая родных и земляков (видимо, у него был только один комплект фотопластин, после израсходования которого он их больше не приобретал и более никогда не занимался фотографией).

Свержение царизма и приход новой власти Ефим Васильевич поначалу встречает с воодушевлением, как и многие творческие люди, мечтая рисовать новую Россию. Но новым властям деревенский художник был не особо интересен. В 1918–1925 годах он — член Кологривского отделения Костромского научного общества по изучению местного края. С ноября 1919 года принимал участие в работе Дворца Пролеткульта,

где преподавал в художественной и театральной студиях, но ходить пешком по бездорожью в город было тяжело, как и одновременно вести крестьянское хозяйство. С 1920 года Ефим Васильевич жил в основном в родной деревне и с 1 декабря в течение пяти лет руководил созданным им детсадом в Шаблове, где организует детский театр, который в том или ином виде просуществовал до смерти Честнякова.

Стало не до новых публикаций, ещё 17 февраля 1918 года в газете «Правда» появилась программная статья «Забытое оружие. О детской книге». Прошло всего три месяца с того момента, как большевики захватили власть в стране, но они уже поспешно принялись перестраивать общество по социалистическим образцам. Вот и настал черёд детской литературы. Автор статьи — Л. Кормчий (Леонард Юлианович Пирагис), второстепенный писатель, писавший в том числе и для детей, который решил присоединиться к победителям и провозгласил детскую литературу важнейшим союзником в деле созидания нового человека. Кормчий провозгласил, что литература — это оружие, которое не должно попасть в руки классовых врагов. Задача советского государства — обеспечить детей более подходящей литера-

турой. Он и сформулировал основные тезисы: детская литература обладает большой воспитательной ценностью, так как влияет на формирование характера, морали и убеждений читателя. А дореволюционная детская литература была в основном буржуазной, служила монархии, церкви и капиталу, воспитывала послушных «рабов», боролась против «вольнодумства» и социализма. От неё, от этого «яда, грязи и мусора», так же, как и от «распространителей», следует освободиться; причём «очищение» детской литературы следует провести безо всякой мягкости и нерешительности. Детскую литературу необходимо монополизировать; государство должно взять на себя ответственность за создание детской литературы. Её цель — создать поколение людей, «свободное от предрассудков и суеверий», людей, которые могут стать «прочным фундаментом для будущего созидания здания свободы и красоты жизни».

Кстати, Л. Кормчий, один из основоположников советской детской литературы, в 1919 году сбежит в Латвию из восхваляемого им «коммунистического рая», где сразу перекрасится в антисоветчика и после 1939 года, перед вступлением советских войск в Латвию, удерёт в

фашистскую Германию. Зато статья в «Правде» от 1918 года будет прославляться в СССР до перестройки (любопытных и дотошных отсылаем к статье Б. Хеллман «Детская литература как оружие: творческий путь Л. Кормчего»).

Устранять нежелательную литературу в Советской России было не так уж трудно. Сразу же после Октябрьских событий ввели цензуру, и уже в 1918 году большинство небольшевистских издательств, газет и журналов стало постепенно закрываться. После, уже во времена НЭПа («новой экономической политики»), вновь появились частные издательства, но просуществовали они совсем недолго, к 1930 году все были закрыты.

Вписывался ли Ефим Честняков со своими сказками в издательскую политику советских издательств? Маловероятно, если ещё учесть и развязанную Н. К. Крупской борьбу с засильем сказки в детской литературе и её фактическим изгнанием оттуда, а заодно и из библиотек.

Непростые времена. Родной Кологрив удостоил своего самородка-крестьянина лишь двух выставок: в марте 1924 года — выставка эскизов-картин и художественных изделий из глины в краеведческом музее и в июле 1928 года — «Литературно-концертный вечер оригиналь-

ных произведений Е. Честнякова-Самойлова» в городском театре, но местный Пролеткульт к этому времени давно открестился от художника Честнякова, по-прежнему говорившего о Боге и о сохранении крестьянской культуры.

* * *

С конца 1920-х годов у Честнякова начался творческий кризис, вызванный прежде всего горькой нуждой, отсутствием самого необходимого для творчества, а также непониманием и отсутствием какой- либо поддержки со стороны властей (к тому же громко прозвучало обвинение художника в «буржуазном формализме»). Его творчество не прославляло коллективизацию, ударные пятилетки, а тем более советских вождей, потому считалось малоценным и неактуальным.

В конце 1920-х, в 1930-х годах Ефим Васильевич с горечью наблюдал окончательное разорение русской деревни, слом привычного патриархального уклада. Частенько читал односельчанам стишок:

Где-то нищие дерутся,
То российска революция.
Теребят один другого,

Чуть почти что не нагого.
Ты, товарищ, мне не брат —
Больше у меня заплат.

В его семейном доме устроили колхозный маслозавод, как мы уже говорили, сестру-учительницу дважды арестовывали и осуждали за связь с эсерами. Художник был вынужден ютиться в ветхом овине, тёмном и продуваемом всеми ветрами. Честнякова власти считали чудаком, а значит — неблагонадёжным. За ним была установлена слежка, проводились обыски.

Но художник продолжал рисовать в основном дешёвой акварелью для школьников, которую изредка покупал в Кологриве, а иногда и сам добывая краски из подручных материалов, рисуя портреты земляков на чём придётся (на тетрадных листках, бланках документов), — бумага была в большом дефиците. Известно, что из Москвы краски ему присылал Корней Иванович Чуковский. О словесности в 1920-х годах в письме к И. М. Касаткину он сообщал, что она «почти вся написана раньше». Вот как характеризует свою жизнь шабловский затворник поневоле в письме Чуковскому: «Хижину себе строил из совсем ветхого хлама. Вы, может, спросите,

возможно ли какое искусство в морозном шалашике? Без тёплого ателье. Без намёка на покой. Под аккомпанемент гама и сварливых склок, воровства и пьянства — варварских дикостей?» Ещё более красноречивые свидетельства о жизни Честнякова в воспоминаниях А. В. Громова, который в то время преподавал в Кологривском педтехникуме. Он также сетует, что художник странен не от чудачества, а от условий жизни, что выпали на его долю. Сам по себе Фима не был ханжой, никогда ничего не выпрашивал, не ныл, одевался крайне бедно из-за нужды, но отличался исключительной чистоплотностью. И шли к нему люди, как к местному ведуну, юродивому. Он обижался на такие прозвища. А соседи всё равно рассказывали ему свои печали и заботы, делились болезнями и страхами. Особенно много было посетителей в годы Великой Отечественной войны. А сам Ефим Васильевич грезил создать музей в Шаблово и других деревнях об изобилии для всех людей, чтобы на селе стало меньше изнурительного труда.

Со слов Громова, «местные художественные дарования равнодушно смотрели на картины художника, не вникая ни в их замысел, ни в исполнение». Уже перед смертью Честнякова он,

по его настоятельной просьбе, неоднократно обращался к ответственным работникам культуры в Костроме и в Ленинграде, чтобы они хотя бы посмотрели творческое наследие художника, но всё было безрезультатно.

* * *

К концу тридцатых годов художник из Шаблово отошёл от живописи, сконцентрировался на сочинительстве, но его стихи и сказки не печатали даже в районной газете. Честняков продолжал бескорыстно работать с детьми, даже в его «шалашике» на первом этаже было подобие сцены для театральных постановок, декорации. Собрав на тележку свои рисунки, глиняные фигурки, он ездил по деревням и с ребятнёй разыгрывал различные сценки, сказки, читал стихи, об этом сохранилось много воспоминаний. Бывало, катит по дороге свой ондрец на двух самодельных колёсах. На всю округу звенят колокольчики-шоргунцы, ребятня со всей деревни сбегается: дядя Ефим едет! А он сварит кашу в котелке у ручья, накормит всех. Потом раздаст костюмы, ребята в них обрядятся, друг на друга посмотрят — и расхохочутся, забудут и о голоде, и о холоде, и о том, как целый день вкалывали на колхозных

работах или родительских огородах… И скажет Ефим, как любил говорить: «Я пришёл вернуть вам детство!» Он был противник раннего взросления и настаивал, что у детей должно быть детство…

Но теперь к нему пошли люди в ожидании помощи, будто ощущая что-то особенное, не от мира сего, в этом странном человеке. Кто-то стучал в дверь с вопросами о будущем, кто-то — с болезнями. Ефим Васильевич лечил людей, но неохотно, постоянно повторял, что он не врач. Скрепя сердце предсказывал будущее. Особенно много к нему приходило женщин, но Честняков многих даже не пускал на порог, тех, кто когда-то сделал аборт, выгонял из деревни.

Известность его как блаженного и ведуна росла, и он ушёл в свой праведный мир, закрылся в нём, но не наглухо. По пути от Шаблово в сторону Кологрива, тогда дорога проходила в другом месте, посреди леса, вдали от хоженых троп, Честняков умудрился устроить «зелёный храм», где поставили православный крест и иконы. Там тайно много лет собирались местные жители для молитв и проведения служб…

По воспоминаниям односельчан, ещё в 1959 году к нему, уже почти не выходившему из дома,

приезжали из районной администрации и стращали арестом за то, что он во время уборки урожая принимает «по сто человек на день».

* * *

Конечно, Ефим Васильевич не отгородился глухой стеной от действительности, страдал, что нет рядом людей его круга, искренне радовался, что в колхозах появились тракторы и комбайны, но сильно печалился, что власти меняют жизненный уклад в деревнях, люди покидают сёла. Он порой не узнавал родные места, время расцвета окрестных поселений, да и его родной деревушки, давно миновало, менялись и люди. Даже в Кологриве на месте городского кладбища, сломав часовню, ограду и сровняв могилы предков, местные власти устроили танцплощадку. Только в 1937–1938 годах было репрессировано более половины местной интеллигенции — учителей города (воспоминания В. Беляева).

Честняков переживал за своё наследие, просил соседей переписать его тетради, поправлял рисунки. Чтобы наконец-то решить задачу, как «призреть свои детушки-картины», в последнюю свою зиму Ефим дважды вызывал из Ленинграда в Шаблово своего верного товарища А. Г. Громова.

«У меня большая забота, что круглой сиротой… останутся мои художества…» (из письма от 16 ноября 1960 года). Но, как мы отмечали, пристроить работы не удалось, они никого не интересовали. Хотя в некоторых источниках указывается, что якобы музейщики предлагали забрать его картины, но воспоминания Громова всё ставят на своё место…

* * *

Умер художник в безвестности и нищете тихим погожим днём 27 июня 1961 года в своей избе-шалашке. По утверждению известного реставратора Саввы Ямщикова, отсутствует даже свидетельство о его смерти, наверно, это символично: получается, художник-сказочник не ушёл, он просто-напросто растворился среди своего народа. Перед кончиной он никого не беспокоил и, говорят, за день до этого ходил по делам в соседнюю деревню. Соседи хватились его не сразу, жил он один, а когда пришли в дом, он лежал на скамье. Похоронили Честнякова на кладбище у села Илешево, недалеко от закрытого Ильинского храма, где его когда-то крестили. Четыре километра до кладбища односельчане несли на руках гроб Ефима Васильевича. Могила сохранилась и

крайне почитаема среди местных жителей и не только, считающих его святым человеком.

После смерти Честнякова со временем многое из того, что не смогли забрать родственники, было растащено односельчанами «на память» и детьми из опустевшего дома Ефима, а главная его картина — «Город Всеобщего Благоденствия» — была даже поделена на куски. Из глиняного «кордона», состоявшего из более чем восьмисот фигур, до настоящего времени дошло ничтожное количество — около сорока произведений.

* * *

Широкой публике имя Ефима Васильевича Честнякова было открыто летом 1968 года, спустя семь лет после его смерти, случайно. Во время экспедиции по Кологривскому району музейные сотрудники из Костромы Г. Корф, В. Лебедева и В. Макаров остановились в Шаблово попить воды. В одном из домов приметили картонку, которой было накрыто ведро с водой — на ней оказался занятный рисунок. Стали расспрашивать, мол, что это и откуда, и так узнали о здешнем художнике. С этого времени и начался сбор сохранившегося материала. Племянница

Ефима Васильевича, Галина Александровна Смирнова, сберегла часть документов (отдельные тетрадочки, рукописные книги с прекрасными иллюстрациями) и передала их в Костромской музей. Здешние крестьяне также стали потихоньку отдавать хранившиеся у них реликвии, и этот процесс продолжается до настоящего времени.

Посмертная судьба художника и сказочника из Шаблово складывалась гораздо лучше земной: если раньше ни местные, ни областные власти не интересовались его живописью и литературным творчеством, то теперь на Ефима Васильевича обрушилась невиданная слава. Стали выходить статьи в газетах и журналах, приступили к реставрации картин, которой занимался сам Савелий Ямщиков, и, главное, взялись за изучение творчества и до сих пор собираются воспоминания о нём. В 1974 году проведена выставка в Кадашах к столетию со дня рождения художника, а после картины Честнякова ожидали Кострома и Москва, и даже далёкий Париж в 1978 году… В 2004 году на собранные народные деньги открыт дом-музей («шалашка Ефима Честнякова») в родном Шаблово, почти в заброшенную деревню стали возвращаться люди, туда наконец-то проложили дорогу с твёрдым

грунтом. А ещё о праведном художнике рассказывают бывальщины, он сам стал фольклором…

Издаются сказки Ефима Васильевича, в том числе не печатавшиеся при его жизни, снимаются фильмы, пишутся статьи и книги о нём. В интернете любознательных ожидают сайты о его творчестве и жизни, но всё равно, как нам видится, Честняков как сказочник, в отличие от художника, мало знаком широкой публике. В советское время изучению творчества, и в том числе сказок, которые оказались в руках исследователей, чрезвычайно мешала религиозность текстов, направленность его творчества на сохранение традиционного русского искусства, их метафизичность. Авторы замечательной книги «Мир Ефима Честнякова» (Москва, 1988), пытаясь как-то объяснить авторитет художника-ведуна среди крестьян уезда, отмечают вполне в духе того времени, не допускавшем отступлений от линии коммунистической партии: «Будучи человеком высококультурным, в достаточной степени информированным (выписывал целую кипу центральных газет, слушал радио), Ефим Васильевич быстро разбирался в сложных жизненных ситуациях, довольно точно предполагал, как будет решаться тот или иной вопрос. Это

делало его в глазах малограмотных и тёмных крестьян своего рода мудрецом и провидцем, который, по их представлениям, может заглянуть в будущее…» Однако возразим уважаемым исследователям. Так, местная газета уже в 1928 году писала с иронией о Честнякове как о «предсказателе судеб», безусловно, на пустом месте такие пересуды возникнуть не могли. Что же касается способности культурного и образованного человека предсказывать будущее, то напомним, что в Кологривском районе в это время действовали педтехникум и зоотехникум, где служило немало гораздо более образованных и культурных людей, но к ним крестьяне почему-то не шли со своими заботами. И последнее — затерянный в бескрайних лесах Кологрив был радиофицирован только в 1939 году, а из сёл лишь только ближайшие колхозы. А Шаблово, если кто позабыл, находилось в пятнадцати километрах от райцентра.

Заканчивая очерк о кологривце, мечтавшем воплотить сказку в жизнь, повторим вслед за ним: «Фантазия — она реальна, когда фантазия сказку рисует — это уже действительность… и потом она войдёт в обиход жизни так же, как ковш для питья… И жизнь будет именно такой, какой рисует её наша фантазия…»

В литературном творчестве Ефим Васильевич следовал основному принципу: народ сам должен творить свою культуру. И прежде всего, национальную по форме. Честняков грезил о создании «универсальной культуры», основанной на национальных началах с обогащением их опытом всемирной цивилизации. «Русский… от культуры других народов возьмет всё, что ему нужно, — писал он, — и вместе со своим элементом создаст великую универсальную культуру». Будем надеяться, что слова провидца сбудутся.

Наши авторы

ТАТЬЯНА ВЕЛЕС (КУЛИКОВА)



Татьяна Велес — поэтесса. Уроженка города Элисты (Калмыкия). Имеет несколько высших образований, красный диплом магистра Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Много лет посвятила семейному бизнесу, а также работала руководителем приёмной главы администрации Республики Калмыкия.

К поэзии обратилась в 2013 году. Отдаёт пред-

почтение гражданской, любовной, пейзажной и философской лирике. Пишет стихи для детей и рассказы. Номинант литературной премии «Наследие» и национальной литературной премии «Поэт года» (2016, 2017, 2019, 2021).

Отмечена Почётной грамотой правительства Республики Калмыкия, Почётной грамотой Союза писателей России. Награждена медалями «Марина Цветаева — 130 лет», «Максим Горький — 155 лет». Заслуженный работник культуры Республики Калмыкия.

Член Союза писателей России, Интернационального Союза писателей.

КСЕНИЯ ВОРОТКОВА



Ксения Владимировна родилась в Липецке в 1983 году.

Начала писать стихи с двенадцати лет, профессионально — с 2022 года. С 2023-го является членом Липецкого регионального отделения Российского союза писателей.

Публиковалась в сборнике «Сказки народов России» (серия «Классики и современники»), в газете «Первый номер», в сборнике «Просто котики» и на сайтах:

Стихи. ру https://stihi.ru/avtor/kvasena

Бумажный слон https://litclubbs.ru/users/10312

Поэмбук https://poembook.ru/id129777

Имеет дипломы участника ЛевитовФест, участника фестиваля «Высоцкий: твой, мой, наш».

СЕРГЕЙ КАМАЕВ



Сергей Анатольевич родился 28 января 1971 года в посёлке Восточный Серовского района Свердловской области. В 1980 году переехал с семьёй в город Сухой Лог.

Окончил Сухоложскую музыкальную школу (по классу баяна), Сухоложский индустриальный техникум (по специальности «техник-механик»). Служил в армии. Работал на металлургическом заводе сталеваром.

Печатался в конкурсных сборниках поэзии. В апреле 2023 года выпустил авторский сборник лирических стихов.

ОЛЕГ ШУХАРТ



Родился в Липецке.

Печатался в журналах «Петровский мост», «День поэзии» и в альманахе-реконструкции «Время».

Автор книги стихов «След тишины».

ЮЛИЯ ВЕРБА



Юлия Артюхович — доктор философских наук, профессор. Поэт и прозаик. Член Союза писателей России. Автор более трёхсот научных и художественных публикаций (в том числе — десяти научных монографий, более семидесяти поэтических и прозаических циклов и одиннадцати книг стихов и прозы).

Публиковалась в литературных журналах «Наш современник» (пять публикаций — стихи), «Белая Вежа», «Отчий край», «Перископ», «Здоровье и экология», «Слово — детям», в «Литературной газете», «Новых известиях» и др. Лауреат между-

народных конкурсов «Союзники-8», «Поэзия без границ», Gnesin-jazz-VOICE — 2021, Литературной премии имени В. Б. Смирнова «Отчий край», Государственной премии Волгоградской области. Дипломант премии имени Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству». Номинант международной премии за доброту в искусстве «На благо мира».

Награждена золотой медалью В. Шукшина, Почётной грамотой Союза писателей России, Почётной грамотой губернатора Волгоградской области, почётными грамотами и благодарственными письмами Волгоградской областной и Городской думы, Почётной грамотой Президиума ЧИАССР (1990) и др.

ИРИНА ГОРБАНЬ



Поэт, писатель, публицист. Родилась и живёт в городе Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР). Окончила Глуховский государственный педагогический институт по специальности «преподаватель дошкольной педагогики и психологии». Работала в Министерстве информации ДНР.

Автор рассказов о погибших и раненых детях Донбасса (проект «Ангелы», «Пёрышко Ангела»), очерков о погибших защитниках Донбасса. Автор десяти сборников стихов и прозы.

Книги «В зоне видимости блокпоста» и «В

осколках отражается война» издательства «Картуш» города Орёл презентовала на московском фестивале «Красная площадь — 2019» и рязанском фестивале книги «Читающий мир».

Член Союза писателей России, Союза писателей ДНР, Международного союза писателей «Новый современник». Лауреат литературных премий: имени Михаила Матусовского, имени Людмилы Татьяничевой, имени Владимира Даля, журнала «Молодая гвардия».

ВЛАДИМИР ЖУРАВЛЕВ



Родился 6 июня 1941 года в Москве. В 1966 году окончил факультет журналистики Московского

университета. После окончания работал в основном в центральных СМИ. Автор нескольких книг и сценариев для телевизионных и документальных фильмов. В настоящее время пишет рассказы и другие литературные произведения.

АННА ЛЕО



Ирина Леонова (настоящее имя) родилась в Московской области. По семейным обстоятельствам в двенадцать лет уехала в Белоруссию, где проживает в городе Минске. Окончила Белорусский государственный институт народного хозяйства имени Куйбышева. В 2006 году поступила на ВЛК Литературного института имени

А. М. Горького, которые окончила с отличием в 2008 году.

Автор книг прозы: «Тонкий психолог», «Друзья из дома буквой “Г”», «Одарённые натуры», «Ура! Цирк приехал», «Блеск камней чудесных», «Мармозетка: морские приключения с обезьянкой», а также ряда многочисленных публикаций в журналах, сборниках и альманахах. Член редколлегии газеты «Литературный Крым». Член Союза писателей Белоруссии, Союза писателей России, Союза писателей Москвы.

В 2009 году по представлению независимого альманаха «Московский Парнас» стала лауреатом в номинации «Лучший прозаик года». Лауреат литературного конкурса «Золотой купидон» в номинации «Малая проза» (2012, Беларусь). Бронзовый призёр IV Славянского форума искусств «Золотой витязь» в номинации «Детская литература» (2013). Лауреат литературного конкурса «Со-Творение» в номинации «Жизнь и судьбы» (2014). Обладатель Гран-при российского литературного конкурса «Короткие истории для детей» (2015). Лауреат XV Артиады народов России (2017) — «за плодотворное следование лучшим традициям отечественной литературы в прозе для детей и взрослых».

Лауреат XVI Артиады народов России в номинации «Литература» (2018) — «за высокий художественный уровень исторической прозы и оригинальное преломление истории в остросюжетное повествование, способное захватить юных и взрослых читателей».

Обладатель третьей премии в номинации «Проза» «за лучший рассказ» IV Международного литературного тургеневского конкурса «Бежин луг» (2022). Финалист Международного литературного конкурса женских историй в номинации «Проза» (2022, Германия). Лауреат Купринского творческого конкурса (2022). Обладатель второй премии Международного литературного конкурса сатиры (2023, Германия). Финалист литературной премии «Данко» (2023).

АЛЕКСАНДР ПОНОМАРЁВ



Александр Анатольевич — прозаик, драматург. Родился и проживает в городе Липецке (Россия).

Окончил филологический факультет Липецкого государственного педагогического института, Республиканский институт МВД России по специальности «практическая психология».

Служил в органах внутренних дел Российской Федерации. Подполковник милиции в отставке. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе.

Автор семи книг прозы и драматургии: «За нас. За вас. За Северный Кавказ» (2008), «Хризантемы для Эммы» (2012), «Эпоха Водолея» (2015), «Бабки-

ны сказки — дедкины подсказки» (2015), «Охота на призрака» (2015), «Прозрачное небо Сирии» (2019), «Наш принцип» (2019).

Член Союза писателей России (2011), член-корреспондент Крымской литературной академии (2012), член Академии российской литературы (2017), Русского географического общества (2018).

Его произведения публиковались в журналах и интернет-изданиях России, Абхазии, Украины, Белоруссии, Германии, Финляндии, США, Греции, Приднестровья, ЛНР, Новой Зеландии.

Лауреат национальных и международных литературных конкурсов.

АЛЕКСАНДР РАЛОТ



Петренко Александр Викторович (настоящее имя) — краснодарский прозаик, публицист и краевед.

Автор пятнадцати электронных книг и десяти бумажных. Публиковался в периодических изданиях: «Смена», «Берега», «Невский альманах», «Огни Кубани», «Южная звезда», «Золотая лестница», «Земляки», «Новая литература», «Метаморфозы», «Вторник», «Созвучие» (Беларусь), «Зарубежные задворки», «Эдита», «Unzensiert (Без цензуры)» (Германия), «Новый континент», «Интеллигент» (США), «День литературы», в русско-новозеландском вестнике «Наша Гавань», «Планета писателей», «Literra», в альманахе «Чайка», «Westi.US» (США), «Что есть истина?» (Великобритания), «9 Муз» (Греция), «Лира», «Таврия», «Русский переплёт», «Камертон», «Прикокские зори», «Таврия литературная» «Огни над Бией» «Кольцо А», «АЛЕКСАНДРЪ», «Южный островъ» (Австралия), «Фабрика литературы», «Работница», «Русское поле», «Фабрика литературы», «Звезда Востока» (Узбекистан), «Причал», «Классный журнал», «Образ», «Наша Среда online», «Автограф» (Донецк), «Независимое искусство», «Петруска Настамба» (Сербия), «45-я параллель» и др.

Победитель конкурсов: «Золотое перо Руси» (2018, 2019), «Серебряное перо — 2020», «На пути к гармонии», «Мирная война», «Центр Европы», «Сюита в Зелёном доме» (Беларусь»), «Плавская осень», «Венок Победы», «Патриот России — 2020», «Ты цвети, моя милая Родина».

Лауреат международных конкурсов: «Ковдория», «Белая акация», «Созвездие духовности», «Ключи от счастья», «Герои Великой Победы», «Волошинский сентябрь», имени С. Н. Сергеева-Ценского, «Славянская лира», «Русский стиль» (Болгария, Франция, Италия), памяти Али Герасимович, имени де Ришелье — «Алмазный Дюк — 2019», «Бриллиантовый Дюк — 2020», «Серебряный голубь России — 2019», «Международная премия Мира» 2020–2021 гг.», «ДИАС», Литературный конкурс маринистики им. К. С. Бадигина, журнала «Литерра Nova». Лауреат литературной премии имени Олега Бишарева.

Награждён медалями: Золотой Есенинской, им. И. Бунина, им. М. Ю. Лермонтова, Андрея Белого, А. Т. Твардовского, «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе», им. генерала А. А. Брусилова, «В память 100-летия Великой войны».

АЛЕКСАНДР РЯЗАНЦЕВ



Прозаик, журналист, литературный критик. Член Союза журналистов Москвы.

Родился в 1998 году в Москве. Окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Научно-исследовательский институт «Высшая школа экономики», в настоящее время учится в аспирантуре. аспирантуре. С 2020 по 2022 год работал обозревателем в газете «Литературная Россия».

Рассказы и литературно-критические материалы печатались в периодических изданиях:

«Юность», «Традиции&Авангард», «Российский колокол», «Гостиный Дворъ», «Урал», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Независимая газета — Ex Libris», «Учительская газета».

Участник арт-кластера «Таврида» (2018), участник и стипендиат 22-го Форума молодых писателей «Липки» (Фонд СЭИП, 2022), участник 23-го Форума молодых писателей «Липки» (Фонд СЭИП, 2023), участник Всероссийского семинара-совещания молодых писателей «Мы выросли в России» (Оренбург, 2023). Живёт в Москве.

НАДЕЖДА СЕРЕДИНА



После публикации романа Надежды Митро-

фановны Серединой «Чёрная птица на белой сирени» (журнал «Подъём», 1997–1998) критики стали говорить о новой серьёзной прозе.

С 1997 года Н. Середина — член Союза писателей СССР. В 2017 году Московская городская организация Союза писателей награждает дипломом имени И. А. Бунина «За верность отечественной литературе» с вручением медали «И. А. Бунин (1870–1953)». В 2022 году Российский союз писателей присудил ей первое место в номинации «Проза».

Диапазон её дара широк, тематика меняется, мастерство обогащается. Об этом убедительно свидетельствуют её сорок книг и более трёхсот публикаций в журналах и газетах. С 2007 года Н. Середина — член международной писательской организации «ПЕН-центр».

В 2021 году МГО СПР наградила Надежду Середину дипломом лауреата конкурса «Преодоление» литературно-общественной премии «Жизнь задыхается без цели» в честь 200-летия Фёдора Михайловича Достоевского. В 2022 году награждена дипломом литературного конкурса «Классики и современники».

СЁСИК БЫФ



Сёсик Быф — прозвище, полученное во времена учёбы в техникуме лесного хозяйства. Именно отсюда берут начало произведения о подростках на пути взросления.

После учёбы работал краснодеревщиком, затем строителем.

Слушатель литературных курсов имени А. П. Чехова, по итогам которых был удостоен грамоты. Неоднократный финалист и победитель конкурсов прозы и поэзии.

Считает жизненные реалии основным поставщиком идей для художественных произведений.

ВЛАДИМИР ГОЛУБЕВ



Кандидат юридических наук, прозаик.

Родился в 1965 году. Живёт в городском округе Серпухов Московской области. Окончил исторический факультет Московского педагогического университета. Учился на факультете правоведения Юридического института МВД РФ. Служил старшим следователем Серпуховского УВД, следователем по особо важным делам Серпуховской прокуратуры.

Писательскую деятельность начал в 1992 году, первая большая публикация — в журнале «Юность» (2007). Автор книг: «Сказки Малеевско-

го леса», «Асины сказки», «Сказы Матушки Оки», «Забытый рубеж», «Летучий корабль», нескольких детективов и др.

Лауреат Общенациональной литературной премии им. П. П. Бажова, лауреат II степени в номинации «Большая проза» литературной премии им. А. Дельвига и др.